НАЗЫМ ХИКМЕТ

Радий Фиш

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

- Вместо предисловия
- Память и забвение
  - Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы вспоминает губернатора Алеппо Назыма-пашу, празднует годовщину китайской революции и знакомится с рабочим Рашидом, в будущем крупнейшим романистом Турции
  - Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы смотрит восьмилетним мальчиком представление теневого театра, на крыше вагона едет в Москву и вспоминает своего учителя поэта Яхью Кемаля
- Разум, бьющийся в груди
  - Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы работает за ткацким станком, рисует портреты арестантов, устраивает бунт на военном корабле и вместе с Эдуардом Багрицким выступает в Большом театре
  - Глава, в которой Нум Ха учится в КУТВе, организует МЕТЛУ, пишет ПЭК и сотрудничает в ПРОМДе
  - Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум
- Бей, Ферхад. бей!
  - Глава, в которой поэт возвращается на родину и Бенерджи решает покончить с собой
  - Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы совершает подвиг любви
- Смерть и воскресение
  - Глава, в которой заключенного бурсской тюрьмы судят военным трибуналом и выводят расстреливать на палубу корабля
  - Глава последняя. Заключенный выходит из тюрьмы
- Основные даты жизни и творчества Назыма Хикмета
- Краткая библиография
  - Произведения Назыма Хикмета на русском языке
  - О Назыме Хикмете
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14

Вместо предисловия

Автору повезло. С того дня, когда Назым Хикмет прилетел в Москву, и до его смерти - двенадцать лет - он общался с поэтом, переводил его, наблюдал, как рождались его замыслы. И все годы вел дневник.

Сколь ни подробны были бы записи, они могли вместить лишь малую часть жизни поэта. Назым Хикмет был связан с тысячами людей на всех континентах Земли - приязнью, дружбой, борьбой, поэзией.

Их судьбы вошли в его жизнь.

Его жизнь стала частью их судеб.

И автор счел необходимым, чтобы в этом первом наброске биографии Назыма Хикмета читатель услышал их голоса.

Автор глубоко признателен Мюневвер Ан-дач-Борженьской, Пирайе-ханым, Фатьме Ялчи, Благе Димитровой, Мемеду Фуаду, Орхану Кемалю, Кемалю Тахиру, Ибрагиму Балабану, А. Кадиру, Вале Нуреддину, Абидину Дино, И. Билену, Илье Эренбургу, Исидору Штоку, Николаю Экку, родным, друзьям, соратникам поэта, всем, кто хранил память о нем, его письма и рукописи, - для этого порой требовалось немалое мужество.

Без их воспоминаний и публикаций не было бы этой книги.

Память и забвение

Как все деревья в лесах и садах,
тополь весь век стоит на ногах -
стоит и чего-то ждет.
В желтый теплый июньский день
на домики бурсских деревень,
на дорогу глядит он до тьмы.
Ждал один тополь и меня,
каждую ночь до белого дня
крича у ворот тюрьмы.
Свидетель нашей жизни всей,
надежды нашей, наших вшей,
позора, жертв, разлук,
и нашей вековой беды,
и нашей полевой страды,
эх, тополь, верный друг!
Что толку, родина моя,
что я люблю твои тополя,
что толку в моей хвале!
Горячим потом полив песок,
я тополя ни одного не смог
взрастить на родной земле.
НАЗЫМ ХИКМЕТ

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы вспоминает губернатора Алеппо Назыма-пашу, празднует годовщину китайской революции и знакомится с рабочим Рашидом, в будущем крупнейшим романистом Турции

Сиреневые сумерки стерли очертания теней. За окном на голом, как мертвец, пустыре одинокий тополь, словно аист, застыл в бесконечном немом ожидании. Вершина Улудага скрылась в дымке.

Сейчас загорится фонарь у стены, сведет мир к желтоватому земляному кругу, и она явится, эта удивительная, несравненная, великолепнейшая тоска.

Он опустился на нары. Руки устало свесились с колен. Надо бы пойти умыться - скоро ударит гонг и со скрежетом задвинутся засовы. Но он не двинулся с места.

В коридоре, как обычно перед отбоем, шаркали нервозные шаги. Лавчонки-мастерские вокруг вымощенного камнем внутреннего тюремного дворика опустили ставни и стали положи на забытые сундуки, одинаковые и одинокие в своей печали. Портные, парикмахер, сапожники, зеркальщик, лудильщики - они арендовали эти мастерские у тюремного начальства - моют у источника руки, струйка воды в нем бьет, как всегда, вбок, все вбок и вбок.

Лица этих людей были знакомы ему лучше, чем свое собственное, жизнь их выучена наизусть с рождений до этой самой минуты, когда вместе с сумерками вот-вот снова явится к нему эта удивительная, несравненнейшая тоска.

Прежде она не являлась так регулярно. Прежде было иначе. Прежде... На сей раз это тянется слишком долго. Тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой, сорок первый, сорок второй. Пять раз зеленели оливковые рощи, распускались каштаны, пять раз одевалась листвой зеленая Бурса. Скоро в пятый раз покроется снегом вершина Улудага. А ты все сидишь и сидишь, словно камень на дне колодца. И тебе уже сорок.

Сорок лет... Целая жизнь прошла. Что, разве плохо она прошла? Нет, отчего же. Но прошла. Вот так-то, Назым Хикмет Ран!

Стоило ему назвать свою фамилию, и в памяти всплывали усатый комиссар под президентским портретом и эти парни...

Это было лет восемь назад, да, восемь лет назад, в 1934-м. Вновь обнародованный закон повелевал: довольно именоваться по месту рождения; каждый турок, достигший восемнадцати лет, должен отныне, как гражданин любой цивилизованной страны, иметь фамилию, какую - надлежит выбрать ему самому.

Пока он сидел на жесткой скамье без спинки, в кабинете, пропахшем, как все полицейские участки на свете, карболкой, гнилым шинельным сукном и сапожной кожей, парни один за другим подходили к столу и называли свои фамилии. По всему видно, думали они над ними долго, совещались с приятелями, советовались с родней. Но странное дело, их фамилии были похожи друг на друга, как блюда с пловом, приготовленные одним поваром. Тюркkан - «Турецкая кровь», Асланкан - «Львиная кровь», Савашкан - «Боевая кровь»... Кровь, кровь, кровь!

Впрочем, что ж тут странного? Шовинизм, он начинается с крови - турецкая, немецкая или китайская, она-де чище любой другой. И кровью кончается: парни были из тех, что громят греческие кладбища, лавки армян, мастерские евреев. Это только им казалось, что они все сами выдумали: на деле же головы у них были начинены фаршем из одной мясорубки.

Когда он входил в участок, то еще не знал, какую выберет себе фамилию. Но, слушая, как парни, точно заведенные, твердят: «кан, кан, кан», захотел поиздеваться над ними.

- Ран!

Полицейский комиссар удивленно поднял глаза.

- Что это значит?

- Ровным счетом ничего!

Комиссар пожал плечами: «Ран так Ран!» И заполнил графу. В конце концов закон не предписывал, чтобы фамилия имела какой-нибудь смысл.

Воспоминание не вызвало улыбки. Мальчишеская выходка. Он только что вышел на волю из тюрьмы - из этой самой, и голова закружилась. Тогда хоть ему было тридцать два...

«Вот и вы, батенька, жизнь проживете, а все останется, как было, тогда-то вы и заплачете, как говорят бабы, ручьистее», - так, кажется, говорил старик Толстой... На нарах в изголовье стопкой лежали исписанные листы. Последняя сцена помнилась наизусть: смертельно раненный князь Андрей глядит на синий купол неба... Надо бы скорей кончить перевод, чтоб первый том «Войны и мира» успел выйти до зимы... Больше ты для них ничего не сможешь сделать.

Но он по-прежнему, не шелохнувшись, сидел на нарах. Подумаешь, дело?! Какого черта...

И он увидел еще две графы, заполненные щеголеватым

писарским почерком:

«Место рождения - город Салоники.

Год рождения - 1318»...

Год 1902-й по христианскому летосчислению, или 1318-й год хиджры по мусульманскому, начался для Мехмеда Назыма-паши счастливо.

После того как падишах отозвал его из Сиваса, он долго добивался нового назначения. Абдул Хамид II, злопамятный и коварный, не забыл ему мерсийской истории. Правда, с помощью влиятельных заступников Мехмед Назым-паша после Мерсина был губернатором в разных городах, но нигде ему не давали продержаться больше двух лет. Падишах вообще не любил, чтоб высшие чины, особенно те, от которых зависело взимание податей, подолгу засиживались на одном месте: длительная служба в одном городе волей-неволей заставляет считаться с интересами местных жителей, а это никак не устраивало дворец. Шутка сказать, тысяча двести жен! Поваров - восемьсот, лакеев - тысяча, адъютантов - полтысячи, шутов, музыкантов и одописцев - четыреста, врачей - шестьдесят, аптекарей - тридцать, парикмахеров - пятьдесят, личной охраны, шпиков - тридцать тысяч, а прочей челяди несть числа! Попробуй прокормить такую ораву. Сам Абдул Хамид в пище был весьма привередлив - молоко пил только от тех коров, что круглый год кормились знаменитыми яблоками Амасьи, телят для его стола откармливали африканскими фруктами. Хоть и велика еще была доставшаяся ему от предков империя - от Африки до Кавказа, от Аравии до Боснии и Албании, - казна постоянно пустовала, жалованье чиновникам не платили по году, оставалось жить на «бакшиш». Нет, султан никак не мог позволить, чтобы губернаторы - вали - считались с интересами провинции. И все же иные вали сидели по пять-шесть лет на одном месте, а Мехмеду Назыму-паше чуть ли не через год приходилось возвращаться в столицу, обивать пороги, пускать в ход все свои связи и тратить немало денег, чтобы добиться нового назначения.

Но паша не раскаивался в том, что сделал в Мерсине десять лет назад, - слишком уж нагло стали вести себя иноземцы на имперской земле. Мало того, что с них пошлин не брали, что все концессии, и главная из них - табачная монополия, были в их руках. Гяуры были неподсудны мусульманским судам. На это, видать, и надеялся англичанин Томпсон, или как там его звали, когда в гневе ударил тростью по голове мальчишку-носильщика. Да так ударил, что мальчик свалился замертво.

Но англичанин просчитался: мерсийский мутасаррыф[1]

Мехмед Назым-паша оказался человеком решительным.

Британский консул потребовал немедленно освободить англичанина и даже угрожал бомбардировать город с кораблей королевского флота, которые стояли в порту. Назыму-паше пришлось взять заложниками всех английских подданных и пригрозить, что в случае бомбардировки все они будут казнены.

Пока консул через свое посольство в Стамбуле жаловался султану, пока секретарь его величества прислал по телеграфу султанский фирман, повелевавший тотчас освободить всех британских подданных, дело было сделано. Назыму-паше оставалось только покаянно сообщить о невозможности исполнить монаршую волю, ибо англичанин Томпсон успел благополучно испустить дух на виселице.

Это, конечно, было неслыханной дерзостью.

Все служилые люди империи - от последнего писаришки до великого везира - считались рабами повелителя правоверных. Мог он, когда ему вздумается, в знак последней султанской милости прислать вам шелковую бечевку, которой следовало самому удавиться, не проливая мусульманской крови, или же поднести из своих высочайших рук чашу с медленно действующим ядом, Если же несчастный окончательно утратил монаршее благоволение, ему предстоял долгий путь в гибельные пески Йемена и Хиджаза, а там уж аллах - да будет благословенно имя его! - сам выбирал способ и время, чтобы прислать ангела смерти Азраила.

Несмотря на все связи, не сносить бы головы и Мехмеду Назыму-паше. Но двумя неделями раньше посол его величества короля Великобритании устроил неподалеку от своей виллы на Босфоре парусные гонки и позволил себе пригласить на них кой-кого из высших турецких сановников, хотя знал, что Абдул Хамид, опасаясь европейской крамолы, строжайше запретил всяческие частные сношения с иноземцами. Падишах был разгневан сверх меры. Следовало проучить посла высокочтимой державы. Случай в Мерсине был сочтен весьма подходящим, и кара миновала строптивого мерсийского мутасаррыфа Назыма-пашу. Но имя его Абдул Хамид запомнил.

Мехмед Назым-паша слыл человеком не только решительным, но и либеральным. Он писал стихи, издал несколько своих сочинений о стихосложении, что само по себе было достаточно предосудительным для высшего чиновника империи. Мало того, Мехмед Назым-паша состоял мюридом Джелялэддина Руми Мевляны, того самого средневекового поэта и мистика, который сочинил отнюдь не правоверную поэму «Месневи». В этой поэме Джелялэддин среди прочего утверждал, что ценность человека не зависит от его земного величия,

проповедовал культ сердца и предерзостно утверждал, что аллах не верховное существо, создавшее все сущее, а, наоборот, все сущее - это и есть аллах.

Мехмед Назым-паша был членом основанного поэтом дервишского ордена Мевлеви, этой масонской ложи мусульманского мира, участвовал в радениях, во время которых посвященные при посредстве музыки, песнопений и пляски, сливались в мистическом экстазе с господом.

Как доносил начальник султанского сыска, в числе поэтов, писателей и музыкантов, собиравшихся в доме Мехмеда Назыма-паши на азиатском берегу Босфора, были сторонники крамольного писателя Намыка Кемаля, который почитал родину выше особы падишаха и после двенадцатилетней ссылки опочил на острове Хиос. Надлежало выяснить, не служил ли еретический культ сердца для Мехмеда Назыма-паши лишь прикрытием симпатий к созданному Намыком Кемалем обществу «младоосманов», которое свило свое гнездо в Париже и требовало - да простит нам аллах наши прегрешения! - восстановить так называемую конституцию.

Как-то среди бела дня, когда Мехмед Назым-паша, отправившись хлопотать об очередном назначении, покинул свой особняк в Ускюдаре, к дому подкатили три фаэтона с султанскими сыщиками.

В кабинете Назыма-паши действительно хранились списки стихов Намыка Кемаля и несколько номеров издававшейся им газеты «Ибрет».

Джелиле-ханым, молодая невестка Мехмеда Назыма-паши, в это время работала в своей мастерской. Глянув на улицу, она поняла, в чем дело. Бросила кисти и, даром что была на сносях, опрометью кинулась в селямлык - на мужскую половину. Вытащила из тайника запретные бумаги, прихватила заодно и револьвер. Затем направилась в спальню, положила револьвер на тумбочку, засунула бумаги под матрас и улеглась в постель.

Ничего не найдя в кабинете и библиотеке, сыщики вошли в спальню.

- Да как вы смеете, бесстыдники, входить в спальню мусульманки? - закричала Джелиле-ханым. - Убирайтесь, пока я вас не перестреляла!

И наставила на них старый шестизарядный револьвер, хотя не имела и понятия, как из него стреляют.

Полицейским пришлось убираться ни с чем.

А Мехмед Назым-паша получил султанское повеление немедленно отправиться в Алеппо для вступления на должность вали...

Назым-паша сложил письмо, снял очки и удовлетворенно огладил широкую, как лопата, бороду.

Поначалу он был не в восторге от выбора своего сына Хикмета. Неплохо, конечно, когда жена может говорить по-французски и рисовать. Но чересчур уж свободно, по мнению Назыма-паши, она себя вела. А сын его, Хикмет-бей, во всем потакал жене. Такова эта нынешняя молодежь - никакого понятия о мужской чести. Взять и повесить у себя, на мужской половине, портрет жены, чтобы каждый, кому не лень, мог видеть ее лицо! Срам, да и только!.. Целый год не разговаривал Назым-паша с сыном.

Невестка, однако, что греха таить, оказалась женщиной умной и смелой. Впрочем, это у них в роду. Один ее прадед в молодости - его тогда звали Борженьски, - восстал у себя в Польше против московских гяуров. После поражения покинул родину, признал ислам, принял имя Мустафы Джелялэддина и составил первую в империи грамматику французского языка. А другой прадед двенадцатилетним мальчишкой повздорил с начальством на своем немецком корабле - он был там курсантом - да и прыгнул в Босфоре в воду. Его спас смотритель маяка на Девичьей башне. Мальчишка принял мусульманство, стал воспитанником великого везира Али-паши, потом сам получил звание паши и представлял падишаха на берлинском конгрессе в 1878 году.

...Мехмед Назым-паша еще раз пробежал глазами письмо. Хикмет-бей сообщал, что невестка Джелиле-ханым, которую Назым-паша перед отъездом в Алеппо отправил в Салоники, где служил ее муж, по милости и с благословения аллаха благополучно разрешилась от бремени сыном. В честь деда ребенку дали имя Назым.

Мехмед Назым-паша хлопнул в ладоши. Черный, как эбеновое дерево, слуга-суданец склонился в поклоне.

- Позови кяхью[2], да поживей!

Когда кяхья явился, Назым-паша приказал приготовить к вечеру угощение на сто пятьдесят человек и объявить, что по случаю рождения внука его дом открыт сегодня для всех.

- Да благословит аллах его дни благополучием и счастьем!

- Слава всевышнему!..

Фонарь за тюремной стеной зажегся, сведя весь мир к желтоватому кругу. Он поглядел в окно и снова отвернулся. Если говорить о мире, то Толстой, конечно, не прав - многое в нем переменилось до неузнаваемости. Но старик наверняка имел в

виду другое: больше ли стала в мире сумма разума? Сумма знаний - безусловно. Но уменьшилось ли от этого зло, убавилось ли на свете страданий, намного ли переменился сам человек? Это еще вопрос.

В молодости все казалось легкодоступным, Стоит поднатужиться всем вместе, и счастье - не твое личное, чего оно стоит? - а всемирное, всечеловеческое счастье упадет, как спелое яблоко в подставленную папаху. В молодости, в молодости, где-то его покинувшей, его не насытившей...

...Тяжелый дух тюрьмы, грязного тряпья, параши исчез, сменившись запахами прелых листьев и первого снега. Девятнадцатилетний, в высокой бараньей папахе, он сидит на скамье. Медленно кружась, падают хлопья снега. Часы на Страстном монастыре бьют шесть раз. Он встает, стряхивает с папахи снег и. помахав рукой печальному бронзовому Пушкину, идет к университету. Около бывшего кинотеатра «Ша нуар» покупает у лоточника папиросы - две штуки «Герцеговины Флор», две штуки «Северной Пальмиры». У клуба его ждет друг, китайский поэт Эми Сяо. Еще рано, но друг ведет его в зал. В этот вечер китайцы празднуют годовщину синьхайской революции.

То был необыкновенный университет - Коммунистический, трудящихся Востока. Вместе с русскими студентами, вместе с кавказцами и туркестанцами учились здесь молодые люди из всех стран Азии - от Японии и Тибета до Турции и Ирана. Многие так же, как и он, приехали в Москву тайно, жили не под своими, а под конспиративными именами. Но ни в правах, ни в обязанностях их ничем не отличали от советских студентов. Да что там студентов, у всех у них были одинаковые права с любым гражданином Советской России. Они могли выбирать в Совет и даже стать председателем ВЦИК, если бы заслужили. Никто не спрашивал здесь ни о подданстве, ни о вероисповедании, ни о национальности, не требовал, чтоб ты владел русским языком. Важно было другое - чтоб ты не жил за чужой счет, не служил в полиции и жандармерии, не был бы муллой, попом или шаманом.

В зале, куда его привел Эми Сяо, все было готово к празднеству. Сцену украшали гирлянды свежих цветов. Откуда взялись они в морозной, голодной Москве?

Эми Сяо подвел его поближе и он увидел: на лепестке апельсиновой розы сидела божья коровка с черными крапинками на крыльях. И цветы и божья коровка были вырезаны из бумаги.

Кто, кроме китайцев, мог что-нибудь понять в их изощренном мастерстве? Но они не умели иначе.

По стенам были развешаны красные полотнища, до самого пола исписанные иероглифами. Половина сидевших в зале не

понимали по-китайски. Но слова ораторов доходили раньше, чем их успевали перевести.

Потом все запели «Интернационал». Каждый на своем языке. Лишь слово «Интернационал» звучало на всех языках одинаково.

Между полотнищами с иероглифами висели карикатуры и картины. Рабочий молотом разбивает цепи, опутавшие земной шар. Капиталист с пузом валится навзничь при виде красных букв «III Интернационал».

«Привет тебе, рабочий Запада, ты поддерживаешь рабочую республику России! Привет вам, немецкие молотобойцы коммунизма, свалившие Вильгельма. Разбивайте новый окровавленный трон Стиннеса!»

Еще два-три года, еще три-четыре героических усилия - упадут границы, и развалятся тюрьмы, и мир будет принадлежать нам!

И вот нам уже сорок. А ты по-прежнему в тюрьме. Те немецкие молотобойцы, где они? Живы ли? И как случилось, что солдаты со свастикой на рукаве шагают по Украине под началом какого-нибудь Курицы?..

Курицей нового немецкого инструктора прозвали в тот самый день, когда начальник училища представил его курсантам. Во-первых, фамилия у него была Хенне, что по-немецки значит «курица». Во-вторых, очень уж забавно торчал у него за спиной фельдфебельский палаш - совсем как желтый, задранный кверху куриный хвостик. И главное, он с места в карьер стал наводить в роте свои порядки и пыжился при этом, как петух. А что может быть забавней толстой, раскормленной курицы, подражающей петуху?

Училище помещалось в большом каменном здании на одном из Принцевых островов. В ясную погоду Принцевы острова хорошо видны с любого из семи стамбульских холмов: торчат на горизонте из бирюзовой глади Мраморного моря, как темные спины гигантских животных или надутые кривые бурдюки. Он не раз бывал на островах вместе с отцом, а иногда и с дедом. Среди садов и виноградников, в зелени буков и тополей стояли особняки знати. Купальни, закрытые от нескромных взглядов сплошными высокими заборами, влекли к себе летом модников - морские ванны только-только начали входить в обыкновение, говорили, что они полезны для здоровья. Но в воду, несмотря на заборы, входили чуть ли не во фраках.

В знойные месяцы, когда духота наваливалась на улицы старого Стамбула, пароходики - «ширкеты», курсировавшие между столицей и Принцевыми островами, шлепая по

маслянистой сверкающей воде плицами колес и оставляя за собой длинный шлейф дыма, перевозили на острова толпы гуляющих.

Но на остров Хейбели, где разместилось военно-морское училище, он попал лишь в четырнадцать лет.

Третий год шла мировая война. Все голодней делалось в столице. По карточкам выдавали двести, а то и сто пятьдесят граммов непропеченного кукурузного хлеба. Болезни, особенно осенью, косили детей. Занятия, в Нюмюне-мектеби[3], куда определили Назыма, то и дело прерывались. В дедовском особняке в Ускюдаре на голод, конечно, пожаловаться было грех. Но и тут ощущались лишения, выпавшие на долю страны.

Мехмед Назым-паша не страдал аристократическим снобизмом. Он был щедр по велению сердца. Будучи верным мюридом Мевляны, он полагал истинными богатствами - богатства нравственные. А патриархальные заветы мусульманской добродетели предписывали не оставлять в беде младших братьев по вере. В доме постоянно шили многочисленные воспитанники - дети бедных сослуживцев, дальних родственников и просто сироты. Женщины квартала через хозяйку особняка обращались к паше за помощью: то устроить в больницу дочь, заболевшую чахоткой, то определить сына в школу на султанский харч, то походатайствовать о месте для мужа. Назым-паша старался помочь чем мог. А старая ханым-эфенди охотно раздавала беднякам продукты. Но просьб о помощи стало так много, что их не удавалось удовлетворить. И это огорчало и тревожило пашу не меньше, чем положение на фронтах.

Абдул Хамид II к тому времени был низложен. Делами империи управлял «младотурецкий» триумвират, в руках которого безвольный падишах Мехмед V был послушным орудием. Глава триумвирата, зять падишаха и вице-генералиссимус Энвер-паша по совету генералов кайзера Вильгельма предпринял в первые же дни войны наступление на Кавказ. Но был разгромлен русскими, потерял при этом семьдесят тысяч солдат из девяноста, сдал города Каре, Эрзинджан, Трабзон. Глава мусульманского духовенства шейх-уль-ислам объявил джихад - священную войну за веру против гяуров, разъяснив, что гяурами следует считать лишь русских, англичан и французов, а германцев и австрияков - опорой ислама. В ответ арабские улемы[4] объявили, что враги ислама как раз германцы, а опора его - англичане и французы. Восстания арабских племен способствовали продвижению британских войск от Суэца к Палестине. Некоторое утешение доставило Назыму-паше пленение британского корпуса во главе с генералом Таусендом в

Месопотамии. Но англичане, оправившись, быстро перешли в наступление. Священный город Дамаск и возлюбленный Назымом-пашой Алеппо оказались под угрозой. Вскоре Назым-паша был вынужден покинуть и свое последнее губернаторство - Салоники. Британский флот бомбардировал Дарданеллы, высадил десант на Галиполийском полуострове и угрожал самому престольному граду Стамбулу, Но, слава всевышнему, в кровавой битве гяуры были сброшены в море миралаем[5] Мустафой Кемалем.

Мустафу Кемаля Назым-паша знавал, еще будучи губернатором Алеппо. Он служил в чине юзбаши[6] в сирийском военном округе, куда прибыл под стражей после окончания академии, - султан заподозрил его, и, как оказалось, не без оснований, в связях с заговорщиками - «младотурками». После свержения Абдула Хамида Назым-паша узнал, что в Дамаске Мустафа Кемаль создал тайный офицерский союз «Родина». Если не устрашился он самого Абдула Хамида, то, понятно, не склонил головы и перед генералом Лиманом фон Сандерсом, который распоряжается нынче в турецкой армии, будто в своей, немецкой! Мустафа Кемаль отказался выполнять его распоряжения и, видит аллах, выиграл битву.

Трудно было судить по газетам, что происходит на фронте. Младотурецкий триумвират оказался, как это ни печально, ничуть не лучше Абдула Хамида: кроме известий о хорошем урожае да несуществующих победах, ничего печатать не разрешалось. У Назыма-паши были свои источники. Друзья, собиравшиеся в доме, хоть и служили в разных везиратах[7], все теперь носили военную форму. Раз в неделю непременно приезжал в Ускюдар один из адъютантов Джемаля-паши. Военно-морской министр и член триумвирата Джемаль-паша командовал армией в Палестине. Но не оставлял Назыма-пашу своим вниманием - через адъютантов регулярно справлялся о здоровье, передавал поклоны и осведомлялся, не нуждается ли он в чем-нибудь. Как-никак Джемаль-паша был одним из его воспитанников.

Многое дозволялось в дедовском особняке Назыму-младшему. Но когда речь заходила о войне, паша отсылал своего баловня прочь - видимо, считал разговор неподходящим для ушей мальчика. Раздосадованный внук удалялся на женскую половину.

Хикмет-бей, перешедший на службу в министерство иностранных дел, был назначен консулом в Гамбург, и Назым с матерью жили у деда. Мастерская Джелиле-ханым - она была одной из первых турецких художниц европейской школы - служила мальчику убежищем в минуты огорчения. Глядя, как

мать смешивает краски, как они складываются на холсте в картину, Назым забывал о своих обидах. И все чаще сам брался за кисть.

Дед считал, что мальчику куда важней овладеть персидским языком, на котором созданы величайшие творения мусульманского духа - поэмы Саади и Хафиза, Аттара и Мевляны. Но внук был строптив и непоседлив - хватит с него школы, где приходится зубрить непонятные арабские стихи корана. И после двух занятий учитель персидского языка от него отступился.

Джелиле-ханым удалось то, что не получалось у Назыма-паши. По вечерам она читала сыну книги по истории французской революции, басни Лафонтена. И, разглядывая картинки, слушая рассказы матери, Назым незаметно приохотился к французскому языку, а затем и к художеству.

Назло деду он без конца рисовал боевые корабли. А однажды написал акварелью крейсер «Султан Селим Грозный», ведущий огонь по врагу. Эта акварель и решила его судьбу.

Зайдя в мастерскую, Назым-паша долго разглядывал серо-стальной квадратный борт крейсера, желтые яблочки разрывов, фигурки матросов на палубе. И решил: раз у мальчика нет интереса к изящной словесности, быть ему военным моряком. Пусть идет по стопам прадеда.

В следующий визит адъютанта военно-морского министра ему была сообщена воля Назыма-паши, и через месяц Назым-младший очутился на острове Хейбели.

...Каждое утро курсанты выстраивались у гранитной набережной. На молу, далеко вдававшемся в море, медленно вздымался по древку зеленый имперский флаг. Назым, родом из Салоник, был самым высоким в роте и стоял на правом фланге. За ним - племянник султана, принц крови Вахид, потом Ниязи, сын младшего офицера, павшего на фронте, Орхан, сирота из приютского дома. Освещенное утренним солнцем море отливало шафраном, маячили на горизонте паруса яхт и дымки пароходов. А в бухте стоял крейсер «Султан Селим Грозный», тот самый.

У матросов и офицеров с крейсера были такие же черные бескозырки с ремешком, что и у Назыма. Кокарда с якорем, звездой и полумесяцем в обрамлении позолоченных пальмовых веточек. Эти бескозырки, нововведение Джемаля-паши, в его честь именовались «джемалие».

Теперь Назым уже знал, что, кроме флага да бескозырок, ничего турецкого на крейсере нет. Вся команда на нем как была, так и осталась немецкой. Только сменила форму да закрасила на борту немецкое название «Гебен». Два года назад этот крейсер вышел в Черное море и открыл огонь по русским судам.

Поговаривали, что приказ об этом был отдан без ведома Джемаля-паши немецким адмиралом Сушоном. Но как бы там ни было, именно выстрелы этого крейсера стали для Турции началом злосчастной войны. Теперь же, вместо того чтоб вести огонь по врагу, стоит он здесь, нацелив пушки на Стамбул. А их ротой командует проклятая Курица, толстый маленький немецкий фельдфебель с бесцветными, как солома, волосами.

Может быть, в германском флоте так положено, но они не немцы, чтобы он ругал их на чем свет стоит за каждую плохо выдраенную пуговицу на кителе или неумелый ружейный прием.

Стояла зима. Мокрыми хлопьями валил снег. С утра роту вывели на строевые занятия. С полной выкладкой - ружье на плече, ранец за спиной - Курица гонял их целых два часа.

- Направление - море: бегом марш!

Красный, потный, бежал фельдфебель рядом с ротой, не отставая ни на шаг. Впереди показалось море. Все ближе, ближе. У воды Назым остановился. Не прыгать же разгоряченным в холодную воду?..

- Почему стали? - взвился Курица. - Без команды? Воды испугались, трусливые свиньи!

Он подскочил к Назыму и коротким резким движением ударил его по щеке.

В глазах у Назыма потемнело от гнева. Никто еще так не оскорблял его. Когда ему было шесть лет, отец увидел, как он катался на стеклянных дверях, хотя ему тысячу и один раз было говорено, что этого делать нельзя. В сердцах Хикмет-бей назвал его ишаком. Назым взял кусок хлеба, обнял сестренку Самие и ушел из дому с твердым решением больше не возвращаться... Лишь к вечеру, когда отец обратился в полицию, его разыскали на скамейке в парке.

Хикмет-бей помнил слова, которые любил повторять старый паша: «Ребенок - гость в доме. Нужно любить его, уважать, но не властвовать над ним». И он извинился перед ребенком: «Я был неправ. Давай помиримся!»

А эта жалкая Курица!.. Бог знает каких усилий стоило Назыму сдержать ярость.

Прошла неделя. Снова Курица вывел роту на занятия, построил в колонну по одному. А сам вскарабкался на холм. Расставил ноги, огладил вильгельмовские усы и, ткнув себя в грудь, скомандовал:

- Ориентир - я! Бегом - марш!

Назым молнией взлетел на холм. За ним вся рота. Они бежали так быстро, что Курица не успел скомандовать «Стой!». Его сбили с ног, и по нему пробежала вся рота.

Курица попал в лазарет. А Назым - в карцер. Узкий, как гроб, ящик, где нельзя ни сесть, ни лечь.

То было его первое тюремное заключение. В пятнадцать лет...

И вот ему сорок! Спасибо вам, Назым-паша, Джелиле-ханым, Хикмет-бей, за то, что научили прислушиваться к разуму, который бьется в груди. Спасибо, что снабдили в путь силами, чтобы вынести все, что ждало впереди!..

Тусклая лампочка под потолком зажглась, чтоб не погаснуть до рассвета. Он встал с нар, хотел все же выйти умыться. Но поздно: ударил гонг.

Дежурный надзиратель подошел к двери, задвинул засов, запер замок на ключ. Странный человек этот надзиратель. Родом отсюда, из Бурсы. Каждый вечер говорит арестантам: «Доброй ночи!» Вот и сегодня сказал. А потом открывает волчок и подзывает к двери:

- А ну-ка подойди сюда, устад[8]! Подойди! Опять немец пошел наступать. Опять бомбил Лондон. Ну не упрямься, признайся - выиграет немец войну!

Надзиратель «болеет» за Гитлера. Но теперь он уже не так уверен, как год-два назад.

- Не выиграет.

- Видать, не потерял веры. Что ж, посиди, увидим!

Волчок в двери закрылся.

Он подошел к окошку, вернулся. Снова к окну, опять к двери. Интересно, сколько метров прошел он за эти годы по бетону? Как ни считай, все те же четыре... Если ты не потерял веры... Наши там сражаются, умирают, а мы валяемся здесь на боку!

Если ты не утратил веры... то будешь повешен или брошен в тюрьму... Вот именно! Просидишь десять лет, пятнадцать.

Он зашагал из угла в угол как маятник. Вся тюрьма знала об этой его привычке. Днем, когда камеры были открыты, он иногда выходил в коридор - для длинных ритмов камера была слишком мала. И Селим-ага, крестьянин из камеры в тридцать человек, что на втором этаже, улыбаясь, говорил:

- Тихо, ребята, опять отец лихие стихи складывает!

«Лихие» на его языке означало «боевые»... С тех пор как Назым организовал здесь ткацкую артель, привязалось к нему это - отец. А ведь седобородый, благообразный крестьянин Селим-ага старше лет на пятнадцать.

Если ты веришь в родину, в мир, в человека,
Будешь повешен

Или посажен в тюрьму.
Просидишь десять лет,
Просидишь до скончания века.
Но все же не скажешь себе:
«Ах, лучше бы флагом висеть на столбе!»
Ты должен за жизнь держаться,
Пусть стала обузой тебе самому.
Твой долг - за нее сражаться,
Прожить еще день
Назло врагу...

Он растянулся на нарах. Нет, что ни говори, надо жить. Даже когда жизнь стала долгом. Словно дал кому-то слово и выполняешь его. Он задремал...

Щелкнул замок, завизжала ржавая щеколда. В камеру вошел невысокий молодой парень.

- Вот и компания! - проговорил немецкий «болельщик».

Медленно удалились по коридору шаги. Все стихло. А парень все так же стоял посреди камеры.

- Располагайтесь! Правда, будет тесновато, не взыщите.

Пришелец молча расстелил постель, положил в угол торбочку. Он был растерян, ошеломлен. Да и как не растеряться! Два года назад ему дали пять лет - «прокоммунистическая пропаганда». А вся пропаганда заключалась в том, что он любил стихи Назыма Хикмета и говорил, что его осудили против закона, несправедливо.

Могло ли ему прийти в голову, что он будет сидеть с поэтом в одной и той же камере, вдвоем?!.

- Не может быть! Невероятно!

- А что, собственно, не может быть?

И Рашид - так звали парня - рассказал свою историю. В тюрьме он начал сам писать стихи. И даже посылал их в журнал «Еди гюн». Смешно получилось. Ничего не зная об авторе, их стали печатать. И когда в конце года редакция объявила анкету среди читателей, его стихи большинством голосов были признаны лучшими. Видали бы они своего лауреата! Читатели читателями, а ни с одним настоящим поэтом не удалось ему до сих пор поговорить о своих стихах. Мнение такого мастера, как Назым, могло, наконец, решить, стоит он чего-нибудь или нет. Несмотря на поздний час, он решился и попросил позволенья прочесть стихи.

Одну за другой доставал он из торбы исписанные тетради и читал все подряд. Назым слушал молча. Курил трубку одну за другой. Ткачу не нужно видеть весь рулон, достаточно пощупать краешек, чтобы определить качество материи. Так и ему достаточно было трех-четырех строф.

Парень, бесспорно, способный. Но стихи... «Лишь паруса, надутые ветром мечтаний, твой челн приведут в край, где люди красивы. И только любовью излечишься ты...» Великий боже, что за стихи! В четырнадцать лет у него самого была почти такая же строка...

В тот день он почему-то играл в футбол один. Бил мячом в стену сада. Сад в дедовском особняке в Ускюдаре был тенистый, густой. Дед сидел неподалеку в беседке, увитой лозой. К нему пришли друзья - такие же, как он, последователи Джелялэддина Руми Мевляны. Кто в феске, кто в черной тюбетейке. Пили кофе и читали по-персидски двустишия учителя.

Мяч то и дело отскакивал от стены к кустам, окружавшим беседку. Потянувшись к мячу, застрявшему среди цветов лаванды, Назым вдруг застыл и стал слушать, о чем говорят старики.

- Ну что вы таитесь, ваше превосходительство? Кто из поэтов Мевлеви, кроме вас, мог это написать?

- Уверяю вас, - отвечал дед, - не я.

- Но ведь и подпись - Назым.

- Разве один Назым на свете пишет стихи?

- Не скромничайте, ваше превосходительство. Если этот шедевр не вышел из-под вашего пера, то кто еще мог достичь такого совершенства? Журнал только-только из типографии. Мы прочли его и немедленно отправились принести свои поздравления, поцеловать вашу благословенную руку. Да будет с вами свет!

Назым-паша, однако, стоял на своем:

- Это стихотворение сложено хедже[9]. Я же пишу арузом[10]. Однако вы меня заинтересовали... Прочтите-ка еще раз, послушаем.

Надтреснутый старческий голос прочел первую строфу:

Когда мой лоб объял небытия венец,
Веселью и тоске в душе настал конец.
В любви нашел я исцеленье для сердец,
И вот я твой мюрид, о Мевляна!

Назым не выдержал. Встал в кустах. В руках футбольный мяч. Веснушчатое лицо раскраснелось. С воодушевлением прочитал он вторую, и последнюю, строфу:

Прегради черной тьмы я к вечности прорву.
В себе найдя любовь, подобен я царю.
Очистившись душой, я пред тобой стою.
И вот я твой мюрид, о Мевляна!

Откуда внук Назыма-паши знает стихотворение, которое они прочли в журнале, только что вышедшем из печати?

- Все ясно, - сообразил догадливый гость. - Маленький бей увидел произведение вашего превосходительства среди ваших бумаг и удержал в своей молодой памяти.

Назым-паша, удивленный не меньше гостей, что-то пытался возразить, но внук опередил его:

- Меня тоже зовут Назым. Я играл в саду и слышал ваш разговор. Еще в Коньи мы с дедушкой ходили на раденья. Вот я и написал стихи. Послал в журнал. Напечатали. И еще будут печатать. И книги у меня выйдут...

Он вынул из кармана бумажку, огрызок карандаша и прочел еще несколько строк.

Ясный, прозрачный турецкий язык и народный силлабический размер в стихотворении на тему Джелялэддина, нежданное явление голубоглазого, огневолосого, круглолицего отрока произвело на стариков впечатление чуда. Круглодикость у последователей Джелялэддина имела к тому же особый мистический смысл - это был знак божественной доброты.

- В этом отроке явился святой дух! - воскликнул один из гостей. Он хотел было поцеловать мальчишке руку. Но Назым, зажав мяч под мышкой, испарился...

Четверть века назад он и вправду верил, что любовь исцеляет сама по себе. И от бедности и от голода. Как это было давно!.. Говорят, каждого барана подвешивают за свои ноги. Неужели каждое поколение должно пройти все само, с того же самого места? Стихи Рашида плохи, и не потому, что он бездарен. Но как сказать ему? В тюрьме они были его единственной радостью, принесли ему признание. Не потому ли стихи для него парус, который уносит от жизни с ее грязью и болью?.. Да, но как сказать ему правду?..

Рашид кончил читать. Торба была пуста. Тетради кучей лежали в углу, рядом с мангалом.

- Зажги мангал, - сказал Назым. - Выпьем кофе. Когда кофе был выпит, Назым спросил:

- Ты мне веришь?

- Больше, чем самому себе!

- Тогда возьми все, что ты написал, и сожги!

Рашид остановился на мгновенье. Потом нагнулся, собрал тетради и, не оглядываясь, одну за другой положил их в огонь.

- Расскажи, брат, как ты жил.

И Рашид рассказал. Он родился в семье адвоката в тот год, когда началась первая мировая война. В шестнадцать лет эмигрировал вместе с отцом в Сирию. За границей начал работать. Официантом в столовой. Потом подмастерьем у резчика по металлу. Надоело жить на чужбине. И в восемнадцать он вернулся на родину. Был писарем на текстильной фабрике в Адане, Потом стоял у станка. Дальше - известно.

- Видишь ли, брат, твои стихи талантливы. Но плохи. То, что ты написал, было написано тысячу и один раз до тебя и лучше. Для тебя поэзия лишь парус, который уносит подальше от загаженной земли. А почему не плуг, чтобы перепахать хоть клочок этой грязи?..

За окном занимался восход. А они все говорили и говорили о поэзии.

ОТСТУПЛЕНИЕ

- Откуда вы узнали о нашей встрече?

Мы сидели за столом в доме турецкого романиста Орхана Кемаля в Стамбуле - хозяин, его друг поэт Нефзат Устюн, его жена Нурие, его сын. Война окончилась двадцать с лишним лет назад. Назыма Хикмета уже не было в живых. Шел ноябрь 1966 года.

Весной этого года Орхана Кемаля бросили в тюрьму по обвинению в коммунистической пропаганде. Когда Нефзат Устюн пришел, чтоб забрать к себе его жену и детей, - у Орхана Кемаля их пятеро, - перед домом стояла толпа фашистов и выкрикивала угрозы. А Нурие-ханым расставляла в коридоре бутылки с водой. Готовилась их встретить.

Протесты общественности - и не только турецкой - прозвучали, однако, достаточно громко. Власти были вынуждены выпустить Орхана Кемаля из тюрьмы. И теперь эта история служила предметом для шуток за столом.

Орхан Кемалъ, крупнейший романист страны, автор тридцати с лишним книг, переведенных на многие языки мира, был уже не молод. Один из немногих в Турции писателей, зарабатывающих на жизнь своим пером, он, чтобы прокормить семью, вынужден выпускать две-три книги в год. Изнурительный труд по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, годы тюрем и лишений сделали свое дело. Морщины прорезали его лицо, от залысин и без того высокий, крутой лоб казался еще выше. Но глубоко

посаженные острые глаза молодо сверкали из-под густых бровей.

- Кто же вам все-таки рассказал об этом? - с хитрой улыбкой переспросил Орхан Кемаль. - Наверняка сам Назым?

Дело в том, что Орхан Кемаль - это псевдоним того самого рабочего парня Рашида Огютчу, который встретился в бурсской тюрьме с Назымом Хикметом. И это имя как имя одного из лучших прозаиков Турции Назым Хикмет назвал на первой встрече с советскими писателями после своего приезда в Москву в 1951 году. А потом не раз рассказывал своим московским друзьям, как познакомился с Орханом Кемалем, слушал всю ночь его стихи, как тот уничтожил свои тетради.

Орхан Кемаль, довольный, расхохотался.

- Так я и знал. Очень похоже на отца. Хотите, я расскажу, как это было на самом деле?

Рассказ Орхана Кемаля

Зимой 1940 года - заметьте, сорокового, война тогда уже, правда, шла, но только на Западе, - я корпел над бумагами в тюремной канцелярии. Мой начальник, тюремный писарь, просматривал служебную почту.

- Ого, поздравляю! Прибывает твой учитель!

- Какой еще учитель? У меня не было никаких учителей.

- Не ломайся, голубчик! Разве Назым Хикмет не может считаться твоим учителем?

Я не поверил. Он протянул мне бумагу.

«Заключенный Назым Хикмет, срок окончания заключения 14 мая 1966 года, направляется во вверенную вам тюрьму для дальнейшего отбытия наказания». Далее объяснялось, что переводят его для лечения: он страдал невралгическими болями, а горячие источники Бурсы, как вам известно, славятся своими целебными свойствами с древности, в особенности «Гюмюшсу» - «Серебряная вода».

Мне показалось, что растаял снег, лежавший на листьях лилий, посаженных в тюремном саду, что я получил амнистию и нет больше долгих лет заключения, которые мне предстояли.

Как все, я заочно восхищался им и, как все, неизвестно за что был на него зол. И подобно всем, хоть сам того и не понимал, любил его. Огромный, великий поэт...

Я тихо вышел из канцелярии. В тюрьме нас было трое заключенных, писавших стихи и считавших себя поэтами, - Неджати, Иззет и я. Но первенство было за мной - я как-никак печатался.

С трудом сдерживая себя, чтобы не побежать бегом, я направился в камеру Неджати. Тот знал Назыма по стамбульской

тюрьме и рассказывал про него легенды. Говорил, стоит Назыму взять на руки плачущего ребенка, тот моментально затихает. Рассказывал и такое. Заходит, мол, Назым в простонародную кофейню в бедном квартале. Подсаживается к первому попавшемуся бродяге, вынимает из кармана деньги - известно, у него их куры не клюют - и говорит: «А ну выкладывай все, что у тебя есть!» Тот ошалело вынимает несколько медяков. «Отчего так мало?» - спрашивает, мол, Назым. Бедолага молчит, голову повесил. «Давай, - говорит Назым, - все свои деньги сюда!» Перемешает все, свои и его, и делит пополам. «На, мол, держи!..»

Неджати столько раз повторял эту историю, что я потом не утерпел и как-то спросил Назыма, правда ли, мол. Назым рассердился, а затем серьезно так ответил: «Клянусь, никогда в жизни таких глупостей не выкидывал!» Легенда, однако, примечательна. Так мы представляли себе социалистов.

Услышав весть о прибытии Назыма, Неджати захлопал в ладоши, запрыгал, как ребенок: «Ур-р-ра!» А потом сказал: «Смотри не приставай к нему с вопросами да стихами. Он этого не любит. Возьмет свои манатки и переберется в другую камеру. И Иззету не вели!»

Часа через два вся тюрьма уже знала: «Везут Назыма Хикмета!»

Прошло несколько недель. Снова таким же серым туманным утром, поглядывая в окошко на заснеженные листья лилий, я копался в бумагах, когда в канцелярию вбежал Неджати:

- Только что привезли Назыма Хикмета!

Помню, перо вывалилось у меня из рук.

- Повели к начальнику. Я успел ему сказать про тебя. Идем, сейчас выведут во двор! - выпалил он, не переводя дыхания, и чуть не силой потащил меня за руку.

Я так волновался, что голова шла кругом. Сейчас я увижу его, человека, написавшего поэмы о Бенерджи, Джиоконде, Бедреддине...

На бетонном полу у дверей начальника тюрьмы лежали его вещи: постель, завернутая в клетчатое одеяло, старый кожаный чемодан, корзинка. Я был потрясен: значит, и у него, как у нас, простых смертных, есть чемоданы, корзинка, постель, значит, он, кроме стихов, может быть озабочен теми же обыденными делами, что и мы? Совсем иным, не похожим на обычных людей представлял я себе гения, словно когда-нибудь видел живых гениев. Я думал, он выйдет, величественный, как статуя, как идол, в папахе, нет, не в папахе, «в овчине, разрезанной пополам», как он писал в стихах.

Дверь отворилась. Он вышел улыбаясь. Наши взгляды

встретились. В его голубых глазах, его улыбке было что-то чистое, ясное, что-то совсем детское!

Он остановился, словно раздумывая, куда ему теперь направиться, что делать. Потом заметил Неджати и направился было к нему, но тот бросился к Назыму и представил меня.

Назым но-военному составил каблуки и, пытаясь придать лицу серьезное выражение, проговорил:

- Я Назым Хикмет!

Мы пожали руки.

Перед дверьми начальника собралась тем временем порядочная толпа. Все, кто знал его по другим тюрьмам или хотя бы слышал о нем, сбежались встречать. При виде знакомого лица Назым бросался к нему навстречу, обнимался, целовался, словно увидел брата или сына после долгой разлуки. «Как, и ты здесь? Вот это да!.. Что же с твоей апелляцией? Отклонили, а, черт побери! Это уже после Чанкыры было! Жаль, жаль! Да будет в прошлом горе твое! А тебе из дому помогают? Это хорошо, ладно!»

Он подошел к оборванному, босому заключенному. Это был Ремзи из камеры голых. Так звалась у нас семьдесят вторая камера: камерой голых, или камерой папаши Адама. Она помещалась во втором корпусе, на третьем этаже. Все рамы здесь были выломаны, нары разобраны: чтобы согреться, из них на бетонном полу складывали костры. Единственное окошко было разбито: летом здесь гулял ветер, зимой сыпал снег. Заключенные, как овцы, валялись на полу и, прижавшись друг к другу, пытались согреться собственным теплом. У многих единственной одеждой был суровый мешок с дырками для ног, рук и головы. Словом, здесь сидели самые бедные, обездоленные арестанты, у которых на воле не было ни кола ни двора и которые в тюрьме не могли заработать себе на приварок. В этой камере Ремзи сошел с ума.

- Тридцать лет, ах! За что, Ремзи? - говорил Назым. - Убил человека! Как можно?! Подстрекали, говоришь? Как можно! Разве стоит, сынок, за десять лир поднять руку на человека? Ясно, по темноте, но ведь тридцать лет сидеть! Конечно, и ты человек, конечно... Но что ты с собой-то делаешь?

Тут к нему подошел некий Эмин-бей. Он тоже знал Назыма по стамбульской тюрьме.

- И ты здесь, скажи-ка, все приятели теперь здесь. Ну держись, я в шашки теперь тебя обыграю, натренировался!

- А рисовать продолжаешь, маэстро? - спросил Эмин-бей.

Назым подошел к своим вещам. Их досматривали надзирателя. Как только они проверили чемодан, Назым взял его,

отнес в сторону, стал вынимать и показывать рисунки:

- Вот это фотограф в тюрьме Чанкыры!.. А это наш Кемаль Тахир. Наверняка будет одним из самых сильных романистов Турции. А это головорез Мехмед, герой одного из романов Кемаля Тахира.

Портреты маслом, некоторые вырезаны из рентгеновской пленки, как силуэты. Множество крестьянских лиц. О каждом он долго и подробно рассказывал. А мы слушали. И арестанты. И надзиратели. Подошел старший надзиратель. А затем и начальник тюрьмы.

Незадолго до этого я поссорился со своим напарником по камере Иззетом. И попросился в одиночку. Одиночки помещались на верхнем этаже. Здесь сидели за разные провинности: нарушение дисциплины, поножовщину, воровство. Старший надзиратель посадил меня в одну из этих камер под № 52. А для Назыма была приготовлена камера напротив, через две от моей.

Неджати, Эмин-бей и я схватили вещи Назыма и понесли наверх. Он шел за нами, упрашивая дать ему самому что-нибудь понести. Но мы не дали. Мы спускались и поднимались по лестницам, открывались и закрывались за нами стальные двери - их было шесть, я к ним привык, а Назым удивлялся - много. Прошли мимо камер, где по двое, по трое, а то и по четверо, как звери в клетке, метались заключенные с понурыми, серыми лицами. Наконец добрались до этажа одиночек. Сложили вещи в его камере и отправились в мою.

Назым продолжал рассказывать. О порядках в тюрьме Чанкыры, откуда его перевели. О своих тамошних друзьях. О Кемале Тахире.

Вы, конечно, знаете, что в наших тюрьмах приварок нужно покупать на свой кошт. Так вот, в тот день я зажег жаровенку в своей камере, поджарил яичницу с колбасой. Когда мы поели, Назым спросил, где мы покупаем продукты. Я объяснил, что берем в долг в тюремной лавчонке, а в начале месяца, когда приходят деньги от моего отца, я рассчитываюсь. Он вынул маленький кошелек и сказал, что хочет участвовать в расходах. С трудом уговорил я его принять завтрак в качестве угощения. Хорошо помню, в его кошельке была всего одна бумажка в две с половиной лиры, сложенная вшестеро квадратиком.

- Если вы не возражаете, - вдруг сказал он, - я попрошу разрешения у начальника переселиться в вашу камеру. Если бы вы знали, как я ненавижу одиночество - ни строчки не могу написать.

Не нужно быть пророком, чтоб угадать мой ответ.

Назым отправился к начальнику и вернулся довольный...

Наконец настал тот миг, которого я так ждал и так боялся. Неджати проболтался, что я пишу стихи, и Назым устроил мне настоящий экзамен: какое у меня образование, знаю ли я языки, что думаю о происходящей войне, что понимаю в таких материях, как философия.

Французскому я немного научился в Бейруте. Что до образования, то не окончил и средней школы. Но Назым не покривился, как другие, услышав мой ответ.

- Зачем вам диплом об окончании школы - вы ведь не собираетесь поступать на государственную службу? Я лично никогда в нем не испытывал нужды. А язык при желании можно выучить как следует.

По остальным пунктам я получил приличную отметку: «Видно, что вы много читали».

Наступил черед стихов. Сколько я ни уверял, что это так, мол, чепуха, нечего слушать, Назым настаивал. Откровенно говоря, я был от своих стихов в восторге. Писал я тогда, подражая модным поэтам, силлабическим стихом, в высоком, утонченном стиле, и получалось у меня нисколько не хуже, по крайней мере так мне самому казалось.

Назым закурил трубку и, пуская клубы дыма, проговорил:

- Я вас слушаю!

Не успел я окончить первое четверостишье, он меня прервал:

- Ясно, братишка, достаточно. Пожалуйста, следующее.

На первое стихотворение я полагался больше других. Но нечего делать, начал читать другое. Прочел первую строфу.

- Скверно!

Кровь бросилась мне в голову. Еще одно стихотворение.

- Отвратительно!

Дальше я уже читать не мог.

- Зачем, братишка, все эти словесные выкрутасы, это, простите меня за выражение, словоблудие? Вы пишете о том, чего не чувствуете и не знаете. Неужели вы не понимаете, что клевещете на себя, выставляя себя в комическом виде?

Назым продолжал говорить. В его речи то и дело мелькали выражения «реализм», «социальный реализм», «искусство и действительность». Но я уже ничего не понимал. Перед моими глазами стояли Иззет и Неджати. Что они теперь подумают обо мне? Хорошо еще, что экзамен происходил без них.

Назым поднялся, достал тетрадку в черной кожаной обложке и предложил:

- Теперь послушайте мои. Только с условием - критиковать без скидок, без вежливости, безжалостно, беспощадно.

Я ожидал услышать звучные, вдохновенные стихи с

необычными рифмами - что-нибудь вроде «Каспийского моря» или «Плакучей ивы». Но услышал простые, обычные слова. И читал он их будничным, спокойным голосом, изредка вскидывая на меня глаза. «Подумаешь, - шепнул мне шайтан, - так и я могу!»

Окончив чтение, он улыбнулся. Раскурил трубку и спросил, что я думаю. Я ответил, что нахожу его стихи великолепными. Он поглядел на меня с сомнением. Не поверил:

- Вы меня пощадили.

Подымил трубкой и предложил:

- Не согласились бы вы заниматься со мной? В вас, несомненно, есть задатки художника. Я отнесся к вашим стихам чересчур строго. Извините. Но когда дело идет об искусстве, мне не до шуток. Для меня это слишком серьезно... Я хотел бы заняться вашей общей культурой. Хватит ли у вас терпения? Сначала пойдет французский, потом лекции по философии и политике.

Я только и мог, что кивнуть головой.

- Даете слово заниматься без устали, без лени и унынья?

- Даю!

Он протянул мне рук;

- Клянетесь?

- Клянусь.

- Ну вот и прекрасно.

И он, довольный, снова запыхтел трубкой...

Так-то мы встретились. И так стал я его учеником. В истории, которую он вам рассказывал, общий смысл был совершенно точен: он не сочинял. И верил я ему больше, чем себе, и стихи свои уничтожил потом, и думал он обо мне, наверное, так, как вам рассказывал. Но обстоятельства были иными.

У него вообще была слабая память на прошлое. Но я сам не раз был свидетелем, когда люди, рассказывавшие ему о каком-нибудь событии, слушая потом об этом в его стихах, поражались, откуда он узнал подробности, как мог угадать их слова и мысли, ведь они ему об этом не говорили.

Воображение позволяло Назыму выявить общий смысл событий ясней, чем он представлялся даже его участникам. Если с этой точки зрения вы взглянете на его рассказ о нашей встрече, то убедитесь, что это готовая новелла. Она короче, чем мой рассказ, и смысл ее острей, ярче...

Я должен согласиться с Орханом Кемалем. Прошлое, казалось, не занимало Назыма Хикмета - и меньше всего его собственное.

В 1952 году в Москве друзья решили отметить его

пятидесятилетие. Но поэт не мог вспомнить, когда, в какой именно день он родился. Сложным путем высчитали - 20 января.

Назым Хикмет был весь устремлен в будущее. И его главной силой было воображение.

Я думаю, он собирался написать о своей встрече с Орханом Кемалем, потому-то так часто рассказывал о ней. Быть может, во второй части своей последней книги, работу над которой оборвала смерть.

Мне не раз приходилось наблюдать, как, задумав рассказ или пьесу, он принимался излагать ее каждому своему собеседнику и каждый раз дополнял ее, менял, обогащал. Проверял себя на слушателях.

Эта привычка работать вслух образовалась у него в общежитиях и тюрьмах, среди друзей и врагов - вся его жизнь прошла на людях. И окончательный вариант рассказа запечатлевался потом навсегда в памяти окружающих.

Многие устные рассказы о Назыме Хикмете, не став произведениями искусства, перекочевали в книги о нем, в том числе и в мои собственные, и обнаружили упорное стремление сложиться в легенду о Назыме Хикмете. Его желали видеть ее таким, каков он есть, а таким, каков должен быть по нормам респектабельного романтизма легендарный герой.

Виновато было время, если только можно так сказать о времени. Покончив в небывалой войне с «тысячелетним гитлеровским рейхом», человечество еще не успело заглянуть в себя. Утопическая надежда на всеобщий мир и справедливость, которые непременно должны наступить после победы, питалась легендами и иллюзиями, что можно вернуться к нравственному состоянию, предшествовавшему фашизму и войне. Окончательное разоблачение мифов XX века было еще впереди.

В 1951 году, через несколько месяцев после приезда Назыма Хикмета в Советский Союз, одна молодая московская журналистка как-то высказала ему свое удивление: слишком он выглядел и вел себя, по ее мнению, «несолидно».

Поэт огорчился.

- Отчего все хотят меня видеть каким-то героем? Я обычный человек со своими достоинствами и недостатками... Вы говорите о любви ко мне, которая-де требует солидности. Но, по-моему, это любовь не ко мне, а к тому, кого хотят во мне видеть, к собственному воображению...

Легко быть богом,
И легко быть зверем.
Быть человеком - это нелегко.

Эти строки были написаны русским поэтом Евгением Винокуровым много позже. Быть может, в них один из главных итогов, вынесенных нами из опыта прошедших легендарных десятилетий.

Истинная необыкновенность Назыма Хикмета состояла в том, что он при всех обстоятельствах оставался самим собой - человеком.

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы смотрит восьмилетним мальчиком представление теневого театра, на крыше вагона едет в Москву и вспоминает своего учителя поэта Яхью Кемаля

«Ты знаешь мою проклятую беспамятливость. Подробности не удерживаются в моей голове. Между тем подробности так бывают прекрасны. Читая вещи, написанные много лет назад, я радовался, как ребенок. И с волнением жду твоих заметок о нашей прошлой жизни и событиях, послуживших поводом для стихов...»

Опять заела клавиша в машинке. Он поправил ее, задумался.

Действительно, странно устроена его голова. Из всего детства удержала лишь несколько картин. Да и то он не мог бы сказать наверняка, было это с ним самим или с кем-то другим, а он только слышал рассказы об этом. Словно черная пропасть легла между ним, нынешним, и тем мальчиком, который с бьющимся от радости сердцем степенно шагал вместе с дедом по темным улицам Ускюдара. Дед в феске, поверх халата шуба с собольим шалевым воротником. Еле-еле пробивается сквозь деревянные решетки свет из окон домов, нависающих над улицей вторыми этажами. Раскачивается впереди над головой евнуха, освещающего дорогу, разноцветный фонарь, выхватывая из темноты лужи, стволы деревьев. Башмаки вязнут в грязи, а мальчику не терпится - скорей, скорей, может, там уже начали, хотя он знает, что без деда не начнут.

Каким испытаньем детского терпенья был весь этот первый день рамазана! И не оттого, что нужно было соблюдать пост. Взрослые действительно не ели, не пили с рассвета до захода солнца. Но дед не велел мучить детей: два раза в день им выдавали в хареме - на женской половине - по чашке густого белого йогурта, кусочку козьего сыра, по нескольку маслин и жесткой лепешке, хотя ему уже было восемь и пора было приучаться к посту.

Нетерпенье снедало детей по другому поводу. За неделю до рамазана в окне табачной лавки появлялись раскрашенные фигурки из картона, над ними - арабскими буквами - имя актера, название пьесы и пожелание благополучия и счастья всем правоверным по случаю священного месяца рамазан.

Наконец наступал долгожданный день - теперь жди заката. Вечером молитва в два раза длинней, чем обычно, ну просто

лопнуть можно. Кончалась, однако, и молитва, и в дверях появлялся вернувшийся из мечети дед. Закусив, они отправлялись в кофейню.

Так и подмывало пуститься бегом. Но он знал, что нужно соблюдать серьезность - ведь он шел туда, где собирались обычно лишь взрослые мужчины.

Завидев пашу, все приветствовали его, приложив ладонь ко лбу, а затем почтительно складывали руки на животе.

Для детей отводились два первых ряда. Усевшись на табуретке, он проверял, не сбилась ли набок маленькая нарядная феска с кисточкой, и больше уже не спускал глаз с экрана. Обрамленный яркими коврами экран был освещен, но еще неподвижен. Цветные орнаменты окружали изображение галеры. Блики восковых свечей за экраном играли на веслах, казалось, галера движется и вот-вот увезет с собой зрителей.

Служка разносил взрослым кофе, стеклянные наргиле. Пристроив сверху два ярких уголька, вручал деду длинную трубку - марпуч с тщательно прокипяченным мундштуком. Дым с бульканьем проходил сквозь воду в прозрачном кальяне, голова деда пряталась в сизом облаке.

Детям подавали сладкие шербеты в чашках, рахат-лукум. Они жевали, прихлебывая из чашек, но глаз от экрана не отводили. Наконец под стук барабанов галера уплывала, и раздавалась любовная песня. Это означало, что вот-вот появится на экране один из двух главных героев теневого театра - благовоспитанный, учтивый и велеречивый мещанин во дворянстве Хадживад. В остроконечной шапке, в кафтане и с огромным кисетом на поясе, он, распевая, доходил до середины экрана. Останавливался, испускал мистический вопль, а затем читал длинную газель, в которой мир сравнивался с экраном, а все сущее с зыбкими тенями. Этих стихов, исполненных грустной мистики, которым с почтением внимал Назым-паша, его внук, конечно, не понимал и с нетерпением ждал, когда начнет действовать его любимец, лукавый, придурковатый и мудрый Карагёз - Черный глаз.

Но прежде еще нужно было выслушать рифмованную речь Хадживада, благодарившего создателя за милость к теням, и его обращение с бесконечными реверансами и вежливыми отступлениями к Карагёзу, который был его соседом по кварталу. Хадживад соскучился по беседе с образованным человеком, который знает арабский и персидский языки, разбирается в науках и поэзии, - короче, с благородным и приятным человеком.

Карагёз до поры смирно сидел у себя в углу, сонно поддакивая комплиментам соседа. Но вот терпенье его истощалось; распахнув створки окна, он высовывался на улицу.

Какой поток издевок, брани и насмешек выливался на голову Хадживада, разозлившего Карагёза своей болтовней!

Но гнев Карагёза быстро проходил, и они принимались судачить обо всех событиях, происшедших в квартале, в престольном граде Стамбуле, во всей империи повелителя правоверных.

Здравый смысл помогал Карагёзу быстро расправиться с велеречивой респектабельностью Хадживада и высмеять благочестивое толкование, которое тот давал всем событиям в мире теней. Остроты Карагёза подчас бывали весьма рискованными для детских ушей, равно как и для ушей султанских шпиков, хотя и вызывали громкий хохот в рядах взрослых зрителей.

Но вот звучит новая мелодия, оповещая о появлении нового героя. Это Челеби - знатный щеголь, папенькин сынок, богатый повеса.

Тут, собственно, и начинается пьеса. По мановению руки единственного актера один за другим являются на экране все новые и новые персонажи: Зенне - женщина; Тирьяки - курильщик опиума, копия Хадживада, но разочаровавшегося в жизни; Папаша Химмет - деревенский дровосек из Каста-мону; Садовник-албанец, бродячий Фокусник-еврей, Араб в бурнусе, Френк - европеец в шляпе, пройдоха и коммерсант, Заика, Гундосый, Акробаты. И наконец, Дели Бекир с сосудом вина в одной руке и кривой янычарской саблей в другой. Это лихой вымогатель и грозный хулиган-кюльханбей, одним своим появлением наводящий страх на всех, кроме Карагёза, и силой восстанавливающий в квартале мертвое спокойствие. Какая бы ни разыгрывалась Пьеса: сказание о Ферхаде, который должен прорубить Железную Гору и пустить воду в город, чтоб соединиться с красавицей Ширин, или трагикомический фарс, повествующий о похождениях заезжих мегер, которые заманивают доверчивых кавалеров, чтобы выгнать их на улицу в чем мать родила, - зрители всегда узнавали под разными именами хорошо известных им типов.

Актер теневого театра, двигавший с помощью палочек раскрашенные фигурки из верблюжьей кожи, наделял их всегда одними и теми же чертами. Происходило дело в горах или на загородной прогулке, в лавке или на площади, место действия, по сути, всегда было одно - стамбульский квартал. Именно здесь, в квартале, протекала жизнь горожанина Османской империи.

Это был свой замкнутый мир. В каждом квартале были свои кофейни, своя школа, свои фонтаны, где бедняки брали воду, своя команда пожарников, свои повивальные бабки, свои знахари и богадельни, свои водовозы и юродивые, свои богомольцы и

вольнодумцы, богачи и бедняки, нищие и аристократы и, наконец, свой староста. Своя стая бродячих собак охраняла квартал от нашествия сородичей с других улиц. Стражники блюли общественный порядок, оповещая по ночам о своей неусыпности свистками, а днем постукиванием палки о камни мостовой.

Собственно говоря, квартал был религиозной общиной, объединявшейся вокруг мечети, где пастырь правоверных - имам - читал проповеди на злобу дня и по случаю религиозных праздников, объявлял и растолковывал фетвы - указы главы мусульманского духовенства империи шейх-уль-ислама. Квартал принимал участие в сиротах, заботился о приданом для бедных невест и о мужьях для перезрелых, собирал вспомоществования и увещевал провинившихся.

Но тот же квартал превращался в ад для тех, кто нарушал патриархальный кодекс чести и морали. Женщина, заподозренная в сомнительном поведении, выслеживалась всем кварталом, и, если подозрения подтверждались, ее в сопровождении глумящейся толпы вместе с поклонником всем кварталом доставляли в полицейский участок.

Высшим светским авторитетом был паша - проживавший в квартале высший гражданский или военный сановник. Его связи в придворных сферах, его состояние и положение делали мнение паши непререкаемым. Но он также был связан патриархальной моралью и для поддержания своего веса обязан был принимать участие в делах квартала и деньгами, советами и заступничеством перед сильными мира сего.

Типы и характеры, отношения и быт городского квартала - вот что изображали тени на экране.

Карагёз воплощал здравый смысл простолюдина.

Вот он разгуливает по экрану, распевая песни в честь рамазана. В руке у него фонарь, как это и предусмотрено султанским фирманом, возбранявшим честным обывателям появляться без оного на улицах после наступления темноты, дабы можно было их отличить от жуликов. Но свечи в фонаре нет. Она Карагёзу не по карману, а в султанском фирмане не сказано, что в фонаре непременно должна гореть свеча.

Мистические газели, открывавшие представление, нагоняли скуку - восьмилетний внук Назыма-паши их не понимал. Иное дело хитрости Карагёза, типы стамбульского квартала - то был его собственный мир с тех пор, как он стал себя сознавать.

Хикмет-бей жил с семьей в квартале Гёзтепе. Тут Назым-младший пошел в школу. Каждое утро школьный служка - калфа - обходил дома учеников. Постепенно увеличиваясь в числе,

процессия шествовала по улицам квартала. Впереди калфа нес на длинном шесте торбочки самых маленьких, сумки с кораном, пюпитрами, завтраками. Как-то утром, толкаясь, шумя, осыпая камнями кошек и собак и в то же время сохраняя невозмутимо отсутствующее выражение лица на случай, если калфа вдруг обернется, они, как обычно, подходили к школе. И вдруг все глаза устремились в одну сторону - по тротуару вразвалку шел лихой кюльханбей Дели Осман. Говорили, что никто в целом Стамбуле не мог найти на него управы. Одет Дели Осман был щегольски: серая дымчатая феска с длинной кисточкой, кафтан из волнистой материи, отороченный лиловым бархатом, жилет с черным шитьем и двумя рядами блестящих пуговиц, брюки в обтяжку, а от колен расклешенные, как юбка, и остроносые туфли на каблучке.

Внуку Назыма-паши ничего не стоило мгновенно опознать в нем того самого Дели Бекира, что нагонял ужас на героев теневого театра, хотя в руках у Османа не было ни янычарской сабли, ни бутылки с вином.

...Дели Османа наверняка уже не было в живых - таким, как он, тридцать лет головы не сносить. Впрочем, и прежнего патриархального квартала тоже больше нет. Он канул в вечность вместе с султанами и везирами, вместе со всей Османской империей. И потянул за собой тени на экране. Нет больше на свете и театра Карагёз.

Пожалуй, пропасть, отделявшая внука паши, который в тот рамазанский вечер сидел вместе с дедом в кофейне, от нынешнего Назыма Хикмета, пролегла не в памяти, а в жизни. Да полно, была ли вообще та жизнь? Случилось ли это все с ним самим или с кем-то другим, или он вычитал это в книгах?

Вот Валя, он все помнит: что сам видел, что слышал и от кого. И так точно, что диву даешься. Валя, вместе с ним они учились в школе Гёзтепе, вместе поступили в один и тот же класс лицея Галатасарай, вместе на одном и том же пароходике возвращались по пятницам в Ускюдар, глядя на шлепающие по воде плицы. Вместе удрали в Анатолию, вместе учительствовали в Болу, писали стихи в одной и той же тетради - строка моя, строка - твоя. Вместе учились в Москве... Тот самый Валя Нуреддин, газетчик и автор детективных романов, с которым были связаны его самые лучшие дни. Это о нем в тридцать лет Назым написал, что «продает он эти дни за десять медных грошей, за пару модных сапог, за грошовое счастье, блаженную чепуху». И уверял, что не злится больше на него, ибо он ему теперь даже не враг.

Он ему действительно не враг. И все же он тогда был на него зол. Нет, не зол, оскорблен за него самого, за Валю...

Кенар залился свистом. Сидя на шестке в деревянной клетке у самой оконной решетки, птица надрывалась. Умолкала. Склонив набок голову, поглядывала на него черной пуговкой глаза. И снова заходилась.

Этого кенаря Рашид купил на свой первый заработок. Он все еще сидел в тюрьме, но, воспользовавшись законом о труде, вот уже полтора месяца под охраной жандармов ходит работать в город...

Зря он тогда был зол на Валю - каждый выбирает себе по силам. Это только в двадцать лет кажется, что силы и время неисчерпаемы. В сорок ясно знаешь пределы. Тощий, полуголодный, со слабыми легкими, сын бейрутского губернатора Валя Нуреддин! В двадцать лет у него хватало сил нести целый день на своей спине его, тяжелого, молодого, по анатолийским дорогам. А в тридцать уже недостало сил делать то, что сам считал справедливым. Нет, он не перебежал на сторону врага. Но и самим собой остаться не смог.

Вроде ехали они в одном поезде, и Валя отстал...

В одном поезде они ехали в 1922 году из Тифлиса в Москву. Лето выдалось на редкость знойное. Русские поезда на другие не похожи. Ночью спинка сиденья поднимается, и на втором этаже можно улечься спать. Да и с третьей, вещевой полки можно снять чемоданы - она широкая, как кровать. Огромная страна, вагоны рассчитаны на многодневный путь. Но в те годы спальных мест в поездах не было.

Их стиснули в купе со всех сторон. Со вторых полок свесились у них перед носом вонючие носки, чувяки. На багажной полке разместились тоже по двое, по трое. И в проходе стояли, как в трамвае.

Путешествие продолжалось одиннадцать суток. Вся страна - огромная Россия стронулась с места.

Их было пятеро турок.

Самый старший - профессор Ахмед Джевад. Лет под пятьдесят ему тогда было, не меньше. Но темперамент! Разноцветный был человек профессор Ахмед. Студентом примкнул к «младотуркам», готовившим свержение султана. Арестовали... Сослали в Триполитанию, в страшную Физанскую крепость. Он оттуда бежал, как - один аллах знает! Оказался в Европе. После «младотурецкой» революции 1908 года руководил кооперативным движением. И писал книжки для молодежи -

«турки превыше всего».

К концу мировой войны, узнав, что в России свергли царя, отправился на Кавказ торговать этими книжками и коврами. Часть ковров и книжки конфисковали большевики. Профессор познакомился с турецкими коммунистами, бывшими пленными, с их главой Мустафой Субхи. И вступил в только что организовавшуюся компартию.

Что бы ни делал этот человек - торговал и проповедовал, готовился к революции или писал книги, он весь целиком отдавался делу и верил в него, как фанатики верят в аллаха. Но быстро сменял одну веру на другую.

В Батуме, в шикарном номере гостиницы «Франция», профессор соорудил себе постель из упаковочных ящиков. Положил на них молитвенный коврик и так спал. Готовился к лишениям: «Если на старости лет привыкну к комфорту, трудно будет снова привыкать к тюремным нарам».

Назым с Валей посмеивались над профессорскими чудачествами и блаженствовали на его кроватях - пружинные матрацы, пуховые одеяла. Лафа!

И вот теперь, в поезде, огладив бородку, профессор склонил голову набок, чтоб не мешали свесившиеся с верхней полки ноги, и, подмигнув Назыму, заметил:

- Ну что бы я теперь делал здесь, если бы успел в Батуме разнежиться!

Рядом с Назымом сидели Шевкет Сюрейя и его молодая жена Лееман - они познакомились и поженились в Батуме. Шевкет Сюрейя, блестящий молодой человек, приехал в Батум с головой, набитой идеями пантюркизма. Собирался нести свет братьям тюркам - татарам, азербайджанцам, казахам. Возродить империю, объединив все эти народы - от Средней Азии до Босфора. Но в Батуме тоже стал коммунистом. По крайней мере считал себя таковым.

Эта четверка двадцатилетних молодых стамбульцев составляла «социальную семью» профессора Ахмеда Джевада. Ему она и была обязана тем, что ехала теперь в Москву.

В Московском институте востоковедения потребовался преподаватель турецкого языка. Уполномоченный ЦК по Кавказу Серго Орджоникидзе предложил эту должность профессору. Тот согласился при условии, что в Москву поедет вся его «социальная семья»: ребятам надо учиться. Так они получили направление в Коммунистический университет народов Востока.

Казалось, в вагоне больше нет ни местечка. Но новая волна пассажиров нашла его - в коридорах, в тамбурах.

Назым высунулся в окно.

- И на крыши лезут... Может, нам тоже попробовать? Профессор запротестовал. Вот выедем на русскую равнину, тогда и пробуйте, а то, чего доброго, убьетесь в туннеле или скатитесь в пропасть.

На одной из станций вылезли через окно. Впереди расстилалась ровная как скатерть степь.

- Мы будем у вас над головой. Не беспокойтесь!

Взобрались на крышу. В тогдашней России этот способ путешествовать назывался «горьковским» - в память о горьковских босяках, а может быть, его собственных скитаниях по России.

На крыше тоже было не просторно. Едва нашли место. Ложиться следовало не вдоль вагона, а поперек, иначе во сне можно скатиться. В Ростов приехали прокопченные, черные. У Назыма только белки сверкали.

В Ростове пересадка. Пока ждали поезда, исчез чемодан у Лееман. Глаз не спускали с вещей: многоопытный профессор - он знал десять языков и свободно говорил по-русски - предупредил, что Ростов славится в России ворами, вроде Неаполя в Италии или Пирея в Греции. Как им удалось стянуть чемодан, непонятно!.. Кто-то из попутчиков объяснил. У ростовских жуликов своя, мол, техника: носят пустой чемодан без дна. Ставят его на ваш, зажимают специальным устройством и у всех на глазах идут себе с вашим чемоданчиком, как со своим. Виноват, конечно, был Назым. Затеял спор о роли вождя в революции. Так увлеклись, что и не заметили, как исчез чемодан.

То, что они увидели за Ростовом, никто из них, наверное, не забудет до самой смерти. Поезд остановился на какой-то станции. Из-за штакетника, окружавшего перрон, глядели странные, марсианского вида существа: землистые, зеленоватые лица, животы, раздутые словно шары, а одежда - бог ты мой! - точно узники из камеры голых. Но тогда он еще их не видел. Глаза запавшие, расширенные - один сплошной зрачок.

Кто-то бросил на перрон арбузные корки. И десятки людей перелезли через забор, кинулись поднимать их, вырывали друг у друга из рук. То были голодающие Поволжья.

Засуха поразила юг России - словно сам господь бог сговорился с буржуями уничтожить безбожную революцию. Земля лежала твердая, растрескавшаяся - в трещины входила ладонь целиком.

...Весной 1942 года он впервые увидел, как голодные люди едят траву. Спокойно, не стыдясь и не жалуясь, словно скотина, заключенные из камеры голых, стоя на четвереньках, щипали траву на тюремном дворе... А там, под Ростовом, и травы не было.

Он не мог понять, почему сотни, тысячи голодных не

бросились к поезду. Ведь он шел из сытых районов Кавказа, у каждого пассажира были корзинки, сумы с провизией, а у Ахмеда Джевада даже целый ящик сахара - профессор был не только многоопытен, но и оборотист. Что удержало голодных - дисциплина, страх? Но ведь никакой охраны в поезде не было. Или голод довел их до полного отупения?..

Он опомнился, лишь когда поезд отошел от перрона. Как мог профессор сидеть на ящике с сахаром и не отдать хоть часть своего запаса этим живым мертвецам!

Ахмед Джевад возражал: сахар, дескать, в таких количествах никого не спас бы, а он отвечает за свою «социальную семью». Логика говорила за него. Но было здесь что-то важнее логики...

В Москве Назым услышал историю, которую, как легенду, рассказывали товарищи, побывавшие в Финляндии. В 1917 году Ленин скрывался в Хельсинки под чужой фамилией. Как-то на улице он вдруг увидел, что экипаж вот-вот раздавит девочку. Ильич бросился на мостовую, выхватил ее из-под колес. Собралась толпа. Полицейский, поздравив спасителя, попросил его вместе со свидетелями проследовать в участок.

С трудом удалось избежать провала. Один из товарищей стал выговаривать: «Какой, дескать, был смысл рисковать? Погибни девочка, революция не пострадала бы, а гибель вождя могла причинить непоправимый вред».

- Вы полагаете, если руководитель партии потеряет уважение к себе, революция не пострадает? - воскликнул Ленин.

Уважение к себе. Может быть, в этом все дело?.. Валя пишет, что был недавно в гостях у профессора Ахмеда Джевада. Он вернулся в Турцию. Стал депутатом меджлиса. Работал в Обществе турецкого языка, основанном Ататюрком. Написал несколько работ по турецкой грамматике. Сейчас вышел на пенсию, живет в старом деревянном доме на азиатской стороне Босфора. Вспоминал с Валей прежние годы, и слезы текли по морщинистым, дряблым щекам профессора. Кого он оплакивал? Назыма, сидевшего в бурсской тюрьме, или себя самого, каким он был и каким не смог остаться, чтобы сохранить уважение к себе?..

Кенар Мемо давно умолк. Перебрал клювом все перышки в крыльях. И надулся.

Назым отвернулся. Перечитал письмо.

Уважение к поэзии - вот что помогло ему сохранить уважение к себе, что разделило их с Валей.

Снова застучала машинка. Старенькая, разбитая. Буква «о» плохо пробивается.

«Поговорим теперь о поэзии, о том, что ты думаешь о ней.

Если употреблять так называемые возвышенные сравнения, то стать поэтом то же самое, что пуститься в колоссальное предприятие, в невиданное путешествие. Успехом завершиться оно может лишь для того, кто обладает длинным, очень длинным дыханием, на все сто убежден в правоте своих идей, любит, не зная границ и пределов, умеет сражаться и быть рассудительным, трудолюбив, как муравей, и обладает кругозором орла. Легко было стать поэтом во Франции XIX века. И очень трудно в Италии в эпоху Возрождения... Мир и наша страна переживают сейчас возрождение. Потому-то и ремесло поэта ныне так тяжело...»

И память - одна из самых тяжких гирь. Как это сказано у Яхьи Кемаля: «Мы, запрятавшись в зыбку забвенья земли, созерцаем с улыбкой творенья земли...» Память, конечно, нужна - поэт должен знать все, что было, все, что сделано до него. Но, садясь писать, нужно уметь об этом забыть. Зерно, чтобы дать росток, должно умереть.

Памятью обладает множество поэтов, а уменьем забывать, к сожалению, единицы. Между тем забвенье нужно в поэзии не меньше, чем память. Взять того же Яхью Кемаля. Старик всю жизнь смотрел на мир из памяти о прошлом. А мог бы стать не просто большим - великим поэтом, если б не прятался в зыбке забвенья, а умел терять, как большинство умеет приобретать... Учитель Яхья!..

Яхья Кемаль входил в класс быстрым шагом и, не дослушав рапорт дежурного курсанта, махал рукой - садитесь, дескать, садитесь. Раскладывал на столике книги с закладками - закладками этими, впрочем, он редко пользовался, память у него была феноменальная. Наступала пауза. Яхья Кемаль собирался с мыслями, как бы входил в атмосферу того времени, о котором собирался рассказывать, словно актер - в роль.

Если не брать в расчет феску с длинной кисточкой, его можно было бы признать за парижанина. Он одевался по последней европейской моде и не сменил костюма на униформу, когда ему присвоили чин бинбаши - майора. Хоть преподавал он в военно-морском училище, но был человек штатский - отказался от чина, лишь бы не нацеплять мундира.

Странное все-таки это было училище на острове Хейбели. Курица и лейтенант Кенан гоняли их часами, чтобы добиться оттяжки носка в прусском гусином шаге. А Яхья Кемаль, преподаватель истории, посвящал в тонкости французского символизма, хоть Франция вела войну с Империей, и мог часами комментировать одну строку султана турецкой лирики поэта Бакы.

Яхье Кемалю было тогда лет тридцать пять. В глазах его таилась меланхолическая грусть: мир, окружавший его, был невесел, стоило ли суетиться, чего-то добиваться, когда все шло прахом - Империя рушилась, и люди были уже не те, что некогда. За изысканными манерами сквозила застенчивость робкой души, ограждающей свои мечтания, игру настроений от грубого вторжения действительности. Быть может, только здесь, за кафедрой, он чувствовал себя свободно - речь шла о поэзии прошлого.

Яхья Кемаль долго жил в Париже. Говорил по-французски, как на родном языке. Он, наверно, мог бы стать французским поэтом, как стал его учитель, грек по рождению Жан Мореас. Французская литература усыновила много блудных талантов Европы. Но Яхья Кемаль вернулся в Стамбул.

Его наставник Жан Мореас считал Францию наследницей древнего Рима, пытался в стихах возродить классические традиции. Яхья Кемаль мечтал о возрождении золотой поры Османской империи. Лишь в прошлом видел он опору, способную остановить нынешний распад: не забыть прошлое, а воскресить его. Там, в прошлом, была героика, европейские крепости склоняли головы к копытам султанской конницы, там были янычарская преданность, искренняя вера.

Яхья Кемаль писал стихи арузом. Эта система стихосложения, господствовавшая в придворной поэзии, досталась туркам в наследство от рабов и персов. Она была основана на чередовании долгих и кратких гласных. Но в турецком языке гласные не различаются по долготе.

Предшественники Яхьи Кемаля да и многие его современники насыщали поэтому свои стихи арабскими и персидскими словами. Этого требовали и аруз и высокий стиль. Турецкая лексика считалась недостойной поэтической речи.

Яхья Кемаль был выдающимся мастером. Изощренный в выборе слова, он доказал, что можно писать арузом и по-турецки. Он был, пожалуй, последним настоящим поэтом классической традиции. Но как поэт истинный, он приоткрывал для турецкой поэзии и новые пути. Он стал одним из тех поэтов, благодаря которым турецкая поэзия овладела разными системами стихосложения.

С некоторых пор Назым из Салоник стал замечать на себе внимательный взгляд учителя. Яхья Кемаль явно благоволил к нему.

У этого круглолицего четырнадцатилетнего мальчика было совсем не детское воображение. В своих ответах он наделял исторические фигуры живым характером, словно речь шла не о

людях, умерших столетия назад, а о ком-то из знакомых.

К тому же Яхья Кемаль хорошо знал его деда - поэта Назыма-пашу. Бывал и в доме Хикмета-бея.

Как-то он пригласил Назыма к себе, благо тоже жил на азиатской стороне Босфора. Выпили по чашечке кофе. Яхья Кемаль показал Назыму свою библиотеку. Там были интересные вещи - древние рукописные сборники стихов - диваны, миниатюры.

Сели за шахматы. Поэт с тонкой улыбкой сравнил сраженье пешек на доске с баталией. Назым разволновался, стал рассуждать о героической защите Дарданелл от англичан: при Дарданеллах погиб его любимый дядя Мехмед Али. И, увлекшись, проиграл партию.

- Сознайтесь, дорогой, вы пишете стихи. Прочтите что-нибудь!

Назым глянул на учителя не то с радостью, не то с сомнением. Как он был похож на свою мать! Особенно верхней частью лица. Глаза - синие-синие, совсем как у Джелиле-ханым. Эта женщина поразила Яхью Кемаля своей красотой, быть может, не меньше, чем свободой, с которой высказывала свое мнение среди мужчин, в присутствии мужа.

Когда через два года Джелиле-ханым разошлась с мужем, Яхья Кемаль стал частым гостем в доме. Он даже сделал было ей предложение.

Назым, узнав об этом, пришел в ярость. Он обожал мать, ревновал ее к целому свету.

Яхья Кемаль, испуганный неожиданным гневом ученика, даже перебрался в другой район, снял комнату в особняке Серветa-паши, лишь бы не попадаться на глаза Назыму.

Женитьба не состоялась по другой причине. Не желая надевать мундира, поэт отказался от майорского звания. А на учительское жалованье семьи не прокормить. Так по крайней мере написал Яхья Кемаль Джелиле-ханым, покорнейше прося у нее прощенья.

Джелиле-ханым уехала совершенствоваться в живописи во Францию, а Яхья Кемаль до конца дней остался холостяком. Но все это случилось поздней.

...Назым читал стихи о кошке. Он сравнивал ее шаг с мягкостью пуха, быстроту - с выстрелом.

Яхья Кемаль смотрел в окно, на паруса яхт, выплывавшие из-за полуострова Мода, на идущие по Босфору пароходы.

- Скажите, вы не могли бы показать мне эту кошку? - вдруг спросил он.

Назыму стало неловко - с чего это ему взбрело в голову

читать прославленному поэту этакие пустяки? Но было уже поздно.

Через несколько дней он принес кошку своей сестры Самие, послужившую ему источником вдохновения. То было жалкое, облезлое созданье с надорванным ухом и свалявшейся шерстью.

- Великолепно! - воскликнул Яхья Кемаль. - Ваше воображение достойно самого Бакы. Если вы не возражаете, я буду с вами заниматься особо...

Вскоре в одном из лучших литературных журналов, «Ени меджмуа», появилось стихотворение Назыма. Он сочинил его, гуляя в кипарисовой роще на кладбище Караджаахмед, неподалеку от дома.

С кипарисом связано представление о смерти. Не только на кладбище - у одинокой могилы в горах или при дороге принято сажать это дерево, как минарет устремленное в небо. Впрочем, может быть, наоборот, минареты стали строить, подражая кипарису.

Я услыхал под кипарисом стон.
Неужто здесь рыдают люди тоже?
Иль одинокий ветер, это он
Погибшую любовь оплакивал, быть может?

Я так надеялся, что хоть в объятьях тьмы
Влюбленные глаза с улыбкою смежают.
Неужто те, кто умер от любви,
И здесь, под кипарисами, рыдают?

Злые языки утверждали, что стихотворение написал Яхья Кемаль, но, желая доставить удовольствие Джелиле-ханым, подписал именем ее сына. Откуда было знать злым языкам, что у мальчика был к тому времени кое-какой поэтический опыт?..

...Во время очередного пожара, когда Назыму было лет семь, огонь подошел к их кварталу. Пожары в начале века были в Стамбуле страшным бедствием. Занявшись в одном квартале, огонь угрожал целым районам. Дома были сплошь деревянные, противопожарные средства состояли из помп - их с криком и гиканьем бегом несли на плечах к месту пожара квартальные команды. Метались ошалевшие люди - плачущие женщины и дети, старики с вылезшими из орбит глазами. Стражники, квартальные, пожарники, водовозы таскали воду в кожаных бурдюках, с трудом пробираясь через толпы погорельцев, зевак и любителей легкой поживы. Визжали собаки. Слуги, расстелив мокрые ковры на крышах особняков, чтобы падавшие с неба

горящие головни не подожгли кровли, беспрерывно творили молитву.

При виде этой картины Назым прокричал: «Шумит, гремит, горит, горит!»

Стремглав ворвался в комнату тетушки Сары-ханым.

Шумит, гремит, горит, горит!
Хватает красными руками
Старух и маленьких детей
Огонь, грабитель и злодей!

С той поры стоило Назыму разволноваться - он был легко возбудим, говорил во весь голос, вскакивал, бегал по комнате, размахивая руками, - домашние подтрунивали:

- Шумит, гремит, горит, горит!..

...Но, даже зная его детские опыты, все же трудно поверить, что четырнадцатилетний мальчик мог всерьез испытывать чувства, выраженные в стихотворении «Кипарисы». Старческая грусть и разочарованность выдавали влиянье Яхьи Кемаля.

Сплетники, отлично разбираясь, кто в кого влюблен, мало понимали, однако, в поэзии. Стихотворение было написано силлабическим размером, свойственным народной поэзии. Яхья Кемаль им не писал. Его поэтический взгляд всю жизнь был прикован к великолепию классической поры турецкой поэзии.

То было великое наследие. Но зерно должно умереть, чтобы дать плоды.

Забыть то, что нуждается в забвении, уметь терять и не жалеть о том - лучшее у нас всегда впереди, - для этого мало быть большим стихотворцем. Нужно еще иметь мужество и силу.

Забвенье тоже революционная сила. Память, приобретения часто становятся кандалами на ногах.

...«И все же, дорогой мой Валя, очень горько было узнать, что Яхья Кемаль неизлечимо болен. Я лично в том, что касается техники и построения строки, - многим ему обязан...»

ОТСТУПЛЕНИЕ

В 1950 году тяжело больной Назым Хикмет объявил в тюрьме голодовку. У него не оставалось иной возможности отстаивать справедливость, как снова поставить на карту свою жизнь. Власти перевезли его из Бурсы в Стамбул, в тюремный госпиталь.

В Стамбуле стояла весна. Отцветал миндаль. Яркое солнце било в зарешеченные окна ветхого, почерневшего от времени деревянного дома. Рассохшаяся дверь со скрипом отворилась, и на ступеньки, ощупывая дорогу палкой, вышла старая женщина.

Некогда прекрасные глаза ее заволакивала надвигающаяся слепота. Медленно направилась она к пристани, села на пароход и переправилась на европейский берег Босфора.

Ее поджидали здесь двое мужчин. Один, пожилой, держал под мышкой кусок фанеры, другой, помоложе, - длинную палку. Только что окончился рабочий день, на улицах было полно народу.

Пожилой взял палку, насадил на нее, как на древко, фанерный лист. Старая женщина высвободила из-под платка руку, взяла плакат и оперлась на него.

«Несправедливо осужденный мой сын Назым Хикмет объявил голодовку. Я присоединяюсь к нему. Кто хочет спасти нас, подписывайтесь под петицией».

Джелиле-ханым, это была она, вышла спасать сына.

Ее пример имел неожиданный отклик. Десятки женщин - преподавательницы, врачи, студентки, даже светские дамы - стали обходить дом за домом, стучаться в квартиры всех сколько-нибудь известных художников, журналистов, писателей, политических и общественных деятелей, собирая подписи под требованием освободить Назыма Хикмета. Постучали они и в дом Яхьи Кемаля.

Тому было уже под семьдесят. За эти годы он не раз был депутатом. Побывал послом в Польше, Испании, Пакистане. На конкурсе, организованном правящей партией, был признан лучшим поэтом Турции. Короче говоря, его слово значило много.

Назым был сыном женщины, которую он когда-то любил. Мало того, Назым был его учеником.

Как-то в тридцать шестом году они встретились на улице Бабыали, где помещаются редакции всех стамбульских газет и журналов, издательства и книготорговые склады.

Назым только что опубликовал «Поэму о Бедреддине Симави», где впервые обратился к османскому средневековью. Но не для того, чтобы воспеть величие Империи, а чтобы воскресить еретика, повешенного пятьсот лет назад по повелению султана Мехмеда Челеби, воскресить тысячи его последователей, распятых, посаженных на кол за то, что они восстали против султана и его вассалов, создали свое государство, осмелились утверждать всеобщее равенство людей и религий, обобществили земли и имущества.

Радовал взор пестрый узор Бурсы шелков на тахте.
Блистали лазурью, как сад голубой, изразцы
из кютахской глазури.
Вина в кувшинах из серебра были.

Горы добра были.
Брата родного Мусу тетивой задушив,
братскою кровью в тазу золотом омовенье свершив,
владыкой султан Челеби Мехмед был.
Но в стране, где правят Османы,
ветер бесплодием веял, песней смерти, предвестником бед был,
тот, кто пахал и сеял, разут и раздет был,
вотчиной бея - глаз его свет был,
пот его лба - богача зиамет[11] был.
Стон безземельных людей и безлюдной земли тяжким,
как бред, был.

Это была совсем иная Империя, чем та, которую воспевал Яхья Кемаль. Но стихи привели его в восторг. Назым написал часть поэмы арузом, притом таким размером, который был неизвестен учителю и, очевидно, восходил к седой старине.

- Где ты отыскал этот размер? - спросил Яхья Кемаль.

- Не отыскивал. Сам изобрел - стилизовал под стариков, - ответил Назым.

Яхья Кемаль не поверил, решил, что ученик не хочет раскрыть секрета. Это была их последняя встреча.

...Через два года после смерти Назыма Хикмета мы вместе с башкирским поэтом Мустаем Каримом пришли в дом №12 по улице Джем в Стамбуле, в гости к Вале Нуреддину. Он был болен раком легких, едва оправился после операции. Вспоминал Москву двадцатых годов, Страстную площадь, Университет народов Востока. Полузабытые русские слова «костер», «приказ», «собрание», «ячейка» всплывали в его памяти отголосками тех далеких лет.

Он был нам рад. Но вдруг делался сосредоточенно-рассеянным - глаза за стеклами очков глядели куда-то внутрь себя. Жизнь подходила к концу. И, оглядываясь на свою молодость, он словно вел с самим собой какой-то очень важный для себя разговор.

На стене висела картина, нарисованная на стекле Назымом Хикметом в бурсской тюрьме: забранное решеткой оконце, за оконцем угол тюремной стены и, словно кусок тряпки, небо, а на подоконнике круглый горшок с цветком на слабой, изогнутой ножке. «Гвоздика надежды», которую поэт растил долгие тринадцать тюремных лет.

Назым Хикмет пришел сюда, в эту квартиру, к Вале Нуреддину прямо из тюрьмы. Здесь, в этом самом квартале, четырнадцатилетним мальчиком читал Яхье Кемалю стихи о кошке.

Вспоминает Валя Нуреддин

- Яхья Кемаль был для нас, юношей, непререкаемым авторитетом, - говорил Валя Нуреддин. - «Яхья Кемаль сказал то-то и то-то... Яхья Кемаль говорит то-то и то-то». Маэстро сочувствовал национально-освободительному движению, которое началось в Анатолии. Но считал, что в стихах не место политической злобе дня. При всем уважении к нему Назым, обуреваемый в ту пору чувством оскорбленной национальной гордости, не мог с ним согласиться. Да и не таков был характер у Назыма - слово у него непременно влекло за собой дело. Когда Яхья Кемалъ был послом в Испании, я сотрудничал в газете «Акшам». По заданию газеты я долгое время провел в Париже. Здесь я получил письмо от Яхьи Кемаля - он приглашал к себе в Испанию. В Мадриде, в отеле, где я остановился, полиция произвела у меня обыск, конфисковала все бумаги - как же, я ведь учился когда-то в Москве! С трудом удалось Яхье Кемалю выручить мои рукописи... Он был чрезвычайно мнителен. Ему казалось, что на родине у него масса врагов и что стоит ему вернуться, как его сотрут в порошок. «Что будет, если я не вернусь?» - спрашивал он то и дело. Я пытался успокоить учителя. Послал в газету несколько статей о нем, его творчестве, о его работе в Испании. Маэстро счел меня чуть ли не героем...

Валя Нуреддин отошел к столу. Порылся в папках, достал фотографию Яхьи Кемаля. Подпись на обороте гласила: «Вале Нуреддину в знак восхищения его человечностью, благородством, просвещенностью и беспримерным вкусом. Яхья Кемаль».

Глядя на нас из-под толстых стекол, Валя Нуреддин строго продолжал:

- Маэстро зря приписал мне столько достоинств, я ими не обладаю... В 1950 году я попросил передать ему: пусть он не приходит на мои похороны, а я не приду на его. Я имел на это право, данное мне долголетней дружбой и нашими отношениями в Испании... Яхья Кемаль отказался подписать требование об освобождении Назыма, под которым поставили свои подписи многие журналисты, писатели, профессора, не знавшие Назыма лично. И не потому, что в отличие от них Яхья Кемаль не желал освобождения Назыма. Он поддался общей атмосфере позорных идейных преследований...

...Яхья Кемаль похоронен на европейском берегу Босфора в

Румели-Хисаре. Каменный столбик венчает надгробие из белоснежного мрамора. Тишина. Нечасто заглядывают сюда посетители. Ветер чуть колышет листву вечнозеленых лавров.

И идут по Босфору суда: рыбацкие шлюпы, огромные океанские лайнеры, танкеры.

Один из них, подходя к Стамбулу, здесь, в самом узком месте Босфора, дает протяжный гудок. На высоком серо-стальном борту ясно видно его имя: «Назым Хикмет».

Разум, бьющийся в груди

И как к смуглому
жаркому женскому телу,
в это утро своими руками
Мы прикоснулись
к Свободе.
НАЗЫМ ХИКМЕТ

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы работает за ткацким станком, рисует портреты арестантов, устраивает бунт на военном корабле и вместе с Эдуардом Багрицким выступает в Большом театре

В то утро он с трудом дождался, когда откроют двери камер. И бросился со всех ног в мастерскую, или, как он любил говорить, в «нашу мануфактуру».

Чтобы попасть туда, нужно было миновать шесть железных дверей. Ожидая, пока их отопрут, он едва не лопнул от нетерпения. Куда запропастился помощник старшего надзирателя? Как нарочно, когда он наконец-то нашел этот проклятый, этот чудесный узор, над которым бился вот уже несколько недель.

Нелегко перещеголять бурсских ткачей - давно гремит их слава по всей стране, но еще трудней, не изменив строгому вкусу, потрафить торговцам. Ведь им чем ярче, тем лучше: ослепить глаза - вот принцип торговли, чтоб ей было пусто! А настоящий рисунок редко бывает броским - надо в него всмотреться, освоиться с красотой. Зато когда она войдет в тебя - пропал!

Кажется, он нашел, наконец, такой - и броский и строгий одновременно. Да где же надзиратель в конце концов?

За дверью послышались шаги. Щелкнул замок, с отвратительным ржавым скрипом отодвинулась щеколда.

- Торопишься, патрон? Подмастерья небось еще кейфуют...

Чудной этот помощник старшего надзирателя! Рыжие волнистые волосы всегда блестят - смазаны бриллиантином. Глаза томные, мечтательные. Большой любитель птиц. К Рашидову кенару подсадил еще и самку. Теперь птицы вьют гнездо - как-никак весна.

Влюбился и помощник старшего надзирателя. В арестантку из женского корпуса. Пишет ей письма о феях, загадках бытия и прочих романтических штуках.

А она ему возьми и ответь: завшивела, мол, если любишь, пришли мыла да буханку хлеба, а то отощала. На воле, мол, сочтемся.

Парень от ярости чуть ума не решился. «Разве это женщина? Корова! Я ей о таинстве любви, а она мне о вшах да хлебе!..» Еле-еле с Рашидом его образумили. Вот они, наши романтики, - все

человеческое им кажется срамным. Если судить по стихам, сам Рашид два года назад мало чем отличался от этого парня... Надо будет рисунок, как только соткем, показать надзирателю - если ему понравится, значит и торговцам придется по вкусу.

Он вошел в мастерскую вместе с ткачами. Их было трое. Молодой сидел за участие в пьяной драке с убийством. Двое постарше - за сопротивление сборщикам налогов, которые пришли описывать имущество. Все ткачи из западной Анатолии, с Эгейского побережья.

Назым развернул скатанный в трубку лист с рисунком - чистые добросердечные краски, желтая, зеленая и розовая, складывались в простой на первый взгляд, а на самом деле сложный орнамент. Были в нем и стремительная плавность полета, и острота секирных топориков, и мягкие округлости женского тела, хотя состоял он из одних прямых линий.

Долго глядели мастера на рисунок. Жевали губами, словно пробовали на вкус. Старший сказал:

- Что же! Можно пустить на покрывала.

- Мало вы меня хвалите, братцы! Разве я не отличный художник?

- Отличный, отец, отличный.

- Я же и говорю, пустить на покрывала.

- Раз так, завари-ка всем чаю за мой счет. Можно и попировать в этом бренном мире...

Пока заваривался чай, Назым разглядывал рисунок через кулак и так его поворачивал и эдак.

Если пустить на покрывала да еще на станке с широкой чесалкой, можно сбыть по девять лир, не меньше. Только вот с нитками беда - снабжают по мизерной норме на станок и то, если он зарегистрирован в кооперативе, как-никак в мире идет война. Приходится прикупать на «черном рынке», благо начальство смотрит сквозь пальцы: надзиратели немало наживаются на их мануфактуре.

И все же эта тюрьма, пожалуй, лучшая из тех, что он знал. И в городе Хопа, и в анкарской военной тюрьме Сарыкышла, и в Стамбульском арестном доме, и в Чанкыры было хуже. Взять хотя бы этого помощника старшего надзирателя, любителя птиц. О начальнике и говорить не приходится - было время, и в футбол разрешал играть на тюремном дворе. А свидания? Целый день родственники проводили с арестантами во дворе, вместе обедали. Особенно странно было глядеть на начальника тюрьмы, когда он обходил камеры по праздникам. «И сподобил же меня аллах, - говорил он чуть не со слезами, - зарабатывать хлеб свой в тюрьме! Все люди сейчас с семьями да родными, а моя паства

здесь, среди сырых каменных стен!»

Режим, правда, не раз менялся - не все зависело от начальника. Международные дела и политика решали дело, и тем не менее в Бурсе было лучше, чем в любой другой из тюрем...

Ему не терпелось поглядеть на свой рисунок в материале. И когда, как пули, забегали челноки, зашумели чесалки, он сам встал за стан. Работать приходилось и руками и ногами - о механической тяге нечего было и мечтать. Средневековая мануфактура, да и только.

Сантиметр за сантиметром прорисовывался на основе его узор. Великолепная это штука - ткань. Каждая нить единична и жалка сама по себе, а сплетаясь, она уже вещь. Нет, не зря говорят - нить человеческой жизни. Кажется, Будда сравнил время с тканью - судьбы человеческие, как нити, сплетаясь, образуют ткань времени и эпохи со своим, только ей присущим узором. Прялки судьбы... Не мифические парки, а людские руки вращают их. Из века в век монотонно жужжат прялки труда. И пусть ткачи, склоненные над ними, не знают всего рисунка - они плетут ткань будущего.

Работа возвращала ему чувство свободы. Нить шла без обрыва. И под ритм стана сквозь гул прорывались отдельные строки.

Плохо думать в тюрьме о цветах и садах.
Хорошо - о морях и горах...
Хочешь знать мой совет:
Надо больше читать,
Хорошо за станком постоять...
Десять лет, двадцать лет...
... ... … пронесутся за часом час.
Лишь бы под левым соском у вас
не потускнел
алмаз.

Постоять за ткацким станком... Хорошо, конечно. А давать советы еще легче. Давно бы мы это сделали, еще в Чанкыры, а не выходило.

С ткацкой мануфактурой им действительно повезло. Сколько могли ему присылать сестра Самие да мама?! Стыдно было брать деньги. А ведь у него на воле была еще семья - Пирайе и ее сын Мемед. В эту зиму не смогли купить дров. Пирайе писала, что, если ребенок заболеет туберкулезом, не вылечить... Раз уж Пирайе могла написать ему такое в тюрьму, значит дела были

плохи. Здесь, в бурсской тюрьме, приходилось, бывало, собирать окурки в коридоре, чтоб набить трубку. По двое суток жил на одной пайке хлеба, но так скверно, как после этого письма, ему никогда не было. А кроме его семьи, была у него еще в Чанкыры и другая - «социальная семья», как говаривал когда-то профессор Ахмед Джевад. В Чанкыры не то что в Бурсе, - недолго и ноги протянуть. Там, в Чанкыры, сидел Кемаль Тахир, старый товарищ. В нем мог погибнуть большой писатель.

В самое время явился этот Эртугрул. Прежде он сидел в одной камере с Рашидом. На воле растратил несколько сот лир - не придумал ничего лучшего, чем взять из кассы казенные деньги, чтобы выручить товарища. И получил семь лет.

А тут его осенило! Видно, так уж устроен человек - чем трудней жить, тем он делается изворотливей. Пришел и говорит: «Скоро выходит один из ткачей. Что, если нам купить его станы? Как думаешь?»

Весь день Назым бродил по коридору. Курил, рассчитывал, прикидывал. На следующее утро пошел к начальнику, от него к старшему надзирателю. Уломал их.

Затем подал прошение в прокуратуру. Разрешили.

Дело стало за деньгами - друзья на воле выложили кто сколько мог, и здесь взяли в пай двоих. Вскоре три вычищенных, выдраенных стареньких стана стояли, замерев, как перезрелые невесты в ожидании женихов. Основание ткацкой артели под его председательством было большим днем.

Большой день был и сегодня: узор удался на славу.

Назым отошел от стана, тяжело дыша. Вот уже второй год весной и осенью давало себя знать сердце. Говорят, надо собрать волю и бросить курить. Но воля одно, табак - другое.

Отдышавшись, он пошел за перегородку. Здесь двое заключенных крахмалили и отбеливали ткани.

- Шевелись, ребята! Теперь заказы посыплются на нас, как осенью маслины с олив. Потрясем купцов...

Он был сегодня возбужден. Во все вмешивался, ходил из угла в угол и говорил, говорил... Видели бы его домашние: «Шумит, гремит, горит, горит!»

Артельщики тоже знали своего патрона. Если ему не сидится на месте - значит дела пошли.

Прозвище «патрон» привязалось к нему после первой получки. Когда кооператив перевел им деньги, Назым уселся за стол и, дымя трубкой, долго и сосредоточенно высчитывал паи. Сначала плату работникам. Потом два пая жене Пирайе и один - Кемалю Тахиру, потом по одному всем остальным, включая себя. Как председатель и самый крупный пайщик, он поставил условие

- выделять пай и Рашиду, хоть тот ни капиталом, ни работой не участвовал в артели. Но Рашид будет большим писателем, а талант требует субсидий.

Рассчитав все до куруша, он приступил к выдаче денег.

- Вот так и становятся капиталистами, - пошутил Эртугрул. - Лихим патроном заделался, устад.

- Да, пропали твои идеи, маэстро. Грош тебе теперь цена, - подхватил Рашид.

Назым только усмехался в усы.

- Что верно, то верно, теперь от меня добра не жди!.. Грош мне теперь цена...

Не сразу ткачи, работавшие прежде на других хозяев, раскусили нового патрона. А когда раскусили, встали за него горой. Он видел в них людей, равных себе. Вызывал через начальника врача, если нужно. Писал кассационные жалобы, письма домой. Знал по именам родителей, жен и детей.

Но их мануфактура была в тюрьме не единственной.

Хозяева других мастерских - их величали по-деревенски «ага» - забеспокоились: чего доброго, переманит к себе ткачей, возьмет в свои руки все дело. И сейчас его ткани берут охотней.

Хамди-ага - деревенский богатей из-под Бурсы - был «паханом» целого этажа. Сидел он за убийство, точней - за подстрекательство к убийству. Убийца-батрак был повешен, а Хамди-ага получил пятнадцать лет. На воле он вместе с компаньоном держал в своих руках всю торговлю в округе. Компаньон, по мнению Хамди, стал слишком много зарабатывать, а уступить свою долю не соглашался. Пришлось его отправить туда, откуда не возвращаются.

В камере Хамди-аги сидело тридцать человек. Бедняки спали на постелях тоньше сухой козьей лепешки. А у Хамди были пуховые подушки, гора матрацев, полотняные белоснежные простыни, пахнущие лавандой. Пока Хамди-ага не продрал глаз, все в камере говорили шепотом, ходили на цыпочках. У него под рукой было два телохранителя: молодой смазливый крестьянский парень Шевкет - ага использовал его вместо женщины - и матерый убийца Осман. Оба не расставались со знаменитыми бурсскими ножами и длинными пятнадцатисантиметровыми шилами, которыми колют быков. Умудрялись проносить оружие через все надзирательские «шмоны». Осман хвастался, что может одним ударом уложить любого джигита. Надо только незаметно подойти со спины и всадить шило чуть повыше левой ключицы - достанет до самого сердца.

В то утро, когда Назым, довольный своим узором, суетился в мастерской и, пыхтя трубкой, беседовал с мастерами, Хамдн-ага

проснулся рано. Шевкет тут же подбежал к нему с вычищенным чубуком. Прислужник, почтительно кланяясь, поднес чашечку горячего пенящегося кофе, сваренного на хозяйском примусе. Примус Хамди-аги шумел громче, чем у всех остальных. Это было тоже необходимым представительским атрибутом - чем громче шумел примус, тем выше была цена его хозяину. Летом примусы, жаровни, мангалы выставлялись в коридор или во двор. Зимой каждый грелся у своей жаровни прямо в камере - можно было задохнуться от вони.

Хамди-ага не зря держал охранников. Главным источником дохода служила ему не мануфактура, а торговля гашишем и кости - зар.

Прежде в каждом из четырех отделений была своя «большая шкура» - так называлось сложенное вдвое одеяло, на котором бросали кости, а в каждой камере - «шкура» поменьше. Хамди-ага всех разогнал и заставил играть только у себя. С выигрыша брал процент, как заправский содержатель игорного дома.

Немало арестантов обобрал и отправил в камеру голых Хамди-ага. Туда, где спали прямо на полу, покрываясь газетой. А этой весной, когда вздорожала на воле жизнь, - война хоть и шла за рубежом, но давала себя знать, - из камеры голых стали выносить трупы.

Нет, Хамди-ага обитателей камеры папаши Адама не боялся - голодный человек что баран. Он страшился конкурентов. Дело было прибыльное, и каждый хотел занять его место.

Усевшись на молитвенном коврике, Хамди-ага перебирал четки и думал. Зекерия-ходжа[12] подошел, сложив руки на животе. Верно, хотел развеять его мрачные думы. Как знать, что за сон привиделся сегодня аге! Зекерия-ходжа был служкой при мечети и сидел «по клевете». На тюремном жаргоне «клевета» означала воровство. Но у служки и «клевета» была особой: он заменял бесценные плитки средневековой керамики, которой были украшены стены мечети, подделками, а сине-зеленые частицы чуда - ведь секрет старых мастеров не раскрыт до сих пор - сбывал туристам. В тюрьме Зекерия стал чем-то вроде личного муллы Хамди-аги, подкрепляя каждую его пакость своей фетвой, в душеспасительных беседах с арестантами выведывал тайны и «худые слухи» доводил до Хамди-аги. Своему повелителю по толстому соннику он толковал сны безвозмездно, остальным - за мзду. Нет, не за деньги: божьим словом торговать - против аллаха грешить, а за пару сигарет, пайку хлеба, чашку кофе. Но в то утро Хамди-ага отмахнулся от него, как от пса: «Пшел!»

Пятясь и кланяясь, словно перед ним был падишах, Зекерия-ходжа забился в свой угол.

Хамди-ага думал. Когда все вышли на прогулку, он остался в камере. Остались и его телохранители - Шевкет и Осман. Замышлялось недоброе. Что именно - вскоре выяснилось.

В мануфактуру явился цыган Мустафа из камеры голых. Отозвал патрона и зашептал ему на ухо:

- Поберегись, отец. Хамди-ага велел мне пришить тебя. Все равно, мол, сидеть мне еще десять лет, а без денег и года не протянешь. Пришьешь патрона, получишь-де хороший куш. И наказание небольшое - он один из врагов правительства. Я было согласился, а потом плюнул... Петей-метей, что ли, я не видел?! Поганец меня за дешевку считает... Но у меня не такая совесть, чтоб поднять руку на отца Назыма!

Штаны у Мустафы были из рваного одеяла, на голое грязное тело напялен зипун. Босые ноги черны, словно корни старого дерева. Его трясло не то от страха, не то от холода. Друзья велели Назыму не выходить из камеры одному и советовали сидеть только спиной к стене. Но разве за ним уследишь? Начнет складывать стихи, обо всем забудет. Выходит в коридор, машет руками, натыкается на встречных-поперечных. Глаз с него не спускай.

Прошло несколько дней. Как-то перед обедом Назым услышал крик:

- Хамди-агу пришили!

Жандармы выстроились на стенах. Нацелили винтовки во двор.

- Всем стоять на местах! Шевельнетесь, стрелять буду! - кричал сержант.

Свистели надзиратели. Слышались вопли, крики раненых. Оказалось, что контрабандисты из Балыкесира, лазы с черноморского побережья и черкесы, всего семь человек, у которых Хамди-ага разорил «шкуры», сговорились убить его, чтобы снова организовать игру на себя.

Был день свиданий. Семь человек с ножами в карманах заняли позиции на внутреннем дворе - у лестницы и у входа в помещение для свиданий, ожидая, когда вызовут Хамди.

Хамди-агу вызвали. Он прошел мимо засады - никто не решился на него напасть. Когда он, возвращаясь обратно, постучал в дверь отделения, балыкесирец Хильми бросился на него с ножом. Хамди перехватил его руку. Но тут ему в спину одновременно вонзились шесть стальных лезвий. Падая, Хамди-ага успел пырнуть Хильми ножом. Оба растянулись в луже крови. Хамди был еще в сознании. Последним усилием дотянулся до отлетевшего ножа, еще два раза ударил Хильми и испустил дух.

Из-за решеток за побоищем следили восемьсот пар глаз.

Убийц заковали в кандалы, рассадили по камерам верхнего этажа.

Ожидая суда, балыкесирцы сидели перед решетками, грелись на солнышке и глядели вниз во двор. Там вдоль стены взад-вперед ходил Назым. Жестикулировал, бормотал, морщился, останавливался, снова пускался вдоль стены.

- Вот этого видишь? - спросил один из балыкесирцев. - Вот того, что мотается у стены? Говорят, его имя в истории записано, веру его так!..

- Конечно, записано. Детина с головой, ученый...

- Вот шайтан мне и шепчет на ухо: убей его. Если убивать, то таких. А мы убиваем, как дрова рубим, - лежи дубина, лежи еще одна. Ну и что? Расстелем «шкуру», проживем с год, а потом и нас пришьют. Вот если его уложить, во всех газетах про тебя напишут и слава твоя в историю войдет…

- Да что ты, браток, - это отец Назым! Разве на него подымется рука?

Когда прислужник из камеры голых, прибиравший верхний этаж, рассказал об этом разговоре Рашиду, тот не на шутку встревожился.

- Вот и я напугался, - подтвердил прислужник, - у болванов мозги набекрень. Кто их знает, что в голову им придет. Пусть отец Назым поостережется...

Врач уложил Назыма в лазарет: у него начался сильный сердечный приступ, на руках выступили пятна.

Выслушав Рашида, он усмехнулся;

- Ишь ты, решил меня убить, чтобы попасть в историю... Что ж, пусть попадает... Раз ничего другого, чтоб попасть в историю, ему не осталось...

...Он умер у него на руках, этот балыкесирец, мечтавший попасть в историю.

Пока Назым лежал в лазарете и писал портрет лазаретного повара Чорбаджи Мехмеда, балыкесирцы передрались между собой. И под вечер его доставили в лазарет со смертельной раной.

На воле стояла синяя весенняя ночь. Раненый очнулся.

- Воды... Дайте воды!..

Это был молодой парень по имени Авни. Назым подошел, осторожно приподнял его голову с рваной, ржавой лазаретной клеенки, поднес к губам кружку. Авни сделал глоток. Уперся взглядом в лицо Назыма.

- Это ты, отец?!

- Я, я.

- Я собирался убить тебя, отец. А выходит, мне суждено

последний глоток воды принять из твоих рук. Прости...

В деревне воду льют вслед уходящим на войну солдатам, чтоб легок был их путь и вернулись они домой. Подать воды умирающему - оказать ему последнюю милость.

- Прости, отец... Не поминай лихом...

За тюремными решетками в прозрачно-синем весеннем небе горели звезды. Такие яркие, такие крупные, что вот-вот войдут через окна к людям в дома... Горечь, такая горечь, словно яд разлился во рту!..

...Контрабандист Авни все же попал в историю. Не как убийца Назыма Хикмета. Как один из его героев.

Через двадцать лет Назым, изменив имена, расскажет о нем в романе. В своей московской квартире на Песчаной он будет читать роман друзьям, изредка поглядывая на них из-под очков в роговой оправе. И никто из слушателей не будет знать, что это последняя книга Назыма Хикмета...

Последняя книга... В тюрьме он был уверен, что его главная книга, над которой он работал с 1941 года, будет и последней. Так она была задумана, что должна кончиться лишь его собственной смертью.

Книга, которую никому еще не удалось написать. Она должна была вместить в себя тысячи героев и десятки стран - Турцию и Советский Союз, Китай и Англию, Индию и Латинскую Америку, Францию и США. Поэтическая история XX века - громада событий, времени, движений, народов.

Проза для такого замысла не подходила. Он хотел выразить единство и многообразие мира, величие человеческой судьбы и краткость человеческой жизни, вплетающейся, как нить, в ткань века.

Чтобы написать это в прозе, не хватило бы и десятка жизней. Бальзак, Золя, Толстой где-то подошли к пределу человеческих возможностей. Для его замысла годилась только поэзия с ее способностью в один образ вместить эпоху, в несколько строк - историю человека. Но то должна была быть иная поэзия. Сочетающая в себе точность науки и полную свободу ассоциаций.

Ему было всего тридцать восемь лет. Он мог успеть. Впереди еще двадцать три года заключения.

В тридцать восемь лет ему казалось, что он постиг в поэзии «тайну тайн»: овладел арузом, силлабикои, свободным стихом, был умудрен опытом Уитмена и Маяковского, Джелялэддина Руми и Бакы, Аполлинера и японских классиков. Пожалуй, он знал все, что можно знать в поэзии, умел все, что умели до него.

Ему было только тридцать восемь лет. Он должен был успеть.

Толстые стены отгораживали его от мира. Но никогда еще он не чувствовал себя таким свободным - от вкусов издателей и требований публики, каждодневной суеты, поэтических канонов и цензуры. Он мог писать, как хотел. И то, что хотел.

И он писал. На прогулке у тюремной стены, в тот миг, когда за ним наблюдали закованные в кандалы балыкесирцы. Он думал над своей «Человеческой панорамой - историей XX века», читая английские хроники Елизаветинской эпохи, драмы Шекспира и «Мертвые души» Гоголя. Эти писатели ближе других подошли к воплощению его замысла. Он работал ночи напролет в своей камере. Работал, шагая взад-вперед по коридору тюрьмы.

К 1942 году было написано около тридцати тысяч строк. А замысел все разрастался. Ему чудилось, будто он вступил в соревнование с временем, с самим собой, со своей смертью. Он должен был успеть.

Порой Назым пугался - казалось, эпопея не вмещается у него в голове. Начинались долгие недели обдумывания.

В такие дни он любил рисовать. Сажал перед собой кого-нибудь из арестантов, писал его портрет. Но и рисуя, трудился над своей «Панорамой»...

...После обеда он посадил на серую лазаретную табуретку крестьянина Ибрагима из-под Картала. Это был уже не первый сеанс.

Назым расставил треножник - одна нога хромая, подвязана веревкой. Вынул сумку с красками, разложил тюбики на одеяле. Тюбики были растрескавшиеся, мазались. Одеяло Назыма, его штаны, пальто были все в разноцветных пятнах.

Приготовления доставляли ему удовольствие. Он насвистывал сквозь зубы. Потирал руки, точно предвкушая пиршество. Затем принялся изучать лицо модели.

Ибрагиму было лет под пятьдесят. Желтые с искринкой узкие глаза, хищный нос, настороженная осанка, бычья, в морщинах шея делали его похожим на матерого волка. Говорил он мало, но если говорил - то словно припечатывал. Шутки его были злы, частенько задевали собеседника за живое.

Во время империалистической войны Ибрагим был солдатом, или, как говорят в народе, мемедом. Сражался с англичанами под Дарданеллами.

Назым прищурился. Отошел. Снова придвинулся к Ибрагиму, Прикрыл один глаз. Сделал шаг назад. Закрылся ладонью от света. Что-то поправил на портрете. Закурил трубку. Задумался.

Оставалось самое трудное - поймать, как он выражался, его

«психологический смысл», сделать этот смысл видимым глазу.

Как ни ясен казался Ибрагим из-под Картала, выразить эту ясность не удавалось. Нет на свете «простых» людей. Что бы там ни говорил Черчилль, пустивший это слово в оборот, каждый человек сложен, как мир.

Сегодня каким-то иным светом, тоскливым и одиноким, как единственный фонарь в ночи, светилось лицо Ибрагима. Не оттого ли, что он вспоминал о конце прошлой войны?..

- Видимо-невидимо набили тогда солдат в казармы Селимиё. Кого с фронта, кого на фронт - словом, пересылка, - говорил Ибрагим. - А кормить не кормят - писарские крысы разворовали хлеб... В Стамбуле и то голод. А в казарме еще и вши... Поверишь ли, стоит войти во двор, так и трещат под ногами... Озверели мемеды. Кругом смерть: на фронт пошлют - смерть, не пошлют - тоже смерть. По сотне трупов выносили из казармы... Словно бы мемеды не люди, а рыбы: помрут, новые разведутся... Одного и я убил. Вижу, сидит на ступенях, хлеб жует. Отщипывает и жует. А уж как я был голоден! «Давай, - говорю, - меняться - я тебе аршин от кушака отрежу, а ты мне ломоть хлеба». - «Не, - говорит, - давай весь кушак...» Ну, я обозлился, как стукну его ногой. Он упал - много ли надо, худой был, только что насквозь не просвечивал. Ударился головой о каменные ступени и - готов... Я хлеб взял, а он не дышит. Кровь течет по ступеням... Так-то, мастер, голод кого хочешь зверем сделает...

Назым, казалось, не слушал его. Колдовал над портретом, весь погруженный в работу, и вдруг положил кисть.

- Эгей! Схватили, браток, готово!

На возглас из кухни прибежал Чорбаджи Мехмед. Повар был большим приятелем Ибрагима из-под Картала. Тоже бывший солдат. И тоже позировал Назыму.

- Ясное дело, мастер поймал толк, - ухмыльнулся он. - А ну-ка, поглядим, Ибрагим, что за толк в твоих волчьих глазах!..

Арестанты столпились вокруг мольберта. Ибрагим встал, расправил плечи.

- Давай чайку, Чорбаджи! С шакала хоть шерстки клок, вот тебе и толк.

Назым все не мог оторваться от портрета. Шарил рукой по одеялу, ища отложенную трубку.

- А волк-то вышел у тебя печальный, мастер, - задумчиво проговорил Чорбаджи.

Повар в годы войны за независимость сражался под Коджаэли в повстанческих войсках. Слушая его рассказы, Назым написал несколько эпизодов «Человеческой панорамы». Экспресс Стамбул - Анкара везет ее героев мимо городов и деревень, мимо рек, гор

и полей Анатолии. Повар в вагоне-ресторане, степенностью речи, любознательностью и лицом похожий на Чорбаджи Мехмеда из бурсской тюрьмы, слушает в перерывах между работой «Дестан о войне за независимость», который написал в тюрьме заключенный Нуреддин Эшфак. Этот «Дестан» был написан Назымом в 1940 году в стамбульском арестном доме. А Нурсдднн Эшфак - один из двойников Назыма в романе.

Все дальше и дальше в глубь эпопеи увозит пассажиров поезд Стамбул - Анкара. Да полно, поезд ли это, в самом деле, везет пассажиров с их мечтами - такими разными, с их прошлым и будущим, их разговорами, болезнями, снами, надеждами и мыслями, с их храбростью и подлостью, самоотверженностью и трусостью, или, быть может, это само время объединило современников, как пассажиров одного поезда. Точно так же, как бурсская тюрьма, набитая, словно невольничий корабль, пронесла сквозь ночи и дни, сквозь годы и годы сотни арестантов, и среди них Чорбаджи Мехмеда, лазаретного повара, крестьянина Ибрагима из-под Картала и поэта Назыма Хикмета, которые сидят сейчас на серых тюремных табуретах и молча - каждый о своем - пьют чай...

И Эртугрул, первым предложивший организовать ткацкую артель, и капитан Ильяс, и мастеровые, и обитатели камеры голых - все они стали героями эпопеи Назыма Хикмета, от каждого он что-то вложил в свое творенье, как время от каждого из нас берет по крохотной черте, из всех формуя облик века.

На первом этаже в сырой и полутемной камере сидел старый эфенди, выходец из Болгарии. Он покинул родину после балканских войн, как многие тысячи мусульман, когда его родные места отошли от Османской империи. На старом рваном сюртуке носил он орден султана Решада, дарованный ему за мужество в войне против неверных. И питал лютую ненависть к болгарским и московским гяурам, которые, как он считал, лишили его родины.

Он был беден - иногда по целым неделям питался одной пайкой хлеба. Постель у него была в заплатах, но чистая. Никогда ни у кого не просил он помощи, никому не был в тягость. В тюрьму он попал оттого, что вступился за честь дочери.

Назым, человек иного поколения, иного образа мыслей, уважал старика - за гордость, за чувство собственного достоинства. Спускался к нему в камеру, с почтением - а этого старик жаждал больше всего - беседовал с ним, выслушивал его советы и воспоминания. И потихоньку брал на заметку.

У старика на воле была жена, такая же, как он сам, старая, сгорбленная. Раз в месяц она приходила к нему на свидание. Он встречал ее сурово, как полагается мусульманину. Шел за ней,

сложив руки за спиной, в тюремный двор, с непроницаемо строгим видом усаживался в тени под стеной.

Старушка разворачивала торбу, они трапезничали вместе и часами молча сидели друг против друга.

Как-то утром Назым узнал, что старик не проснулся. Когда он пришел в его камеру, тот лежал уже одетый, с орденом на красно-зеленой ленте. Такой же строгий, суровый, каким был при жизни. Среди неумолчного тюремного шума и гама его вынесли на коврике, погрузили в машину. Среди тех, кто нес старика, был и Назым Хикмет.

Часами простаивал он у запертых стальных дверей, ожидая, пока их откроет надзиратель, чтобы выяснить происхождение какого-нибудь старого выражения или уточнить факты у заключенных в разных камерах пожилых арестантов, посоветоваться с ними. Пассажиры тюремного корабля были первыми слушателями и первыми критиками эпопеи. По многу раз читал Назым одну и ту же сцену самым разным людям. И часто, бывало, выбрасывал непонятные им строки, переписывал заново.

Через два дня после того, как был закончен портрет Ибрагима, Назым позвал Рашида и Чорбаджи и прочел им только что законченный отрывок:

Один мемед то ли спит, то ли нет,
другой ковыряет конский навоз,
зерна собирает, идет к реке,
вымоет, высушит и тут же съест.
Поля и горы мемедом полны,
пересыльные солдатики, ох, голодны!
Смерть - это от бога, да был бы хлеб,
мемедчик, мемед,
мемедчик, мемед.
Селимийские казармы, чтоб им сгореть!
Набиты битком, на мемеде мемед.
Во дворе казармы вся земля во вшах,
когда ходишь, давишь; кровь на ногах.
Это черная кровь мемеда лежит.
Все его тело покрыли вши.
Во дворе читают списки - кого на фронт,
а мемед только чешется и молчит.
……
Одного мемеда и я убил.
В селимийских казармах случай был.
Сидит он на лестнице, держит хлеб.

Откуда, скажите, у мемеда хлеб?
Хлеб черный, крошки на рыжих усах.
Расстегнул я свой красный шелковый кушак,
четырехаршинный - полушерсть, полушелк.
- Я аршин отрежу, дай хлеба кусок!
- Нет, - говорит,
- Два аршина.
- Не...
Весь кушак потребовал мемед.
Усы его рыжие... Смотрю я на хлеб,
а в его глазах блеск моего кушака...
Ударил его в живот ногой.
Полетел он с лестницы вниз головой.
Как щепка из дерева, кости кусок
вылетел из черепа на песок.
Хлеб у меня в руке, на ступеньках - кровь течет,
живая, красная, как мой кушак.
Мемедчик, мемед,
мемедчик, мемед.
Если голод дорогу перейдет,
у мемеда к мемеду жалости нет...

Когда Назым кончил читать, все долго молчали. Рашид, пытаясь спрятать набежавшие слезы, закурил.

- Знаешь, уста, - проговорил Ибрагим, - то, что ты написал, больше моего рассказа на правду похоже!

- Эх, селимийские казармы, чтоб им сгореть! - вздохнул Чорбаджи...

Ибрагима из-под Картала и Чорбаджи Мехмеда уже нет на свете. Но они живут под другими именами в «Человеческой панораме» и переживут нас.

А казармы Селимие стоят, как стояли. Огромное квадратное здание на высоком холме в Ускюдаре, не здание - целый квартал. Желтые стены все в клетках окон. Говорят, их здесь ровно девятьсот девяносто девять; сколько мемедов перевидали они с тех пор! Гигантский страшный комбинат, десятилетиями высасывавший силы и кровь страны и расходовавший их, как заблагорассудится правителям...

Через десять лет Назым придет сюда, в эти казармы, по воинской повестке. Ему будет сорок восемь, из них семнадцать, проведенных по тюрьмам. Но эта служба в счет не пойдет. Не

зачтут и военно-морское училище на острове Хейбели.

Его призовут в армию. Рядовым. Медицинская комиссия не станет его осматривать. Только так поглядят и скажут: «Здоров». Тут же Назым получит назначение в Зара - крохотный город в центральной Анатолии. Оттуда, мол, перешлют дальше. Куда?

Замысел был ясен: если он вышел - меньше года назад - живым из тюрьмы, то из армии вряд ли выйдет.

С трудом удалось добиться недельной отсрочки. То была его последняя неделя на родной земле...

Успех нового узора для покрывал превзошел ожидания. Мастера на трех станах не справлялись с заказами. Все, что сдавалось, тут же находило покупателей. Если бы не ограничения с материалом, можно было бы посылать в тюрьму Чанкыры такой пай, что не только Кемалю Тахиру, а и другим товарищам хватило бы.

В конце марта, под вечер, у тюрьмы послышались крики. Что-то происходило у самых ворот. Через несколько минут полицейские доставили в тюремный лазарет мальчишку лет пятнадцати с разбитой головой. Он оказался зачинщиком драки.

Утром, улучив момент, парнишка - рана его оказалась неопасной - подошел к Назыму.

- У меня к тебе просьба, аби[13]. Меня зовут Мустафа.

- Отлично, Мустафа, в чем дело?

- Сделай для меня рисунок.

- Какой рисунок?

Мустафа работал подмастерьем у ткача. Успех тюремных покрывал всполошил весь ткацкий цех города. Давно такого не было в Бурсе. Секреты узоров здесь передавались по наследству от отца к сыну, от мастера к подмастерью. И вдруг откуда ни возьмись этот новый узор.

Цеховые старейшины, собравшись в кофейне, решили во что бы то ни стало овладеть секретом. Выведали имя мастера, узнали, что он лежит в лазарете. И решили устроить драку у самой тюрьмы между подмастерьями. Один из них должен быть ранен и попасть в тюремный лазарет. Под большим секретом поручили дело Мустафе. За это цех обязался кормить его, пока он будет сидеть в каталажке, а если получит от Назыма образцы - посвятить в мастера.

Назым сделал для Мустафы несколько новых рисунков. Но тут взбунтовались мастера тюремной мануфактуры: слыханное ли дело, так, за здорово живешь, передавать секреты конкурентам! Долго растолковывал им Назым, что тюрьма, построенная в голове, пострашней вот этой каменной, что конкуренция

разъединяет людей, а их артель должна объединять. К тому же запас нити у них на исходе. И куда бы он годился, как художник, если бы у него был один-единственный узор, а не еще сто штук вот тут, в голове. Мастера в конце концов смирились, но убедили их пожалуй, лишь два последних довода.

Мустафа, получив образцы, кинулся целовать руки Назыму. Тот погладил его по забинтованной голове.

- За тобой долг - будешь мастером, не таись от учеников!..

...В начале апреля, когда дни стали теплей, в Бурсу приехала Джелиле-ханым. Вся в черном, в очках, она внушала арестантам почтение - осанкой, вежливой речью. Она была и в эти годы красива.

Когда молодой невесткой Назыма-паши она приехала к тестю в Алеппо, челядь, представленная ей, долго не хотела верить, что эта сидящая в углу женщина - живая, слишком правильными были черты ее лица, слишком белой - кожа. Каждая из служанок находила предлог, чтобы дотронуться до нее пальцем.

Но то было почти сорок лет назад. В молодости, когда кожа свежа и упруга, красота еще ничего не значит. Лишь когда время, словно пальцы ваятеля, наложит на лицо неизгладимые следы, отпечатаются на нем злобность, мелочность, тупость или доброта, благородство, чистота побуждений. Не потому ли старики бывают или уродливы, или красивы, что с годами на лице, как на затвердевшей глине, запечатлевается внутренняя жизнь?..

Бурсскую тюрьму арестанты пограмотней сравнивали с самолетом в ангаре, крестьяне - с гяурским крестом. И правда, в плане она походила на крест или самолет, окруженный стенами.

Левое крыло - отделение подследственных, правое - второе отделение. Внизу помещались мастерские - столярная, зеркальная, слесарная, жестяная, чулочная, ткацкие. В хвосте самолета располагалось первое отделение, внизу камеры на пять человек, наверху одиночки. В носу самолета, на втором этаже, размещалась дирекция. Под дирекцией - парикмахерская и помещение для свиданий, над дирекцией - лазарет.

В центре креста-самолета был бетонный двор, или, по-тюремному, майдан. Здесь постоянно дежурили, надзиратель и майданщик из арестантов - старший прислужник и глашатай, выкликающий имена заключенных, вызываемых в суд, на свидание, к начальнику, в канцелярию. Сюда, на майдан, выходили стальные решетки, перегораживавшие коридоры на трех этажах всех отделений. И постоянно запертые двери.

Помещение для свиданий - тот же коридор, но разделенный вдоль двумя стальными сетками. С одной стороны - арестанты, с

другой - родственники. Между сетками прогуливается надзиратель. Запускали на свидание человек по десять-пятнадцать. Шум стоял, как в бане, - каждый старался перекричать другого, каждый говорил о своем. Свидание длилось десять минут.

Разгонять арестантов бывает трудно. После свидания они становятся сами не свои. Поэтому между двумя сетками на блоках и кольцах был подвешен черный занавес.

Истекало десять минут, и надзиратель задергивал его в самый неожиданный для арестантов момент. Спокойно и невозмутимо, словно опускал занавес в театре.

Лишить человека свободы... Пожалуй, нет наказанья страшнее, разве что смерть. Если смерть лишает человека жизни, то тюрьма - какой-то ее части, иногда самой лучшей. Так по крайней мере считал начальник бурсской тюрьмы Тахсин-бей. Зачем же еще мучить тех, кто и без того достаточно наказан -- тюрьма калечит и душу и тело. И если арестанту суждено выйти из нее, пусть выйдет человеком.

Если Тахсин-бей был уверен, что арестанту не передадут ножа или гашиша, он охотно разрешал свидания на майдане, а летом - во внешнем дворе, окруженном толстыми каменными стенами.

Он уважал образованных людей, уважал мастеров. И если у Назыма Хикмета были в тюрьме пишущая машинка, книги, а иногда и газеты, если здесь, в бурсской тюрьме, он смог написать две пьесы, шестьдесят тысяч строк «Человеческой панорамы» и сотни стихотворений, а Рашид Огютчу стать романистом Орханом Кемалем, то этим и многим другим, о чем речь еще впереди, мы обязаны начальнику Тахоину-бею. И потому в век душегубок, в век Бабьего Яра и Освенцима имя начальника турецкой тюрьмы в городе Бурсе заслуживает упоминания в этой книге.

Назыму Хикмету Тахсин-бей разрешал свидания с матерью во дворе. И не ограничивал его во времени.

Утром первого дня мать и сын в дальнем углу майдана говорили о семейных делах. Потом Назым читал ей стихи - длинный кусок из «Человеческой панорамы», который написал за те месяцы, что они не видались. Прочел и эпизод в казармах Селимие.

Молча слушала его мать. Время от времени глаза ее увлажнялись слезами. А Назым все читал.

На второй день наступила очередь рисунков. Назым принес портреты заключенных. Ставил их на мольберт перед матерью один за другим. Джелиле-ханым, молча слушавшая стихи Назыма, в его картинах находила немало недостатков. То

цветовая гамма оказывалась несовершенной, то рисунок - Назым сначала выполнял портрет в карандаше, - «сушил», по ее мнению, портрет. Сын покорно выслушивал советы. Джелиле-ханым брала палитру и показывала все, о чем говорила. Сын повторял за ней урок, благодарил.

Затем мать поставила мольберт, посадила сына перед собой и принялась за его портрет. В отличие от Назыма она сразу писала маслом.

Назым не мог долго усидеть на месте как изваяние. Начинал что-то рассказывать. Вмешивался в работу матери.

- Ах, Назымушка, надоел, мешаешь...

- Прости, мамочка, я только хотел сказать...

- То, что ты хотел мне сказать, прибереги для своих картин.

Получив нагоняй, Назым какое-то время сидел тихо. Джелиле-ханым работала сосредоточенно, строго. На миг ему почудился в ее лице гнев. Он и сам иногда так работал - с яростью. Гневное выражение лица Джелиле-ханым вдруг перенесло его на много лет назад...

Апрель двадцатого года. По улицам Стамбула маршируют английские, французские, итальянские войска. То и дело издаются распоряжения - конфискованы такие-то здания, такой-то район объявлен запретной зоной. Ходят страшные слухи о пытках в подвалах отеля «Арапьянхан», превращенного в тюрьму британской контрразведки. Публикуются списки высланных за связь с повстанцами Анатолии - на океанские острова, в африканские пустыни.

Напротив материнского дома, в Ускюдаре, одна из комендатур оккупантов. Теплый апрельский вечер. Сенегалец в форме французского сержанта прямо перед комендатурой хлещет по щекам турецкого парня - покосился, мол, на его даму. А дама - с первого взгляда видно - проститутка с Галаты.

Джелиле-ханым вне себя от ярости выскакивает на балкон. В одной руке у нее медный пестик, в другой - кастрюля. Что есть силы барабанит пестиком по кастрюле.

Офицеры из комендатуры тоже высыпали на балкон - что за набат, уж не взбунтовались ли турки?

И тогда Джелиле-ханым обращается к ним с речью. На чистейшем французском языке. Достается всем: и державам Антанты, и французским офицерам, и даже Пьеру Лота. Его колониальные романы, в которых он восхищался турецкой стариной, экзотикой Стамбула, Джелиле-ханым любила когда-то читать. Но в годы войны Пьер Лоти подплыл к Стамбулу на тех самых бронированных кораблях, которые обстреливали

Дарданеллы, а теперь стояли на якоре в Босфоре, наведя орудия на город...

И как это ему раньше не пришло в голову: определенно митинг, устроенный матерью, через несколько лет навел его на эти строки:

Вы, Пьер Лоти!
Эта вошь, по клеенчато-желтой коже
переносящая тиф
от брата к брату, -
даже эта вошь
нам родней и дороже,
чем ваша выправка французского солдата...

Кажется, то были его первые стихи, напечатанные в русском литературном журнале. Как он назывался? «Красная новь» или что-то в этом роде? Он привез его с собой в Баку. А там пришлось оставить вместе со многими другими бумагами - снова возвращался на родину нелегально.

Книжку журнала было жаль, хоть он никогда не жалел о том, что терял. Быть может, потому, что она была памятью о друге, переведшем эти стихи. Замечательный был поэт и человек Эдуард Багрицкий, настоящий, не разбавленный, как не разбавленное водой вино. Больше всего восхищало Назыма в нем то, что он был настоящим мужчиной. Настолько мужчиной, что весну, паровоз, дерево мог ласкать, превратив в стихах в женщину. Женственное начало было разлито для него во всей природе, как эликсир жизни. А Назым тогда был уверен, что поэтом может быть только мужчина. Или женщина. Бесполой поэзии, бесполого искусства не бывает. Впрочем, и сейчас, в тюрьме, он думал так же.

Он не раз бывал у Багрицкого в подмосковном городке Кунцево, в старинном доме, сложенном из желтых бревен, под зеленой крашеной крышей с флюгером. За самоваром, в заваленной книгами, заставленной аквариумами и клетками комнате Назыму было удивительно просто, как в Стамбуле, как дома. Казалось, и рыбы и птицы чувствуют себя, как на воле, в доме этого круглолицего крепкого человека: шевеля плавниками, трепеща крыльями, подплывают и подлетают на глухой, задыхающийся голос поэта и разлетаются в полумрак углов, напуганные взмахом его руки.

Жена Багрицкого, разливая чай, удивилась, что самовар по-турецки зовется почти как по-русски - самовером.

Кажется, в последний раз он был у Багрицких вместе с Лелей.

Наверное, потому что она и познакомила их.

Леля с Багрицким были земляками - одесситами. Оба прошли фронты гражданской войны, а Багрицкий успел побывать еще и на персидском фронте. В Казвине. Оба ходили в кожаных куртках.

Как он любил их обоих! Леля была очень красива - волосы цвета соломы, голубые глаза, синевой отражавшиеся на ресницах.

И Елены Юрченко и Эдуарда Багрицкого уже нет в живых...

...В последней книге шестидесятилетний Назым Хикмет расскажет о своей любви к Елене Юрченко, фронтовому врачу и художнице. Но эта последняя книга будет не мемуарами, а романом - и Леля в ней получит другое имя - Аннушка, а вместе с именем и многие черты другой девушки, в которую Назым был влюблен вместе с китайским поэтом Эми Сяо, своим товарищем по университету. Аннушка в романе - это уже не Леля, конечно. Но чувства, испытанные Назымом, те же, что испытывает к Аннушке герой романа Ахмед...

«...Аннушка прислонилась головой к стеклу. Возвращаемся в Москву. Ее рука в моей. Мимо мелькают леса. Мы молчим. Она держит мою руку так крепко, будто боится, что я брошу ее в этом вагоне и сбегу. Я бормочу: «Внемли, это нея тоскующий глас, о скорби разлуки ведет он рассказ...» (Это строка из Месневи - великого произведения поэта Джелялэддина Руми. Ней - тростниковая дудка. И строка имеет второй, мистический смысл. Вырезанная из зарослей тростинка - это человек, отделенный от природы, от бога. Он тоскует в разлуке с природой, жаждет слиться с ней.)

- Опять ты читаешь стихи вашего поэта-мистика?

- Как ты поняла?

- По мелодии. Прочти еще раз. Сначала по-турецки, потом по-русски. Только на ухо.

Я читаю.

- Очень печальные стихи. Этот инструмент, который называют неем, нельзя найти на Кавказе или в Средней Азии?

- Наверное, можно... А зачем тебе?

- Постараюсь отыскать. Сыграть не сумею. Повешу на стене в моей комнате...

- Аннушка, Аннушка... Никакую женщину я никогда не любил так, как тебя. И не буду любить...»

Он полюбит других женщин. Но он не солгал тогда, в двадцать шесть лет, - разве можно любить так же еще одну женщину, как любил другую?..

«- Через год-два ты вернешься к себе на родину. Какое-то время будешь помнить обо мне, а потом... Но дело не в этом. У

нас есть еще год-два. Давай подумаем о них...»

Если бы она знала, что не год, не два, а шесть дней было в их распоряжении. Он-то знал, а сказать не мог - конспирация. Да если б и мог, разве повернется язык?..

То был его последний визит к Багрицкому. Он почему-то называл Назыма Осман-паша. Очевидно, в честь знаменитого Османа-паши, командовавшего обороной Плевны от русских войск. Может, оттого, что Багрицкий побывал на Востоке, а скорее, потому, что знал поэзию Востока, он верней других сумел оценить труд Назыма по созданию нового стиха. Впрочем, у этого человека был нюх на любую поэзию, лишь бы она была истинной. Около него всегда толклись какие-то юноши, сочинявшие стихи, кому-то он помогал, с кем-то спорил. Нюх на поэзию и доброта...

Один-единственный раз он видел Багрицкого в ярости...

...В декабре двадцать шестого года в Москве закончился пленум Исполкома Коминтерна. Было решено, что поэты-революционеры всех стран выступят на торжественном вечере в честь участников пленума в Большом театре.

Турцию должен был представлять Назым.

Выйдя на гигантскую сцену, - императорские балетмейстеры выводили на нее чуть не кавалерийский эскадрон, - Назым оробел, хоть был и не робкого десятка. Выступления шли по странам в порядке алфавита. И когда очередь дошла до Турции, больше половины зала опустело. Чтение стихов на разных языках - а перевод при посредстве третьего языка, да еще на ходу, мог убить самую гениальную поэзию - порядком утомило слушателей. В ожидании концерта они вышли в фойе...

Многоярусный, полупустой зал, черная пропасть оркестра заставили Назыма позабыть об уговоре с Багрицким. Он собирался читать «Пьера Лоти», а Багрицкий - свой перевод. Но что толку читать, если никто не слушает?..

Назым должен был заставить слушать Турцию. И он прочел стихотворение «Новое искусство». В этом стихотворении он противопоставлял трехструнному сазу традиционной поэзии симфонический оркестр искусства революционного. И чтобы показать возможности свободного стиха, который он выработал за эти годы в Москве, Назым оркестровал его по всем правилам полифонии: длинные переливающиеся мелодии, хлесткие как звон тарелок, рифмы.

Глыбы из стали
Крикнули хором,
загрохотали...
Слышен в звуках оркестра грохот волн,

грохот волн, что встают выше гор!

Голос у него был тогда еще могучий, не надтреснутый и прокуренный, как сейчас. И по-турецки стихи звучали так, что передать их звучность и содержание одновременно, пожалуй, не под силу было даже Багрицкому. Не всякие стихи вообще поддаются переводу. Построенные на образном развитии мысли - да, а вот на лексических, музыкальных ходах - вряд ли. Но в тот момент Назым меньше всего думал о переводе.

Сапанлар гюрешийбр тарлаларла
тарлаларла!
Эсийор оркестрам далгаларла
дагларла далгалара даг гиби далгаларла далга гиби
даг-лар-ла!

Голос его гремел, хоть не было б те времена микрофонов, и в фойе и в кулуарах. К середине стихотворения зал стал заполняться. Назыма не понимал почти никто, но музыка стиха действовала.

Когда под грохот аплодисментов он вышел за кулису, Багрицкий, вне себя от бешенства, схватил его за грудки.

- Что ты натворил! Как я буду читать!.. Я не перевел этого!

- Прочтешь, что условились!

- Каждому дураку понятно - это другие стихи!..

Он не договорил. Пора было выходить на сцену.

Остановка близка. Нам путь готов.
Пожаром дымись, отчизна!
Наша конница грянет шипами подков
В брюхо империализма!

Когда отзвучали последние строки стихотворения «Пьер Лота», снова раздались шумные аплодисменты. Багрицкий читал иначе, чем Назым, но отнюдь не хуже.

Пришлось давать объяснения только своим товарищам-туркам. Оценив намерения, они простили ему эту выходку...

В тот день, когда Джелиле-ханым в ярости била пестиком по кастрюле и честила оккупантов, мог ли. он думать, что их общий гнев заведет его так далеко и, вылившись в стихи, прозвучит в Москве перед революционерами всего мира?!.

В семнадцать лет этот гнев выливался в другие формы. Вместе с такими же, как он, мальчишками Назым в европейской части Стамбула, на Бейоглу срывал флаги оккупационных держав, которые вывесили владельцы иностранных лавок. И чуть было не попался - хорошо, ноги были быстрые, а то неизвестно, чем бы все это кончилось. За внуком Назыма-паши уже числилось дело посерьезней...

По окончании училища его определили в высшую школу морских офицеров, помещавшуюся на военном судне «Хамидие». Это была старая-престарая посудина. Согласно условиям перемирия, подписанного султанским правительством, «Хамидие», как и все другие корабли турецкого флота, был разоружен. Не было оружия ни у матросов, ни у офицеров. Но служба шла.

Курица вместе с другими немецкими инструкторами отправился в свою Германию - «нах фатерланд». А из Германии вернулись служившие там турецкие матросы и унтер-офицеры. Мичман Джевад, например, даже участвовал в восстании нильских моряков. От него на «Хамидие» впервые услышали о германской революции. Многого мичман и сам не понимал, не ясно было одно: немецкие матросы не желали терпеть муштру и восстали против офицеров и кайзера Вильгельма, того самого усатого императора, который перед войной навестил падишаха и в знак своей любви к мусульманам велел построить рядом со Святой Софией чешме - источник, в течение трех дней бивший не водой, а вином. От мичмана Джевада Назым впервые услышал о «Спартаке». Но представлял себе эту организацию чем-то вроде заговорщицкого военного комитета «младотурок».

Однако мысль о возможности силой навязать свою волю офицерам и командованию флотом запала им в голову. Оставалось определить, какова была их воля?..

Султан, перед которым они испытывали священный трепет и который олицетворял собой единство страны и народа, оказался пленником оккупантов и покорно выполнял их волю. Но если султан стал пленником, то что оставалось им? Турки отныне будут рабами. Армия разбита, страна оккупирована.

Национальное унижение требовало выхода. Очевидно, где-то в Анатолии должен был появиться другой султан, который объединил бы страну для борьбы с поработителями-иностранцами.

Вот уже два года Стамбул наводнялся эмигрантами. Через этот вечный город пролегал путь исхода старой России. Не только в Германии, бывшей союзнице, но и в стране, враждебной Турции, свершилась революция. Что за люди были эти русские,

вышвырнутые ею с родины?

Назым внимательно к ним присматривался. Мужчины казались ему по меньшей мере пашами или графами, а женщины - принцессами, такие они были холеные, сытые, самоуверенные. Но уверенность быстро с них слетела. Те, что побогаче, уезжали в Париж, в Европу. Остальные проедали последнее в Стамбуле, опускались, играли в карты, проигрывая мундиры, ордена и даже своих жен. Как в кинематографе, немая, с преувеличенной жестикуляцией, развертывалась перед глазами стамбульцев чужая трагедия. «Эти люди, - говорил себе Назым, - такие же помещики, сановники, спекулянты, как наши. Их вышвырнули вон вместе с царем. Наверное, и мы можем обойтись без султана?..»

А служба на «Хамидие» шла своим чередом, как будто ничего в мире не случилось. Сменялись вахты. Матросы драили палубы. Взамен итальянских карабинов «мартини» раздали учебные винтовки с просверленной казенной частью. Продолжались занятия по тактике, навигации, истории военно-морского флота Османской империи, которой уже не существовало.

В тот день вахтенным был Джевад. Офицер, успевший невзлюбить мичмана за его независимый вид, придрался - плохо, мол, выдраен планшир - и отправил было его под арест. Назым не вытерпел:

- Офицер, сдавший оружие врагу, не имеет права сажать других под арест!

Даже мичман Джевад опешил от неожиданности. Открытое неповиновение офицеру грозило трибуналом - законы военного времени продолжали действовать. Отступать, однако, было поздно.

- Под арест пойдете вы, а не мичман! - продолжал Назым.

Офицер был связан, отправлен в кают-компанию. Выбрали комитет. Но он не успел собраться, как на палубе появился начальник училища.

Это был опытный боевой офицер. Быть может, благодаря его опытности мальчишеский бунт на корабле кончился для них сравнительно благополучно.

- В чем дело, господа?

В голосе его были дружелюбие и симпатия. Он и в самом деле любил флотскую молодежь: все вокруг шло прахом, только на них, на этих ребят, верящих в справедливость и честь, была надежда.

В ответ раздалось несколько голосов одновременно.

- Я ничего не слышу, господа. И потом толпа отнюдь не лучший вид флотского строя. Прошу построиться и высказать все,

что вы желаете, по порядку!

Ничего другого не оставалось, как встать в строй. Когда порядок был восстановлен, начальник сказал:

- Я слушаю вас!

Команда растерялась. Кое-кто решил пойти на попятный.

- Ложек, вилок не хватает на камбузе!

- Люльки обрываются! Интенданты разворовали концы!

Дело принимало комический оборот. Бунт из-за ложек!

Назым сделал шаг вперед. Приложил руку к бескозырке.

- Мой миралай! В Стамбуле бесчинствуют иностранные солдаты, в Анатолии идут бои, а вы выдаете нам учебные винтовки...

Его поддержал мичман Джевад:

- Мы требуем, чтоб нам дали возможность сражаться!

- Я доложу о ваших требованиях везирю! - пообещал миралай. - А сейчас прошу вахтенных занять места и разойтись...

На следующий день на столах было разложено по две ложки и по две вилки на каждого. Люльки подвязаны новыми концами. А через неделю перед обедом сыграли сбор.

Ярко светило солнце, пробивая лучами сине-зеленую, как Изразцы бурсских мечетей, воду Мраморного моря, сверкало на меди горнистов, на желтых надраенных пуговицах мундиров.

Начальник прочитал приказ. Под звуки горна и барабана Назыму, Джеваду и еще троим вручили свидетельства об увольнении с действительной службы. Так закончилась его военная карьера...

Во времена султана за выступление в защиту независимости и бунт на военном корабле он был отчислен из флота, а в годы независимой республики его осудили на двадцать восемь лет тюрьмы по лживому обвинению в подстрекательстве военных к мятежу. То была расправа, а не суд. Но почему именно такой предлог был выдуман для расправы? Здесь была какая-то чудовищная издевательская ирония...

Назым вскочил с табуретки. Джелиле-ханым с кистью в руке поглядела на него поверх очков. На расстоянии она видела еще хорошо.

- Ну, что ты за непоседа, Назымушка! Десяти минут не можешь на месте высидеть!

Путаясь в полах длинной, как халат, шинели - на ветру было все-таки еще свежо, - он встал у нее за спиной. Бросил взгляд на портрет.

- Ну что? Опять не по-твоему? Не нравится? - грустно спросила Джелиле-ханым.

- Не в том дело, мамочка, нравится или не нравится. Не могу никак объяснить - тебя привлекает красота и ты ее копируешь, а живопись не копия действительности...

- Что поделать, Назымушка, если я люблю красоту? Разве это так скверно?

- Ну как мне лучше это сказать?.. Я думаю, что портрет прекрасной женщины, конечно, прекрасен. Но так же прекрасен может быть и портрет крестьянки Айше, желтой от малярии и худой от голода, как скелет. Вот погляди на Махмуда из камеры голых... Минуточку!..

Он сорвался с места и побежал к себе в камеру. Джелиле-ханым осталась одна перед портретом на мольберте.

На майдан погреться на солнышке выползли два арестанта из той самой камеры голых № 72, о которой говорил Назым. Один - громадный, как скала, - его так и звали Скала, другой - остроносый, с бегающими глазками, по тюремному прозвищу Скверный. Оба грязные, в лохмотьях, заросшие.

Скверный не отрывал глаз от бетонных плит - найди он окурок, можно поставить его на кон. Авось за окурок выиграет пять, за пять окурков - сигарету, а там, глядишь, целую пачку. Пачка - уже капитал.

Скала первым заметил старую женщину в черном. И застыл от изумления. «Прости меня, аллах, - пронеслось у него в голове. - Старуха, а пишет образа, грех-то какой». Он и не заметил, что проговорил эти слова вслух.

Как большинство крестьян, он с детства помнил наставления муллы: изображать животных, а тем паче людей - дело неверных. Гяуры поклоняются этим картинкам. Не знают, грешники, что поклоняться можно только аллаху.

Скверный, услышав его слова, очнулся. Оба подошли по-бчиже.

- Смотри, точь-в-точь Назым-баба[14]!

- И волосы. Ну словно вылитый!

- Глаза голубые!

- Старуха на мусульманку похожа, а гяурским делом занялась!

- Вот, Скала, язви твою веру, - вдруг взъелся Скверный, - голова у тебя и впрямь камнями набита! Да это же мать Назыма-баба, невежа ты этакий!

На майдане показался Назым с картиной под мышкой. За ним надзиратель Талиб. Обитатели камеры голых растаяли бесшумно, как тени.

Назым, показывая матери портрет, продолжил дискуссию. Помогал себе жестами - рукава летали по воздуху.

Надзиратель, заинтересованный, о чем спор, встал за спиной Джелиле-ханым.

- То есть я хочу сказать, - говорил Назым, - что мало копировать природу. Надо вкладывать в картину что-то от нас самих, от нашей жизни...

Спор этот у них был давний. Не отражать мир, а, изображая, способствовать его изменению - вот чего добивался Назым от искусства. Рисовать закаты на Босфоре, где солнце окунается в розовое повидло, - все равно, что писать о соловьях и розах, когда в Анатолии люди живут, как вот эти двое из камеры голых.

Когда речь шла о поэзии, Джелиле-ханым безропотно соглашалась с сыном - он подкреплял свои мысли практикой. Но в живописи, как мастер, она была сильней Назыма. Он знал, чего хочет, но осуществить свои желания в линиях и красках не мог с достаточной убедительностью. А не будучи убежденной, Джелиле-ханым не могла с ним согласиться - не таков характер.

Назым был весь в нее. Коса нашла на камень.

Чувствуя, что его картины не убеждают мать, Назым приводил в пример Сезанна, Пикассо. Но Джелиле-ханым считала, что они, пытаясь вложить свои мысли о мире в картину, искажают мир, разрывают его на части и грешат против правды. Но что такое правда в живописи?..

Эх, будь здесь Абидин, он, может быть, сумел бы показать, в чем дело. Абидин, Абидин, как мало они виделись, а ведь в искусстве они как молочные братья...

Абидина он помнил молодым, нескладным, длинным. Руки как ветки. Умные, зрячие, они, казалось, жили своей, отдельной жизнью.

Назым и Абидин сразу поняли друг друга и оценили.

Абидин учился в Ленинграде. Работал художником на киностудии. Вернувшись в Стамбул зрелым мастером, гордился тем, что был художником-гримером Щукина в фильме «Ленин в Октябре». Уже тогда он пробовал самое трудное в живописи - изобразить время. Время, которое неотделимо от пространства.

Они встретятся с Абидином через девятнадцать лет. В Париже. Гитлеровцы, которые в тот день, когда Назым спорил с матерью, еще стояли недалеко от Москвы, будут давно разбиты, а Джелиле-ханым уже не будет в живых.

Скверный, Скала и десятки других заключенных из камеры голых умрут от голода, станут горстью костей. Но крестьянский сын Юрий Гагарин станет первым посланцем человечества в космосе. Назым приедет в Париж с Кубы.

Они сядут с Абидином у окна мансарды. Два пожилых

человека, два молодых, как только что зажженный огонь, мастера. И будут, глядя на Сену, блестящую, как долька луны, говорить о своем ремесле. И тогда Назым напишет:

«Абидин умеет окрасить полотно
в цвета космических скоростей.
А я те цвета, как фрукты, ем.
И Матисс - космический фруктовщик,
и наш Абидин, и Авни, и Левни.
Какие краски мы видим в микроскоп!
Какие цвета в иллюминаторы ракет...

На холсте Абидина я вижу, как бежит и петляет время, и могу поймать время, как могу увидеть и поймать рыбу в воде.

Вот груша, вот космос, вот лицо человека. Вот груша, вот космос и лицо человека, которые были до меня. Вот те, что будут после меня.

Нынче утром я вернулся с Кубы.
Там на площади шесть миллионов - черный, белый, мулат -
с песней, с пляской сажают светлые зерна, зерна зерен.
Абидин, ты сумеешь написать это счастье?
Но без легких решений!
Не ангелоликую мать, кормящую розовощекого сына,
и не яблоко на скатерти белой,
и не красную рыбку, аквариум, пузыри водяные!
Абидин. ты сумеешь написать настоящее счастье,
то есть Кубу 1961 года?
Ты сумеешь, маэстро, нарисовать,
чтобы всем было ясно:
слава богу, я дожил, теперь умирать не обидно...»

Но до этого еще действительно нужно было дожить. Все, что написано в тюрьме, лежало в тайниках. «Человеческая панорама» еще не была завершена даже в его собственной голове. Не легли на бумагу сотни строк «Писем из тюрьмы», не существовало трагедий «Об Иосифе, продавшем своих братьев», «О Ширин, Ферхаде и Железной Горе»...

Нет, не просто дожить - пробиться сквозь стены словом, подобно тому, как Ферхад киркой пробивался к воде сквозь Железную Гору, - вот что еще предстояло, прежде чем они встретятся с Абидином в Париже...

Во двор вошла группа арестантов, которые работали в городе. Среди них Рашид. Он отбыл две трети срока. После этого заключенным разрешалось работать вне тюрьмы, и остаток срока сокращался наполовину. Рашид, конечно, хотел выйти скорей из тюрьмы, хотя именно здесь, в тюрьме, он нашел то, чего ему не хватало на воле, - учителя, мастера, друга, познакомился с политэкономией и французским, мировой поэзией и научным социализмом. Нашел самого себя.

За год до выхода на волю он начал писать рассказы. Как-то показал свои пробы пера учителю. Назым пришел в волнение. «В тебе закваска настоящего прозаика... Никогда не думал о том, как пишутся рассказы? Тем лучше. Не будешь повторять других...»

Рашид подошел к Джелиле-ханым, поцеловал ей руку и приложил ко лбу. Так по народному обычаю выражают почтение к старшим.

Назым тут же вовлек его в спор.

- Погоди, я принесу сейчас портрет Ибрагима из-под Картала. Ты знаешь его историю и поймешь, что я имел в виду...

Он снова умчался в камеру. А Джелиле-ханым беспомощно поглядела на Рашида.

- Парень безумен, ей-богу!.. Поглядите, отличный портрет. Ну что ему не нравится?..

...Глядя сейчас на портрет Назыма, написанный Джелиле-ханым в тюрьме города Бурсы весной 1942 года, я думаю, что, пытаясь доказать свою мысль, сын был несправедлив к матери.

Тюрьмы на портрете, ее стен не видно. Но есть ее запах, стойкий, кислый, казенный: он в мятой серой рубахе, трагических морщинах у рта, в поднятом круглом воротнике халата-шинели. Этот круглый воротник за спиной не венец мученика, а глухота непонимания, глухота заключения. В чуть наклоненной голове, в мощной шее - печаль и упорство. Как у вола в ярме. В глазах - тоска и одна неотступная мысль...

Вечером после второго удара гонга, когда с обычным скрипом задвинулись засовы камеры и стал стихать бесконечный гул тюрьмы, прорезываемый свистками надзирателей, Назым и его напарник по камере уселись на койках и долго смотрели друг на друга, не произнося ни слова.

Самое трудное время года в тюрьме - весна. Особенно когда задует лодос.

Он поднялся под вечер. Тяжелый, влажный, нагруженный запахами морской соли, просыпающейся земли. Ударяясь о

запертые двери, бился между тюремных стен. Где-то зазвенело разбитое стекло. Скрипели деревья. Весна!

Не только птицами - людьми тоже овладевает желание сменить если не жизнь, то место. Куда-то уехать, кого-то обнять. Брести по полям, покуда держат ноги, сидеть у костра, под небом.

А здесь, в этом городе без улиц, вместо неба потолок, изученный до последнего пятнышка. Стены - справа, стены - слева. Холодные, толстые, глухие. На единственном окне - решетка. А за ней тьма как пропасть.

И в каждой камере сомкнутые или открытые, полные тоски глаза людей, пытающихся уйти хотя бы во сне. И ветер, тяжелый, влажный ветер, наваливающийся на стены, как волна. Лодос.

Они встретились глазами.

- Черт побери… Еще двадцать три года, - проговорил Назым.

Рашид опустил глаза. Он-то, если ничего не случится, через год будет на воле.

Навым растянулся на койке. Взял книгу. Это был один из детективов Агаты Кристи... Не читалось. Отложил в сторону, уставился в потолок.

Да, он часто бывал несправедлив к своей матери, которая дала ему жизнь, овой характер, свое сердце.

29 марта 1938 года,
Анкара
Мамочка!

Как это ни горько, я осужден на пятнадцать лет... (Пятнадцать лет... Это после первого процесса, а был еще и второй! - Р. Ф.*)... по делу, похожему на дело Дрейфуса. Я подал апелляцию - ведь эти пятнадцать лет мне дали, несмотря на то, что за мной нет никакой, даже самой малой вины перед законом. Как ты говоришь, дай-то аллах, чтоб апелляционный суд исправил эту явную судебную ошибку. Не отчаивайся, надежда еще есть.*

Если и она окажется напрасной, что поделать, мамочка! Придется отбывать наказание за неведомую мне вину, о которой я и представления не имею. Если это развитое тело выдержит пятнадцать лет, на свободу выйдет пятидесятидвухлетний инвалид. Пожелай же, чтобы я не дожил до этого дня. Уж лучше подохнуть в тюрьме, чем вылезти на свет пятидесятилетним калекой с потушенным разумом.

Я очень по тебе соскучился. Хоть бы раз еще увидеть тебя на этом свете. Если можешь, немедленно приезжай в Анкару. Здесь тебе есть где остановиться. Сможешь два-три раза со мной повидаться. Жду тебя, мамочка!..

...Как мог он такое написать матери! Положим, тогда, после первого приговора, который был для него неожиданней грома с ясного неба, он душой еще был на свободе, не привык. И все же вот он жив - и выдержит долго. Выдержит то, что казалось невозможным ему тогда, пять лет назад...

Чего бы он хотел сейчас больше всего?.. Очутиться в Стамбуле. В своем доме, устроенном по-своему, вот этими руками. Вечером выйти с женой и Мемедом на улицу, зайти в кабачок Барбы, сесть друг против друга, пить ракы и смотреть на Пирайе, а сын чтоб сидел рядом, задавал им вопросы, ел с их тарелок. За это, только за это немыслимое счастье он отдал бы десять лет жизни, нисколько о них не жалея... Он хотел было сказать об этом Рашиду, но вспомнил, что уже говорил, такими же самыми словами...

Назым приподнялся на постели. Очнувшимся взглядом поглядел на товарища. Тот сидел, по-прежнему опустив голову, тихонько постукивал пальцами по колену.

Назым поискал трубку. Набил ее табаком, раскурил и сквозь клубы дыма еще раз встревоженно поглядел на Рашида.

- Да брось ты, братишка... Знаешь что? Достань-ка эту самую... тетрадку по французскому... Раз ты стал писать прозу, надо читать Мопассана, Бальзака в подлиннике...

Рашид промолчал. Нехотя вынул из-под подушки тетрадь в желтом переплете.

Они занимались около часа.

Назым встал. Надел пижаму в красную полоску. Повесил над головой японские часы, купленные вместе с Пирайей в незапамятные теперь времена на проспекте Бейоглу в Стамбуле. Залез под одеяло. Сверху накинул халат и укрылся с головой.

Рашид решил еще поработать - все равно не уснуть сегодня. Хорошо бы закончить рассказ, начатый еще на прошлой неделе: надо выйти из тюрьмы с книгой под мышкой.

Прошел еще час.

Лодос выл и бушевал по-прежнему.

Вдруг Назым вскочил, отшвырнул одеяло и, щуря спросонья голубые глаза, попросил:

- Дай-ка карандаш!

Рашид протянул карандаш. Назым что-то нацарапал на стене в изголовье. Вернул карандаш и снова накрылся с головой. Рашид тихонько встал, подошел на цыпочках. Прочел:

На самой одинокой волне
пустая консервная банка...

Часы над головой Назыма показывали два часа ночи. Лодос продолжал свою гигантскую работу...

Весь следующий день до обеда Назым мотался по коридору. То удалялся, то приближался стук его деревянных сандалий по бетонным плитам. Он бормотал, прищелкивал пальцами, отбивая ритм. Натыкался на дверь. Заходил в камеру, словно что-то ища. Невидящими глазами обегал стены. Снова выходил в коридор...

...В Батуме в 1922 году, в гостинице «Франция», они с Валей Нуреддином ночевали в номере у профессора Ахмеда Джевада, а работали, спорили и обедали у себя, на втором этаже. Впрочем, жили они коммуной, так что где у себя, где не у себя, трудно было разобрать. Назым по своей привычке слагал стихи на ногах. В номере было много народу. И он выходил на балкон. Топтался взад-вперед, бормотал, размахивал руками.

Старая аджарка в доме напротив давно обратила на него внимание. Однажды он что-то уж слишком яростно жестикулировал - очевидно, стихи были боевые.

Соседка прибежала к портье.

- Скорей подымитесь наверх. Как бы ваш постоялец не выскочил на улицу с балкона. Такая жалость - молодой, красивый и умалишенный!..

С тех пор Назым не любил, чтобы во время работы за ним наблюдали со стороны. Но совладать с собой не мог - стихи забирали его целиком, а в тюрьме не спрячешься...

...Вечером он прочел Рашиду новые стихи:

...Наступает весна.
Дует лодос
свирепо и жарко.

Мы - числом нас шестьсот, -
мы - мужчины, лишенные женщин,
отобрали у нас
возможность зачатья.
Величайшая сила моя под запретом.
Запрещено мне коснуться, любимая, плоти твоей,
новую жизнь завязать,
смерть победить в плодородном лоне твоем,
сотворить с тобою вдвоем
и с тобою разделить
всемогущество бога.
Наступает весна.
Ночь.

И лодос.
Как он воет свирепо,
как жарко.
Где-то снова разбилось стекло -
третье за ночь.
И у камеры где-то пустой незакрытая дверь
бухает, бухает, бухает...

Глава, в которой Нум Ха учится в КУТВе, организует МЕТЛУ, пишет ПЭК и сотрудничает в ПРОМДе

Когда в канун нового, 1926 года Назым появился в Москве, за ним был уже опыт подполья, правда недолгий, попытка организовать в Измире тайную типографию, правда неудачная, и заочный приговор на десять лет тюрьмы, которые он, правда, не собирался отбывать. Он чувствовал себя опытным революционером и старым москвичом.

Тверская, главная улица Москвы, была и главной улицей в его здешней жизни. Она мало изменилась за эти четырнадцать месяцев, что он провел на родине, В ее начале, в Охотном ряду, все так же помещалась «Синяя блуза». Здесь Назым был частым гостем и желанным автором.

Чуть повыше Охотного, на правой стороне, среди магазинов и лавок, в небольшом приземистом здании все так же работал на полный ход кавказский ресторанчик. А еще выше, наискось от трехэтажного здания Моссовета, над бывшей булочной Филиппова, был отель «Люкс». Все номера его были отданы революционным эмигрантам пяти континентов. Кто только не находил здесь пристанища! Немецкие коммунисты Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, поэты Эрих Вайнерт и Иоганнес Бехер, французские социалисты Суварин и Дорио, финн Тойво Антикайнен, иранский поэт и революционер Лахути, индусский драматург-коммунист Эс Хабиб Вафа, Пальмиро Тольятти из Италии (тогда он был известен под кличкой Эрколи). Большинство постояльцев жили под вымышленными именами - на родине им грозила тюрьма или даже смерть. Многие и погибли под этими именами.

В отеле «Люкс» летом 1922 года, проехав через голодающее Поволжье, Украину в составе «социальной семьи» профессора Ахмеда Джевада, Назым провел свою первую ночь в Москве. За одиннадцать суток на крышах и в переполненных вагонах они оборвались, завшивели. В «Люксе» первым делом отправились в ванну, сменили белье.

Назым поместился в одном номере с Валей Нуреддином. Хотя до вечера еще было далеко, они тут же завалились спать. Оба еле держались на ногах от усталости.

Не прошло, однако, и пяти минут, как Валя разбудил На-зыма и вызвал горничную: по его подушке ползали насекомые. Между тем назымовская была чиста как снег.

Валя сменил постель, тюфяк. Снова улегся.

- С богом! Надеюсь, теперь-то я высплюсь!

- Выспишься, Валя! В конце концов ты не питомник для вшей!

Только задремали - звонок. Валя в ужасе стоял посреди комнаты в одном белье: опять вылезли, проклятые. Откуда только они берутся? А у Назыма - ни одной.

Принялись вместе с горничной обшаривать номер. Оказалось, Назым, сменив белье, связал его в узел и пинком засадил под кровать Вали. Пришлось переселяться в другой номер, а этот отдать во власть дезинсекторов.

Они проспали двадцать часов подряд. Спустились в столовую только на следующий день, к обеду. Принялись изучать пеструю компанию постояльцев, среди которых они так нежданно-негаданно очутились.

Назым не удивлялся: Москва была центром мировой революции, естественно, что здесь собрались революционеры со всех концов света. Ведь и они сами тоже приехали сюда из Анатолии, чтобы научиться делать революцию и поскорей вернуться домой.

Здесь, в «Люксе», они познакомились с двумя сестрами - Лелей и Шурой, которые на первых порах были прикомандированы к «социальной семье» профессора в качестве переводчиц.

В гостинице собирались поэты и писатели. Читали стихи, спорили на странном языке из английских, французских, немецких и русских слов. В номерах «Люкса» Назым впервые услышал имена Есенина, Блока, Хлебникова, Сельвинского, Багрицкого.

От гостиницы «Люкс» до Страстной площади - рукой подать. У памятника Пушкину на Тверском бульваре, где зимой пахло свежим снегом, а осенью прелыми листьями, словно перебродившим вином, Назым подолгу сидел, собираясь с мыслями, глядел на открывшийся ему иной мир, сочинял стихи.

На этой же площади рядом с монастырем помещался их КУТВ - Коммунистический университет трудящихся Востока. Когда-то это старинное здание - ныне оно вплотную прижато к громаде «Известий» - видело в своих стенах Пушкина, Грибоедов обессмертил его в «Горе от ума».

Перед революцией здесь был голландский банк. В кабинете бывшей дирекции, под потолком, усыпанным лепными звездами, поселили их «социальную семью» после «Люкса». Потолок был в звездах, но вся мебель состояла из одного огромного письменного стола. Потом принесли железные кровати.

В дирекции бывшего голландского банка Назым сложил

последнюю строку в размере хедже, которым писал с пятнадцати лет: «Как скелет огромного животного, стоит письменный стол...»

В витринах Тверской висели плакаты, призывавшие оказывать помощь голодающим, фотографии таких же опухших от голода людей, каких они видели под Ростовом из вагонного окна.

Голод, повсюду, где пролегал его путь, свирепствовал голод. В оккупированном Стамбуле, в деревнях Анатолии, похожих на стоянки пещерного человека. В Батуме, где деньги падали в цене каждый час и каждый час дорожали продукты, в Поволжье.

В тот вечер, когда их переселили в здание КУТВа, Назым написал свое первое стихотворение на московской земле: «Зрачки голодных».

Не единицы от голода стонут,
тридцать миллионов,
30 000 000!!
Боль и безумье
во взгляде голодных,
отданных смерти живьем!..
Эй ты, субъект,
стоящий поодаль,
не тронутый горем народным,
с презреньем
глядящий на тех, кто отдал
сердце свое голодным, -
знаю отлично,
что ты за гусь!..

Это были стихи и об Анатолии и о Поволжье. О всех голодных в мире, которым отныне принадлежало его сердце. Это оно, сердце, привело внука паши из дедовского особняка в Ускюдаре в Анатолию, из Анатолии - в Москву...

Рядом с КУТВом, в здании кинотеатра «Ша нуар» - «Черный кот» - разместился университетский клуб. Тут, на углу Тверской и Страстной площади, Назым ставил свои первые драматические опыты. Актеры в драмкружке КУТВа были самых разных национальностей. И едва понимали друг друга. Еще меньше поняли бы их зрители. Оставался единственно возможный театральный жанр - пантомима. И Назым писал пантомимы.

Еще в Батуме он увидел на афишной тумбе плакат, изображавший социальную пирамиду. На самом верху ее сидел царь, под ним - сановники, внизу - согбенные под тяжестью - рабочие и крестьяне.

Плакат был понятен и без подписи: падишах сидел на

вершине такой же пирамиды, основанием для которой служили босые, оборванные крестьяне Анатолии. «Пирамида» стала темой его первой пантомимы...

Если идти по Тверской дальше, то на углу Триумфальной площади, там, где теперь стоит зал Чайковского, в здании бывшего казино играли Первый театр РСФСР, руководимый Мейерхольдом, и Пролеткульт.

Мейерхольдовцы шефствовали над КУТВом. Кутвовцы - над театром Мейерхольда. В пьесе «Рычи, Китай!» Сергея Третьякова по сложным конструкциям бегали десятки китайских студентов КУТВа.

Мейерхольд стал любимым режиссером Назыма: он переделывал театр наново, так же как Назым мечтал переделать турецкую поэзию, а заодно и весь мир.

Драмкружком КУТВа руководил актер и режиссер мейерхольдовского театра Николай Экк, человек необузданной и в то же время логической фантазии, вспыхивавший, как порох, и деловито бравшийся за самые грандиозные предприятия.

В первые дни нового, двадцать шестого года Назым пришел к Экку на Арбат. Теперь он был не студентом, а переводчиком КУТВа.

- Вот так новогодний подарок! - обрадовался Экк. - Жив! Здоров! Ну рассказывай! Рассказывай!

- Что рассказывать? Рыли типографию - не дорыли. Хотели повесить - не повесили. Вот я и опять среди вас, ребята, - говорил Назым, обнимаясь с Экком и его женой, актрисой и драматической писательницей Региной Янушкевич. - Есть дела поважней, чем воспоминания. Не считаешь ли ты, дорогой Ю, и вы, Регина, что пришла пора создать свой театр и заткнуть за пояс и Камерный, и МХАТ, и самого мастера? У меня есть ряд идей - накопилось, пока сидел в будке и рыл землю для типографии...

Вскоре в помещении бывшего «Ша нуар» появился новый театр. После долгих споров его назвали МЕТЛА.

В те годы сокращения были в ходу. МЕТЛА - означало: Московская Единая Театральная Ленинская Артель. Руководили театром Ю, Янушкевич и Нун Ха.

Нун Ха - таков был псевдоним Назыма Хикмета в те московские годы. Это первые буквы его имени в арабском начертании: латинский алфавит в Турции в то время еще не был введен.

Сокращения должны были экономить время и избавить людей от ненужной церемонности. Экк именовался Ю. И не только из любви к Китаю, где в те годы ширилась антиимпериалистическая

революция, а еще и потому, что две первые буквы его фамилии сливались в факсимиле в одну - «ю».

У Назыма же были и другие причины, по которым он избегал выступать под собственным именем, - он стал профессиональным революционером, а Турецкая компартия была загнана в подполье. Валя Нуреддин - неизменный друг его детства и юности - стая называться Ва Ну. Но в отличие от Назыма сохранил этот псевдоним до конца своих дней.

Революционные художники того времени не любили слова «творчество». В нем слышалось что-то церковное - творцом был господь бог, и не к лицу им, призванным в искусство революцией, именовать себя творцами, подобно гривастым поэтам начала века, вещавшим истины под напором неизвестно откель снизошедшего вдохновения.

Они были рационалистами, материалистами - их планы переустройства мира основывались на трезвом расчете и строго научном предвидении. Они не творили, а работали. Владимир Маяковский недаром назвал свою статью о поэзии - «Как делать стихи?». Поэзия ставилась в ряд с любой другой производственной деятельностью, строго организованной и продуманной.

Стремление проникнуть разумом в самые глубокие тайники поэтического труда, сознательное отношение к мастерству, пусть выраженное в те годы еще по-юношески наивно, вели Назыма вперед и вперед всю его жизнь. И часто, когда читатели и критики полагали, что составили себе окончательное мнение о его поэзии, он выступал с новым произведением, которое опровергало все прежние оценки.

Такие резкие скачки каждый раз бывали вызваны не желанием высказаться пооригинальней, а изменениями в самой жизни, которые он, как всякий богато одаренный художник, чувствовал и понимал острее и раньше других...

Естественно, что и свой театр они назвали не творческим коллективом, а артелью. Они были мастеровыми революционного искусства.

Во многих московских театрах тех лет на актерах были не костюмы, а прозодежда. Занимались они не сценическим движением, а биомеханикой. Спектакль назывался показом, а концерт - отчетом. На сцене стояли не декорации, а конструкции. И художник звался автором конструктивной установки. Студии именовались мастерскими, а художественный руководитель - мастером.

Мастером, о котором Назым упомянул в разговоре с Экком, был, конечно, Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Итак, МЕТЛА - свое помещение, свой театр. Что же собирались делать его создатели? Выметать. Выметать сор «психоложеского», по выражению Маяковского, театра. Создавать новые формы агитационного сценического искусства.

Николай Экк и Назым Хикмет искали «средства для наилучшего выражения фактов современности». Они пробовали цирковое антре, приемы русского народного балагана, театра импровизации, пантомиму, кино, формы народного турецкого театра Карагёз.

Первым спектаклем, поставленным в МЕТЛЕ, был ПЭК. За ним должны были последовать ВЭК и ТЭК, что расшифровывалось как Первый, Второй и Третий Эстрадные Комплексы.

Назым писал сценарий. Текст во время репетиций импровизировали сами актеры. Затем отбирался лучший вариант и закреплялся на бумаге. Молодые студийцы разных театров, мейерхольдовцы, студенты КУТВа были одновременно и соавторами пьесы.

«Комплекс» начинался очень популярной в те годы песней «Кирпичики». На тему этой песни и было сочинено обозрение. Рассказ о фабричной девушке перемежался с документальными кинокадрами и сценами из истории революции.

Одним из участников спектакля был юный студиец, а ныне известный советский драматург Исидор Шток.

Рассказывает Исидор Шток

В зрительном зале за режиссерским столиком сидели Экк и Назым. Назым был худ, высок, светлоглаз. У него были темно-рыжие, очень красивые волосы. Усы он то отпускал, то сбривал. Отрастали они очень быстро.

На сцене бегали мы - артисты этого театра, таскали ширмы, изображали то народ, разоружавший солдат, то солдат, стрелявших в народ, то буржуев, то рабочих. Среди других ролей - каждый играл их по нескольку - я играл раненого солдата и должен был умирать на поле боя. Но стонал я так неестественно, что Экк выгнал меня со сцены. Обиженный, я пошел в партер и сел рядом с Назымом. Он удивился:

- Почему ты, брат, не можешь стонать? Смешной человек!

А на сцене разворачивалась история бедной фабричной девушки. Баян играл «Кирпичики». Короткие сценки перемежались с кинокадрами на экране. Потом опять шли малохудожественные сценки. Мы взад и вперед таскали ширмы. Прожекторы бегали за нами. Баян наяривал «Кирпичики». В финале все кричали «ура» и снова пели «Кирпичики». Потом расходились по домам.

Публики на спектаклях становилось все меньше. Зрители острили: «На спектакле ПЭК в театре МЕТЛА все время показывают темноту». Задумано было все очень неплохо - затемнения, как в кино, быстрая смена сцен. Но техника была ужасной. То и дело случались накладки.

Назым был очень занят в КУТВе. Писал беспрерывно. Пьесы, стихи. На улице, дома, на заседаниях. Как графоман. Наши спектакли прогорели, нас выкинули на улицу. Мы стали играть по другим клубам - помещение МЕТЛЫ снова отдали под кинотеатр.

Впереди у нас были огромные работы. Назым и Экк решили создать две театральные многосерийные эпопеи.

Одна «Государство и революция», другая - «Империализм, как высшая стадия капитализма». Ни больше ни меньше. А пока Назым написал пьесу «Все товар». О горестной судьбе великого ученого в капиталистической стране. Буржуи погубили сначала дочь ученого, затем самого ученого, затем и его открытие - лекарство от туберкулеза. Владельцам туберкулезных больниц и санаториев оно было невыгодно.

Пьеса носила подзаголовок - «Первый сценический урок марксизма». Мы были ею очень увлечены. Распределили роли, стали репетировать. Но тут наш театр окончательно распался...

С высоты сегодняшнего опыта многое в тех годах видится наивным. Мировая революция ожидалась со дня на день, а затем - всеобщее счастье и братство. Этим ощущением жила в те годы не только зеленая революционная молодежь.

Но в наивности и безоглядности тех лет было и величие. За идеи всемирного человеческого братства без господ и без слуг, за то, чтобы жить «единым человечьим общежитьем», люди готовы были идти и шли на смерть.

Вскидывая крючья лестниц на звезды,
ступая по черепам
погибших друзей,
мы поднимаемся к Солнцу по воздуху
баснословной ордой людей.
Те, кто погибли, - погибли в борьбе.
Солнце служит для них могилой.
Их отвага гремит
в боевой трубе,
содрогаясь, как бычьи жилы.
Нападение на Солнце!
Нападение на Солнце!
Мы захватим Солнце!

Мы захватим Солнце!

Эту «Песню пьющих Солнце» Назым написал в Измире, когда рыл помещение для подпольной типографии и двадцать дней не видел солнечного света...

Летом 1922-го, впервые ступив на перрон Киевского вокзала, юный внук паши в анатолийской папахе имел один вопрос к товарищу Ленину: как сделать, чтобы на его родине, в Турции, не было эксплуатируемых и эксплуататоров, бедных и богатых?

Ответ был куда сложнее, чем представлялось Назыму тогда, в девятнадцать лет. Чтобы добыть его, оказалось, мало целой жизни.

Первый опыт подполья, первые поражения убеждали - нет готовых ответов ни в жизни, ни в политике, ни в науке, ни в поэзии.

С Лениным поговорить Назыму не удалось. Через полтора года он стоял в почетном карауле у его гроба...

«...Траурный марш великим морем ударил мне в лицо. Невообразимый свет. Такие громадные хрустальные люстры я видел в Кремлевском дворце. В их невообразимом свете медленно течет, течет, течет лавина людей. Мы продвигаемся с человеком, который держит меня за рукав. Первой, кого я увидел, была Крупская. С гладкими седыми волосами, расчесанными на пробор, в гладком платье. Стоит перед грудой цветов. Руки свесились по бокам. Широко раскрытые глаза, слегка навыкате, куда-то смотрят. Там, куда она смотрела, я увидел Ленина. Его лоб, невероятной ширины лоб. Земной шар... Я принял караул у туркестанца. С винтовкой в руке стою, не шевелясь, в изголовье у Ленина... Я вижу Крупскую. Вижу лоб Ленина, вернее, его голову сзади... В одной из колонн в зал вошли моряки... Они были без шинелей, грудь открыта. Плечи матросов покрыты снегом, волосы на груди мокрые. Огромные, рослые парни. Они шли тесными рядами. Подойдя к гробу Ленина, их старшина приостановился, вскрикнул: «Ах, мамочка!» - и рухнул на пол. Матросы подняли старшину и прошли с влажными синими глазами. Мне показалось, что они расстаются с морем, чтобы никогда больше к нему не вернуться. Только после этого я заметил, что многие в рядах падают в обморок. Их поднимают и уносят... Я вижу голову Ленина сзади, вернее, его огромный лоб. Слышу траурный марш. Я смотрю на Ленина, и мне хочется плакать... Мне нет дела до того, плачут или нет, стоя в карауле. Я хочу плакать, но не

могу...»

Если верно, что люди учатся на своих ошибках, то это относится и к классам и к партиям. При всей своей нелюбви к банальностям пословичных истин Назым, вернувшись в Москву в двадцать пятом году, часто вспоминал турецкую поговорку: «Каждого барана подвешивают за собственные ноги»,

Даже самый мудрый учитель может в лучшем случае лишь показать путь, пройти его каждый должен сам.

У народов Востока своя трагическая история. Они сделали много попыток изменить «кривизну мира». Но на протяжении веков эти попытки подавлялись огнем и мечом, и все возвращалось в конце концов «на круги своя». Отчаяние родило в массах неверие в возможность перестроить жизнь. Фатализм стал чуть ли не национальной турецкой чертой. Догматизм и сектантство - оборотная сторона средневековой схоластической психологии. Раз мир неизменен, можно овладеть истиной, действительной во веки веков. Для того, кто верит, что обладает такой истиной, закономерно стремление подавить всякое инакомыслие как ересь. Эта сторона азиатского да и вообще всякого религиозного мышления отозвалась в революционном движении Азии наших дней.

Назым Хикмет в двадцатые годы стремится сделать передовую марксистскую философию достоянием поэзии. Он пишет стихи «Юм», «Беркли», «Эмпириокритицизм», «Дума о Гераклите в Москве». Читая их, словно присутствуешь на семинаре по диалектическому материализму. В этих стихах он остается поэтом - мыслит не логическими категориями, а образами и картинами, но в них присутствует та прямолинейная примитивность, которая отличает новобранца-неофита.

Когда Назым Хикмет появился в турецкой литературе, там господствовало убеждение, что поэзия отличается от прозы своим предметом, грубее - темами.

Освоив невиданные для турецкой поэзии темы, Назым Хикмет доказал; «поэзия отличается от прозы не своим предметом».

Для того чтобы выразить революционный порыв масс, слиться с ними, нужны были новые поэтические средства. И Назым Хикмет в эти годы вырабатывает их.

Свободный ритмический стих, новые принципы рифмовки, необычные по размаху метафоры, фабричная и философская лексика, язык улицы, ораторская интонация - все это принес в турецкую поэзию Назым Хикмет. Для такого колоссального труда было мало и двадцати четырех часов в сутки.

В борьбе со старой поэтикой, ограниченной интимными, камерными переживаниями, Назым Хикмет сознательно ограничивал себя. Говоря словами В. Маяковского, он «наступал на горло собственной песне», совершенно отказываясь от лирики одинокого «я».

Назым Хикмет хотел быть голосом разума, голосом масс.

Но вскоре оказалось, что одновременно он наступил на горло не только собственной песне, но и песне миллионов людей, - ведь каждый из них, так же как сам он, не только часть массы, но и личность, индивидуум.

Через тридцать лет в предисловии к своему двухтомнику на русском языке Назым Хикмет напишет:

«Сектантство - разновидность нигилизма. Сектант отрицает всякое иное суждение за исключением своего. Зло, причиняемое сектантством, неизмеримо велико особенно в вопросах формы. Тот, кто утверждает, что нельзя писать стихов без рифмы и размера, в такой же степени ограничен, как и тот, кто утверждает, что нельзя писать стихи с рифмами и размерами. Стихотворение можно писать и так и этак...

В молодости я сам отдал дань сектантству. Я начинал со стихов, где применялись классические народные размеры и рифмы, а потом, после моего первого приезда в Советский Союз, начал искать новые формы, стал писать свойственным мне свободным стихом. Однако меня не сразу оставило убеждение, что стихи следует писать только одним каким-нибудь способом. И вот я принялся утверждать, что моя излюбленная форма - единственно возможная форма стиха. Продолжительное время я не писал стихов о любви и даже не употреблял слово «сердце», ибо оно символизирует чувство, а не сознание...»

Почувствовав, что в его поэтическом оркестре трубы и литавры заглушают голоса скрипок и флейт, он вернется к лирике, к теме своего «я». Но это «я» уже не может существовать в поэзии, не включая в себя всего остального мира.

Турция, страна высокой и традиционной поэтической культуры, вобравшая, опыт всей ближневосточной поэзии - и арабской и персидской, страна, где неграмотные крестьяне читают наизусть целые строфы классиков. Иное дело - драматургия. Драмы в современном смысле турецкая литература до Назыма Хикмета не знала. И потому в драматургии утилитарные представления об искусстве, которым отдал дань молодой Назым Хикмет, особенно бросаются в глаза.

Вспоминая о тогдашней попытке написать пьесу на тему работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», Назым Хикмет в середине пятидесятых годов скажет: «Принцип, по

которому она строилась, был неправилен. Она являлась серией иллюстраций к книге, сценически воспроизводила ее страницы, а надо было передать ее идеи в художественных образах. Я интересовался прежде всего результатом - в этом заключалась моя ошибка».

«Самое великое искусство - искусство тех, кто испытывал поражение», - говорил Юлиус Фучик. Московский опыт не пропал даром. В 1932 году на сцене стамбульского театра «Дарульбедаи» была поставлена пьеса Назыма Хикмета «Череп». Ее замысел и сюжет почти целиком совпадали с «первым сценическим уроком марксизма» - «Все товар». Но разница между первым и вторым вариантами пьесы видна уже в названиях. В первом случае - в заголовок была вынесена отвлеченная мысль, во втором - образ. «Череп» - это сколок общества, античеловечность которого проступает сквозь лицемерную мораль, как кости черепа, обтянутые кожей мертвеца.

«Череп» был первой удачной драматургической попыткой Назыма Хикмета. Постановщиком пьесы и исполнителем главной роли ученого был Эртугрул Мухсин, отец современного национального театра, как его величает ныне театральная критика Турции.

С Эртугрулом Мухсином Назым тоже познакомился в Москве в 1927 году. Это были лучшие годы советско-турецкой дружбы. Турция, первая азиатская страна, завоевавшая независимость в войне против той самой Антанты, которая пробовала задушить Советскую Россию, заключила с Россией договор о дружбе и братстве. К нам приезжали турецкие футболисты - встречи с ними были первыми международными состязаниями советских спортсменов, студенты - на учебу, коммерсанты - по торговым делам, писатели и ученые, музыканты и актеры.

Назым познакомил Эртугрула Мухсина с Николаем Экком, представил Мейерхольду. Мухсин присутствовал на репетициях Станиславского во МХАТе, смотрел спектакли Таирова в Камерном, в «Синей блузе», у вахтанговцев. Почти год провел он в нашей стране. По возвращении на родину он впервые показал турецкому зрителю «Вишневый сад» Чехова, «На дне» Горького. В Москве турецкий режиссер стал приверженцем системы Станиславского. Но это не мешало ему понимать и принимать другие театральные стили и методы.

В постановке «Черепа» Эртугрул Мухсин почувствовал стремление Назыма Хикмета к народному зрелищу и широко использовал приемы театра «Карагёз»...

После спектакля толпа зрителей на плечах пронесла Назыма до самого дома. Билеты были раскуплены на месяц вперед. Но

власти запретили постановку после третьего представления. Повод для запрещения был избран совершенно в духе того самого лицемерия, над которым издевался в пьесе Назым Хикмет: в оскорбительном виде, мол, представлена профессия ветеринара...

В этой пьесе явственно обнаруживается совпадение с театральными принципами Маяковского.

Эстетическая близость «Черепа» к драматургии Маяковского была рождена близостью идейной: в основе пьесы лежала та же самая мысль, которая поразила советского поэта во время его поездки по Соединенным Штатам: «долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни карикатурной иллюстрацией к положению, что надстройка и сознание определяются экономикой».

После ликвидации театра Мейерхольда пьесы Маяковского были объявлены схематичными, нереалистичными - в эти годы к реализму причислялись лишь «отражения жизни в формах самой жизни». Словно комната, в которой люди едят, пьют, ходят, разговаривают «совсем как в жизни», не замечая, что вместо одной из стен в этой комнате - зрительный зал, более «реальна», чем «машина будущего», на которой Маяковский увозил в последнем акте «Бани» своих героев.

Так же как Маяковский, Назым Хикмет видел в театре «не отображающее зеркало, а увеличительное стекло». Он часто брал главную черту какого-либо из персонажей - иногда одну его фразу - и не старался изобразить все остальные черты характера. Это, конечно, персонажи схематичные. Но всякое обобщение непременно некая схема, отвлекающаяся от второстепенных качеств явления или предмета, в этом смысле любой художественный образ схематичен.

Если пьесы, написанные Назымом Хикметом для театра МЕТЛА, были плохи, то не потому, что создавались по схеме, а оттого, что схемы, которыми мыслил начинающий драматург, были иллюстративны, плоски, не выявляли глубоких закономерностей жизни...

В пятидесятые годы в Москве Назыма Хикмета любили именовать «турецким Маяковским». Он слушал и благодарил.

Но однажды, возвращаясь с вечера, на котором ораторы злоупотребляли сближением поэзии Маяковского и Назыма Хикмета, он с хитрой улыбкой обернулся к своим спутникам:

- Вы знаете, быть может, с научной точки зрения это верно. Но в те годы я не мог читать Маяковского - слишком плохо знал русский язык...

...Весной 1922 года в Батуме в гостинице «Франция» Назыму

попалась в руки русская газета. Прочесть ее не мог ни он, ни Валя. На второй полосе им бросилась в глаза странная колонка. Строки в ней были разной длины. И располагались лесенкой. Очевидно, стихи, но какие-то непривычные.

С помощью Ахмеда Джевада выяснили - действительно стихи. О Красной Армии. Автором их был поэт с труднопроизносимой фамилией - Маяковский...

Осенью того же года в клубе КУТВа они слушали выступление Маяковского. Многие поэты, общественные и политические деятели выступали в те годы перед кутвовцами и перед студентами Комуниверситета имени Свердлова - он помещался тут же на Страстной площади, в доме нынешнего Агентства печати «Новости».

Маяковский читал «Левый марш». Назым понял всего две строки: «Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!» И: «Тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер!»

А через неделю Леля Юрченко познакомила Назыма с самим Маяковским.

Назым вспоминал: «Это было в одном из номеров гостиницы «Люкс» у друзей поэта. Меня представили как молодого турецкого поэта. Маяковский заинтересовался. По моей просьбе начал читать стихи. Я был поражен. Оказывается, все свои стихи, а не только «Левый марш», он читал не так, как у нас было принято, - нараспев, а как оратор на трибуне. И я подумал: вот как надо писать о страданиях крестьян Анатолии, которые ты наблюдал и прочувствовал».

Назым Хикмет понял главное - революцию, которую совершил в поэзии Маяковский.

Назыму предстояло совершить свою...

Когда в пятидесятых годах Назым Хикмет снова появится в Москве, его первой крупной работой станет пьеса «Рассказ о Турции». Критика тех лет прилагала, отчаянные усилия, чтобы навеки закрепить в нашем театре стиль одного, пусть великого, но одного-единственного режиссера, - все, что не подпадало под этот стиль, объявлялось чуть ли не антисоциалистической ересью.

В пьесе Назыма многое не подпадало. Голоса по радио - прием, всходивший к «песне занавеса» в театре «Карагёз» или к греческому хору, кинематографическая смена картин.

22 февраля 1952 года в московской квартире Назыма Хикмета собрались друзья поэта, переводчики пьесы. Пришел и Николай Владимирович Экк. За четверть века, минувшие со времен МЕТЛЫ, он прославился на весь мир как постановщик первой советской звуковой картины «Путевка в жизнь», первой цветной

картины «Соловей-соловушка». Но имя его ничего не говорило новым поколениям зрителей. Близкий сподвижник режиссера, имя которого было запрещено даже упоминать в печати, он долгие годы был не у дел. Назым с трудом разыскал его - он хотел, чтобы «Рассказ о Турции» поставил непременно Экк.

Обсуждение пьесы незаметно превратилось в диспут о театре. И Назым высказал свое тогдашнее понимание театра:

- Возьмете ли вы греческий театр, итальянскую комедию дель арте, китайский театр или турецкий «Орта оюну» - повсюду театр был народным праздником. Под открытым небом, на площади народ смотрел, веселился и горевал, выражал свои мнения и свои чувства. Собственно говоря, таков был и театр Шекспира. Он тоже играл под открытым небом или в балагане, без антрактов. И не случайно, что о его декорациях и костюмах мы ничего не знаем...

Грубо говоря, с Людовика XIV во Франции пошел этот паршивый комнатный театр, где аристократы, а потом буржуа сидели в удобных креслах, закусывали и показывали в антрактах свои наряды. По целому ряду причин среди них не последняя - индивидуализм богатого зрителя, драматургия стала подделываться под жизнь: показывайте нам картинки из той жизни, которой мы живем и которую считаем единственной достойной жизнью, картинки забавные, пикантные, но не слишком тревожные. Театр замкнулся в четыре стены, где можно постелить ковер, стул будет похож на стул, а стол - на стол, все честь по чести. Так родился театральный лжереализм...

Это и понятно: представьте себе трагическую сцену в горах, поставленную в традициях комнатного театра, с декорациями из картона, которые должны копировать горы, но трясутся от каждого шага актеров, и вы поймете, в чем тут дело. Театр стал почти исключительно камерным искусством. Но лишь до поры до времени. Новая социалистическая эпоха ломает эти рамки... Первооснова театрального искусства - слово и движение, то есть актер. И, по-моему, строя современный реалистический театр, который мог бы отвечать на проблемы нашего времени, к этой первооснове следует прежде всего обратиться. Конечно, обогащая всем лучшим, что добыто мировым - подчеркиваю, мировым, а не только европейским - театральным искусством...

После закрытия МЕТЛЫ Тверская по-прежнему оставалась центром его московской жизни. Нун Ха вступил в ПРОМД. Название этой мало кому известной ныне организации расшифровывалось так: Производственное Объединение Молодых Драматургов. В 1927 году оно помещалось напротив КУТВа, в здании нынешней редакции «Москоу ньюс», принадлежавшем

тогда «Теа-кинопечати». Кроме Нун Ха, индийского поэта и драматурга Эс Хабиба Вафа, Ю и Янушкевич, в него входили известные впоследствии писатели и поэты - Исидор Шток, Игорь Чекин, Виктор Гусев, Константин Финн, Арсений Тарковский. Самому старшему, Вс. Курдюмову, было около тридцати лет - остальным он казался пожилым человеком.

Промдовцы вместе сочиняли сценарии массовых представлений, вместе обсуждали новые работы. На одном из заседаний слушали наброски сценария о беспризорниках, написанные Экком, Янушкевич и Столпером, - будущей «Путевки в жизнь». На другом обсуждали назымовскую пьесу «Все товар». Критиковали друг друга безжалостно.

Назым слушал молча. И похвалы и хулу. Мотал на ус. И рисовал по обыкновению портреты выступавших. Виктора Гусева нарисовал в виде ромашки, Исидора Штока - в виде подсолнечника. Удивительно похоже. Весело. И почему-то немного грустно.

Все знавшие его в те годы вспоминали потом о его буйной, необыкновенной жизнерадостности, оптимизме. И странной печали, таившейся за ними...

На одиннадцатом году заключения Назым писал из бурсской тюрьмы:

«Можно жить по-разному. Жить, не замечая, что живешь, не замечая всей громадности и величия жизни. Так живет большинство человечества... Можно жить, ощущая счастье оттого, что живешь, - где бы ты ни был, в каких бы условиях ни жил. Думать, читать, любить, бороться, видеть, слышать, работать, мучиться, ненавидеть. Короче, все моральное и материальное в жизни - для тебя счастье. Ты это ощущаешь повсюду, в каждый миг... И наконец, можно жить так, словно исполняешь долг. Как идти на смерть бывает иногда долгом, так становится долгом жить. Будто выполняешь кому-то данное слово. Для меня штука, именуемая жизнью, всегда была счастьем - в тюрьме ли, на свободе ли, глядел ли я на луну, держа за руку любимую, или на клопа, ползущего по потолку моей камеры. Мне даже кажется, что в нашей литературе я первый поэт, сказавший: «Какая прекрасная штука - жизнь!..»

Теперь все изменилось. Жизнь стала для меня только долгом. Я приобрел ужасную, проклятую силу. Силу камня, железа, бревна... Говорят, прокаженные теряют чувствительность - подпали им нос, не услышат. Вот так и моя душа, мой разум, мой мозг. Я не испытываю больше страдания. Но это значит, что для меня стало недоступным и счастье. Я выбросил обе эти штуки из своей жизни.

Если надо сказать короче, это значит, что как индивидуум я больше не существую. Любовь, нежность, жалость, восхищение прекрасным и прочее и прочее - бесконечно далеко от меня. Я силен. Это не безжалостная, не жестокая, не хищная сила, нет. Она просто слепа, как сила природы... Отчего я стал таким? Когда я был слабым человеком, просто человеком, как я был счастлив! Отчего я утратил это счастье? Зачем я стал таким сильным?.. Причин тому масса... Не стоит о них писать...»

...В конце двадцатых годов в Москве к Назыму тоже пришла нежданная сила, духовная и физическая. Но то была радостная сила!

В школе в Гёзтепе на азиатской стороне Босфора, где они учились вместе с Валей, в лицее Галатасарай Назыма звали «Пататес» - «Картошка». Он был круглым, пухлым мальчиком, которого ничего не стоило побороть. Даже в военно-морском училище он был не из сильных... И вдруг в Москве нежданно-негаданно победил одного из лучших борцов университета - Шадана.

Шадан, племянник знаменитого турецкого поэта Тевфика Фикрета, вышел в финал первенства турецкого факультета. Но проиграл анатолийскому крестьянину Шевки. Проигрыш так его огорчил, что он стал привязываться ко всем подряд: давай, мол, поборемся.

Приставал и к Назыму. Тот долго отнекивался. Наконец не выдержал: «Давай!»

Каково же было всеобщее удивление, когда Шадан оказался на лопатках... Назым гордился своей борцовской победой не меньше, чем поэтическими.

По выходным - тогда выходные были через четыре дня на пятый - кутвовцы отправлялись в Петровский парк. Здесь, на месте нынешнего стадиона «Динамо», играли на полянах в футбол.

Назым любил играть, но не проигрывать. Входил в раж. Делался красным от ярости. «Ковался». Как-то даже сломал ногу товарищу. Бывало, доставалось и ему самому. Потом в тюрьме старые футбольные ушибы давали себя знать - ноги болели,

В те годы он с одинаковым азартом играл в футбол и участвовал в литературных спорах. Бывало, из Петровского парка прямым путем отправлялся в дом Герцена. Здесь, на Тверском бульваре, в здании нынешнего Литературного института, помещался Клуб писателей. Назым выступал в тогдашних литературных схватках на стороне ЛЦК, или Литературного Центра Конструктивистов. В него входили Илья Сельвинский,

Корнелий Зелинский, Вера Инбер, Борис Агапов, Николай Панов. Маяковский, глава «левого фронта искусств» - ЛЕФа, считал их наиболее близкой к нему группой.

В одном из тогдашних журналов Назым вполне в духе конструктивистов-лефовцев напечатал такие строчки:

Зданье Большого театра
станет прекрасным амбаром ячменным.
А гардеробы подарим
гумовским манекенам...

Назыму нравилось у конструктивистов их увлечение техникой, желание писать стихи на современные темы, призывы к смелому эксперименту в области формы. А главное - среди конструктивистов был Эдуард Багрицкий.

...Важнейшей стороной нового революционного сознания, к которому Назым Хикмет приобщился в Москве и которое сделалось содержанием его внутренней жизни до конца его дней, был интернационализм. Дело революции в Китае было его собственным делом, так же как борьба немецких рабочих с фашизмом была его борьбой.

В постоянном общении с художниками разных стран и цивилизаций - индийским драматургом Эс Хабибом Вафой, китайским поэтом Эми Сяо, иранским поэтом Лахути, азербайджанскими поэтами Микаэлем Рафили и Сулейманом Рустамом, русскими поэтами Багрицким, Маяковским, Сельвинским и многими другими, - в общей атмосфере тех лет он стал не только антибуржуазным художником. Единство мировой культуры Назым Хикмет ощутил и воспринял как живую реальность.

Он стал коммунистом еще и потому, что быть им значило стать наследником культуры всего человечества. Не только Греции, Рима, Ренессанса, а всего мира - Азии и Африки, китайской и японской классики, Индии, Ирана, Латинской Америки, и в литературе, и в живописи, и в скульптуре, и в танце.

Как-то за год до его смерти мы говорили с Назымом о так называемом «национальном коммунизме» в связи с шовинистической политикой Мао Цзэдуна.

Назым разволновался, заходил по комнате.

- На кой мне черт такой коммунизм?! Если б не было интернационализма, я бы не стал коммунистом. Разве дело в том, чтобы вкусно есть и пить да хорошо жить? Или в том, чтобы мой народ стал богаче других? Этого можно достигнуть и при буржуазном строе. Уважение к любому народу как к своему

собственному - без этого нет коммунизма...

По-разному можно вспоминать свою юность. С умилением над ее пылом и неопытностью: «Если бы молодость знала...»

С циничной иронией бывшего социалиста, а потом фашиста Пьера Лаваля: «Тот, кто в двадцать лет не был социалистом, у того нет сердца. Кто в сорок лет им остался, у того нет головы».

Назым вспоминал:
Из-за годов слышен бой часов
На башне, на Страстной.
Напомнил мне девятнадцать лет
Гражданской войны университет.
Уха,
военная подготовка,
книга,
театр,
балет.
У грузовика дежурят с винтовкой
мои девятнадцать лет...
Любовь: товарищ.
Профессор: товарищ.
Негр Джон,
Немец Тельман,
Китаец Ли
И мои девятнадцать лет -
Товарищ, товарищ, товарищ,
товарищи мои...
Ночью в лесу у костра из сосновых ветвей,
глядя на белый-белый,
круглый-круглый лунный лик,
Одним дыханием песни поются.
Я счастлив, друзья, в этот миг...
Я сегодня пою те же песни.
Не ношусь я по белому свету, как листок,
подгоняемый ветром.
Нет, я сам направляю вперед свой полет!..
Вы, которые вынесли то,
Чего не вынес бы в мире никто,
Вы можете прямо глядеть мне в глаза
и руку мою пожать...
Мой первый сын, мой первый товарищ, мой первый
учитель, привет,
мои девятнадцать лет!

Шевкет Сурейя Айдемир, вернувшись в Турцию, тоже попал в тюрьму. Отсидев свой срок, стал «этатистом»: в журнале «Кадро» ратовал за государственный капитализм. Стал директором торгового лицея.

На седьмом десятке он издал книгу мемуаров «Человек, искавший воду». Своему товарищу по московским университетам написал на этой книге: «Сдается, в поисках живой воды я сбился с пути».

Валя Нуреддин по возвращении в Стамбул работал переводчиком в торговой фирме. Потом журналистом. Не выдержав нечеловеческой тяжести борьбы, отошел от политики. Но сохранил уважение к тем, кто остался верен идеалам молодости. Сочинял «коммерческие» романы, но любовь к Назыму пронес через всю жизнь.

Перед смертью Валя Нуреддин вспоминал:

«В моем воображении горит все тот же огромный костер. Вокруг него тени моих тогдашних товарищей, кто умер, кто жив. Они непременно спросят меня:

- Столько лет ты водил пером по бумаге, печатался в разных газетах. Можешь ли ты предстать перед нами с чистой совестью?

Я прямо посмотрю им в глаза.

- У меня много недостатков. Но я никогда не был на стороне угнетателей...

Но они не согласятся со мной.

- Положим. Но раз ты социалист, ты должен был говорить об эксплуатации человека человеком. Ты спутал цели, маэстро».

Назым Хикмет писал из бурсской тюрьмы:

«Со сладкой печалью прочел я свои стихи, написанные двадцать шесть лет назад. Слава богу, я и сейчас такой же ребенок, как двадцать шесть лет назад. И сейчас, через двадцать шесть лет, во мне горит желанье «прорваться сквозь годы и годы», «тоска по небесам иных цветов». Тюрьма лишила меня сна, аппетита, здоровья. Но не убавила ни капли от моего оптимизма, от моей веры в людей».

По-разному можно вспоминать свою юность…

В 1927 году в Москве Назым снимал комнату на Тверском бульваре в большом многоэтажном доме, напротив здания ТАСС.

- Как-то мы с Виктором Гусевым, - рассказывал Исидор Шток, - зашли к нему. Он был болен. Грипп, что ли, или ангина. Он с трудом привыкал к нашему климату. Лежал на железной кровати в крохотной комнатушке. И работал. Писал. Потом, когда я читал

в газетах о Назыме в турецкой тюрьме, перед моими глазами всегда возникали эта железная койка, его знакомые голубые глаза, жесткие темно-рыжие волосы и рука с карандашом на блокноте... Он увидел нас, обрадовался. Начал читать по-турецки. О мировой коммуне-оркестре. Потом о больном Колоссе Родосском.

Я знаю,
лет через десять лопнет
грудь моя, эта прессформа из гипса.
И тогда одного не прощу себе,
что, наделенный такой огромной тушею,
я не носил камни для тех,
кто строит
мосты в грядущее.
Времени мало.
Пусть ноги мои,
обутые в громадные сапоги - размер сорок пять, -
делают гигантские шаги.
Нужно,
чтоб время выиграть,
бежать, бежать, бежать,
как на Олимпийских играх!

С Гусевым и Штоком пришла к Назыму одна девушка. Актриса с ярко накрашенными губами.

- Такой рот, как будто ты кушал кров, - сказал ей Назым.

Уже на лестнице, когда они уходили, актриса призналась, что ей хотелось остаться, пожалеть больного, вылечить. Уж очень он показался ей беззащитным, слабым...

- Это Назым-то слаб! Да он один из самых сильных людей на свете!..

Эта сила созрела в Москве. Можно было бы назвать ее «думающим сердцем», Он назвал ее разумом, бьющимся в груди. Сила, не знавшая разрыва между словом и делом, сердцем и головой…

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум

Желтое, налитое соками близкой осени утро предвещало томительно-душный, тягучий день. Он стоял у окна.

На далеком-далеком склоне ползли два вола, впряженные в арбу. Как, должно быть, скрипят эти сплошные деревянные колеса! Не скрипят, а плачут навзрыд...

Всю ночь в голос рыдали арбы под окнами дома терпимости в Кастамону, первом городе внутренней Анатолии, который они увидели с Валей Нуреддином в конце января 1921 года.

Трое суток они шли пешком вместе с группой отставных офицеров, бежавших из Стамбула к Мустафе Кемалю. Их вещи, весьма немногочисленные, были погружены на мула, погонщик родом из Кастамону взял за это с каждого по две лиры.

Первый день шли все в гору да в гору по рыхлому талому снегу. Когда ведущий уставал, менялись - протаптывать тропу было нелегко. Особенно им, стамбульским мальчикам.

Ночевали в деревнях. В каждой деревне комнаты для гостей содержали всем мусульманским миром. Денег с постояльцев не брали, гость - божий человек.

Газеты сюда не приходили, а о радио не имели понятия. Путники были единственными источниками новостей. Узнав, что прибыли беженцы из Стамбула, крестьяне набивались в странноприимный дом, усаживались, поджав под себя ноги, на земляном полу.

Каждый входящий здоровался со всеми низким поклоном. Протягивал свой кисет: «Закуривайте моего!» Потом задавал те же самые вопросы: «Где гяурские войска? Что в Стамбуле? Когда конец войне?»

Угощение, тоже бесплатное, состояло из серых лепешек и мучной баланды на воде.

С 1911 года непрерывно отдавала деревня свою кровь на триполитанскую, две балканские, первую мировую и теперь национально-освободительную войну. Народ истощал, обмельчал. Мужчин в деревне можно было по пальцам пересчитать.

Дома в этих горных краях, как у озерных людей, стояли на

сваях. Но не над водой, над землей. За годы войн без мужчин сваи подгнили, дома осели, крыши прохудились... Горечь, такая горечь, черт побери!..

На четвертый день пришли в Кастамону, остановились в гостинице. Прежде чем отправиться дальше, нужно было передохнуть.

Кастамону славится красивыми женщинами. И сифилисом.

Молодежь, узнав о прибытии двух стамбульских поэтов, решила после шумного обеда «угостить» их знаменитым домом терпимости. Чтобы не обижать хозяев, пошли.

Дом помещался под скалой, на окраине. Полуразвалившийся, деревянный, двухэтажный. Но дверь дубовая, крепкая. Открыли им не сразу - сначала через глазок убедились кто.

Поднялись на второй этаж. Пол из струганых досок. По стенам, как башни, - горы матрацев, одеял, подушек. Связки лука, чеснока, корзины с овощами и фруктами подвешены прямо к потолку на крюках.

Вдоль и поперек всей залы под потолком - проволока, как в бурсской тюрьме в коридоре для свиданий, только на проволоках растягивались не черные, а белые занавеси. Из занавесок образовывались кабины - десять, двенадцать. В каждой расстилалась постель.

А женщины, бог мой, что за женщины! Назыму было восемнадцать, Вале - девятнадцать. И потому раскрашенные, размалеванные женщины казались им все до одной старухами. Ведьмами. Тогда были модны густые, сходящиеся на переносице брови.

Все они нарисовали себе именно такие. На щеках, на руках фальшивые родинки. Руки крашены хной, словно залиты йодом.

Грубые шутки хозяйка пресекала, - как-никак в заведение пожаловали благовоспитанные господа.

Им принесли по чашке ячменного кофе. Женщины своими руками свернули по толстой самокрутке. До половины заклеили ее своей слюной и протянули им, чтоб край скрепили языком сами.

Они сидели молча, подавленные. А за окном по дороге скрипели и скрипели арбы.

Переглянувшись, они поднялись. Сославшись на усталость, обещали зайти как-нибудь в другой раз.

По дороге при свете яркой луны, игравшей на потных спинах тощих быков, арбы под охраной солдат везли из голодных, нищих деревень продовольствие для повстанческой армии. За арбами шли женщины. Босые, с младенцами за спиной. Одна положила спеленатого ребенка на арбу рядом с отливающими синевой

снарядами. Горечь, черт побери, такая горечь...

До утра скрипели под окнами их комнаты в гостинице крестьянские арбы на сплошных деревянных колесах...

С далекого, освещенного солнцем склона, по которому ползла арба, скрип не долетал. Или ветер относил его в сторону, или гул тюрьмы заглушал все звуки. А может, просто до той арбы очень далеко, - утренний воздух, чистый и прозрачный, приближал далекие предметы, как увеличительное стекло.

По дороге, теряющейся среди садов, шла девушка с дорожной сумой - наверное, несла гостинцы в деревню. Завтра праздник. Самый большой мусульманский праздник - курбан-байрам. Жертвенные бараны, уже окрашенные синей, рыжей, красной краской, доживают последние часы. Во всех домах чистота, благолепие. Женщины с тряпкой в руках, словно художники, оглядывающие в последний раз свое творение, наносят последние мазки. Завтра праздник - их последний праздник вместе с Рашидом: осенью он выходит. В Адане, на самом юге, ждет жена. Три с половиной года. А ему, Назыму, сидеть еще двадцать три...

Самые веселые, радостные дни в тюрьме - дни свиданий и праздник. Пожалуй, праздник даже веселей: на свиданья приходят не ко всем, а праздник для всех праздник.

- Пошли!

Они выходят вместе с Рашидом в коридор. Из коридора по лестнице на майдан. Надзиратели отпирают и запирают за ними Железные двери.

Они входят в парикмахерскую. Надо привести себя в порядок. Завтра праздник. Все наряжаются как могут. Даже в камере голых стараются нацепить какую-нибудь обновку или по крайней мере выстирать черный от грязи мешок, который служит одновременно и костюмом, и рубашкой, и одеялом, и пальто. Хорошо, что курбан-байрам в этом году пришелся на лето - можно ночью несколько часов, пока высохнет мешок, просидеть в чем мать родила...

- С наступающим вас, ребята! Да будет острым ваш глаз и ваша бритва!

- С праздником!

- Счастья тебе, отец!

- Спаси аллах! Дай силы!

Кроме них с Рашидом, в парикмахерской четверо. Старый седой мастер, его подмастерье - длинный крестьянский парень с птичьим лицом. И два клиента на табуретках.

Тот, что сидит перед подмастерьем, кажется, из камеры голых. Так и сияет в предвкушении праздника: сигареты положат

по обычаю в общий котел - - накурится за весь год досыта, и наестся - из камеры в камеру пойдут с поздравлениями да угощениями, накормят голых до отвала.

Еще и тем праздники хороши, что в эти дни никого не надо бояться. Картежники, торговцы опиумом, паханы, их люди, готовые в обычное время утопить друг друга в ложке воды, в праздники замиряются. Или по крайней мере не подымают друг на друга руку. «Как-никак все мы братья по вере».

Триста шестьдесят два дня враги, а три дня в году - братья! - усмехнулся про себя Назым, садясь рядом с Рашидом на скамью в ожидании своей очереди. - И все-таки огромная сила - идея. Даже изжившая себя, такая, как вера в бога, если она становится народной... Пусть три дня в году, но люди чувствуют себя равными. Жалеют друг друга, или, вернее, себя в других - «все мы смертны»...

Равенство перед смертью? Ложь... «Умрем мы, как и рождаемся, одинокими и голыми»... Нет, умрем, кто как жил... Жизнь - пространство для выявления человеческих возможностей и способностей... «Я все думал, что учусь жить, а оказывается, учился достойно умереть». Достойно умереть - не значит ли исчерпать до конца свои возможности и способности человека?..

Три дня будут жить по-человечески. Что-то вроде коммуны... Если раскопать кучу религиозного навоза, в каждой вере у каждого народа одно и то же рациональное зерно. Утопический социализм - христианский, мусульманский, буддийский... Мечта о братстве людей... Через века, сквозь все наслоения донесена эта мечта... Вот вам и праздник!..

Как странно глядит на него в зеркале этот подмастерье! Без улыбки. Строго. Кажется, не ответил даже на приветствие...

Они медленно двигались в колонне к Красной площади. В его руке рука Лели Юрченко. Вокруг люди, флаги, портреты, песни. Турки поют «Первомайский марш». Мелодия русская, а слова его, Назыма, и он счастлив. Леля поет с ним по-турецки. Выучила слова...

Где-то чуть пониже Моссовета колонна КУТВа останавливается. Танцуют «Шамиля». Странный это танец: изображает намаз - молитву Шамиля перед боем. По преданию, шейх Шамиль, выходя на бой с царскими войсками, каждый раз обращался к аллаху за помощью. Парень в кругу изображает бой: становится на носки, вертится, как молния, в руках кинжал.

При всем уважении к героизму Шамиля Назым не любил этот танец. Он напоминал о делении людей на «неверных» и «верных» богу. Не братство в боге, а братство в революции, которая должна

уничтожить все, что разделяет людей, - веры, нации, расы, классы, - для этого они приехали в Москву, все его друзья, товарищи по КУТВу. И Первое мая было праздником их нового всечеловеческого братства.

- Гляди, наши пекари! - толкнул его в бок Шевкёт Сурейя.

На одной из боковых улиц в колонне демонстрантов, ожидающих, когда настанет их черед влиться в главный поток, в башлыках и шароварах-зыпка, обвислых на заду и стянутых у голени, под красными знаменами стояли турецкие мастеровые с Черноморского побережья. Пекари и кондитеры, они славились по всей Европе. Ценили их и в Москве в бывших пекарнях Филиппова.

На их красных флагах - звезда с полумесяцем. Лозунги на транспарантах написаны по-турецки арабскими буквами.

Китайские студенты тоже увидели своих соотечественников: множество их работало в прачечных Москвы. Назым заметил неподалеку Эми Сяо. Пристально, не отрываясь смотрел он на колонну своих земляков.

На нем была косоворотка. А когда Назым познакомился с ним, он был одет, как буржуа на плакатах, висевших по всему городу, - котелок, тройка в полоску, крахмальная рубашка со стоячим воротничком. Эми Сяо только что приехал из Парижа. Рассказывал, что часами мог стоять в Лувре перед «Джиокондой» Леонардо да Винчи - «влюбился».

Пришлось этому утонченному поэту, совместившему в себе древнюю китайскую культуру с западной, сменить одежку - мальчишки на улицах не давали ему прохода. Впрочем, у Эми Сяо был слишком хороший вкус, чтобы выделяться своей одеждой.

Рядом с ним Назым заметил Аннушку. Она крепко держала его за руку, словно боялась потерять. Через несколько месяцев Эми Сяо должен был вернуться в Китай. Назыма так и подмывало спросить, забыл ли он свою любовь к Джиоконде?

Эми Сяо перехватил его взгляд, помахал рукой. Колонна тронулась...

...И хорошо, что не спросил. В двадцать восьмом году в Стамбуле он узнал, что Эми Сяо погиб. Чанкайшисты отрубили ему голову. Топором. На площади. Он вспомнил этот день Первого мая на Тверской и много других дней. И написал свою первую поэму - «Джиоконда и Си-яу».

Вместе с флорентийкой Джиокондой, «чья улыбка знаменитей Флоренции самой», Назым на крыльях воображения прилетел в Китай, чтобы спасти своего друга, помочь китайской революции. Что он мог еще сделать?..

Они опоздали. Но
Я видел Джиоконду
как победу,
как знамя бунта
в лагере врагов...

Истинное искусство - всегда революция. Во имя человека. Оно опасно для того, кто думает превратить человека в орудие, для того, кто видит в человеке не цель, а средство... В поэме палачи сжигают Джиоконду. Но не могут сжечь ее улыбки...

Еще через десять лет в стамбульской тюрьме узнал он, что известие о казни Эми Сяо было ложным. Может быть, они еще и встретятся? Если только стены эти раздвинутся раньше, чем лопнет прессформа его грудной клетки...

...В колонне демонстрантов на подходе к гостинице «Националь» вдруг возникло какое-то замешательство. Впереди турок шли японские студенты. Крик, вопли по-японски, короткая схватка, и порядок снова восстановлен. Они ничего не успели понять - только видели, как трое милиционеров что-то уносят.

Оказалось, японские студенты заметили, что их снимают из-за угла. И узнали в «фотографе» агента своей политической полиции.

Большинство японцев приехало в Москву нелегально. Недолго думая, они разнесли на куски фотоаппарат и заодно, быть может, его владельца... Назым спросил у товарищей. «Так, потрепали немножко!»

Нет, это происшествие не омрачило им праздник...

Подмастерье побрил клиента из камеры голых. Помыл бритву в тазике. Принялся за стрижку. Голова была косматая, как у медведя. И вшивая.

Время от времени дирекция издавала приказы - всех постричь наголо. Но волосы росли у заключенных постоянно, а рвение начальства зависело от приближения инспекции.

Подмастерье и в самом деле глядел на Назыма как-то странно. Отворачивался, когда встречался с ним в зеркале глазами, словно был зол или обижен на него. Потом исподтишка наблюдал за ним... Может быть, какой-нибудь Хамди-ага тоже нанял его для мокрого дела? Парень, кажется, действительно сидел за убийство. И лицо знакомое... Нет, на наемного убийцу он не похож... Впрочем, кто их знает!.. В первые годы заключения нелегко было ему понимать арестантов-крестьян: когда они обижаются, когда сердятся, не сразу угадывал. Загадочные

созданья - как рыбы, живущие в море, ничего не зная о море, закрытые, словно устрицы. И вдруг - величие. Теперь-то он знал их вот так!..

В двадцать первом году в Кастамону он впервые увидел, как вешают человека. Это был крестьянин. Молодой парень, чем-то похожий на этого подмастерья. Он дезертировал из армии Мустафы Кемаля.

Словно мало было бесконечных войн, рекрутских наборов - объявили еще одну мобилизацию. Что мог знать тот крестьянский парень о войне за независимость? Опасность его родному селу не грозила, а за чужие села да за какую-то неведомую власть идти воевать, когда горы полны дезертиров, убежавших от власти самого падишаха? Ищите дураков!.. Кто мог, кто хотел ему растолковать, что на сей раз война другая? Издавна было известно единственное средство - страх. Наказать одного, чтоб другим неповадно было.

Этим занялись «суды независимости» - судейские тройки, Учрежденные Мустафой Кемалем по всей Анатолии. Работала такая тройка и в Кастамону.

Они с Валей вошли в здание школы, За учительским столом - господин в высокой папахе. На стене надпись: «Суд независимости не страшится никого, кроме аллаха». По бокам от папахи - два члена тройки. Класс полон народу - стоят и рядом с судьями и позади, так что кто там судьи, кто зрители, не сразу разберешь. Жандармы, расталкивая толпу, привели высокого худого парня в феске. На ногах у него были яркие красные туфли с загнутым носком и без задника. Тихий, скромный, благовоспитанный крестьянский сын. Судья в папахе спросил:

- Бежал?

- Бежал.

Папаха склонилась вправо, пошепталась. Склонилась влево, пошепталась и объявила:

- Смерть!

Приговор «судов независимости» обжалованию не подлежал. Парня вывели и тут же повесили на площади...

Назым был потрясен. Да, он писал стихи о любви к родине. О том, что всем ее врагам не сносить головы. Но этот парень, был ли он ее врагом? И потом, так запросто повесить человека в назидание другим? Все-таки человеческая голова не репка в огороде, чтоб ее взять и оборвать... Темный, неграмотный крестьянский парень - это одно, шпик тайной полиции с фотоаппаратом - совсем другое...

Быть может, именно с того дня, еще не до конца сознавая это,

он решил научиться разговаривать с крестьянином и в поэзии и в жизни. Не только понимать его, но и убеждать...

Все-таки взгляд подмастерья беспокоил его. Что-то в нем было необычное, непонятное...

Парикмахерский подмастерье Ибрагим действительно был зол на Назыма. Впервые он встретился с ним в том самом 1940 году, что и Рашид, в этой же самой бурсской тюрьме.

Ибрагим в семнадцать лет вместе с четырьмя односельчанами отправился продавать табак. По закону весь урожай надо было сдавать государственной монополии. Но сколько она платит?.. Ночью в горах их окружили жандармы. И за контрабанду посадили в тюрьму. Ибрагиму, как несовершеннолетнему, дали меньше всех. В тюрьме Назым написал его портрет. Среди многих других...

Осенью сорок второго года Ибрагим снова оказался в бурсской тюрьме. Вернувшись в родную деревню, убил своего односельчанина, с которым вместе сидел за контрабанду. Когда Ибрагиму выбрали невесту, тот решил силой ее отнять. Пришел к дому Ибрагима с пистолетом в руке: «Выходи, коли ты мужчина». Два выстрела прогремели в темноте одновременно...

На сей раз Ибрагиму из деревни Сеч предстояло провести в тюрьме целых десять лет. Многих арестантов, с которыми Ибрагим сидел в первый раз, уже давно освободили. Одни успели жениться, стать отцами, другие отошли в мир иной. А Назым все сидел в той же камере. И еще четырнадцать лет должен был сидеть после того, как выйдет на волю Ибрагим во второй раз.

В ночь под новый, сорок третий год узнал Ибрагим, что родственники убитого убили его отца Хасана-чавуша. Дома остались одни женщины. Мог ли он просить у них передачи?.. Надо было как-то зарабатывать на приварок.

Ибрагим рисовал портреты заключенных. Рисовал точно так же, как полтора года назад делал это, рисуя его собственный портрет, Назым. Ибрагим тогда следил за каждым его движением. Но Назыму ничего не сказал: знал обычаи мастеров. Тайно перенять их мастерство - хуже воровства. Другое дело, если б он поступил в подмастерья, платил за ученье почтением, деньгами, трудом. А так, подглядеть, как мастер работает, и потом повторять его приемы... Главное, что у Ибрагима получалось неплохо. По крайней мере в камере все считали, что его портреты похожи на оригиналы... Надо было бы сразу попроситься к Назыму в ученики. Но тогда он не решился: кто он такой, чтобы стать учеником великого поэта, он, Ибрагим, полуграмотный парень из деревни? Назым просто прогнал бы его прочь...

Ибрагим уверовал в это еще крепче после недавней встречи с ним у дверей начальника тюрьмы.

Это случилось после того, как он узнал о смерти своего отца Хасана-чавуша. На воле Ибрагим заработал бы себе на кусок хлеба - он умел пахать и сеять, жать, молотить, пасти скот. А в этих четырех стенах, без передач с воли?.. Он хотел жить.

Как раз в эти дни освободилось место подмастерья у одного из парикмахеров. Вот бы научиться брить да стричь: верный хлеб. Но не каждому в тюрьме разрешают эту работу. Тем более тем, кто сидит за убийство: у парикмахера в руке бритва. Нужно специальное позволение начальника.

Ибрагим отправился за позволением. Но никак не мог набраться смелости постучать в кабинет. Шутка ли, откажет начальник - и смерть Ибрагиму... Ходил взад-вперед у двери. Туда и обратно вдоль коридора. Все никак рука не поднималась. Подойдет, остановится и снова отходит.

И тут он увидел Назыма.

- Отец Назым, уста!

- Что тебе, сынок?

- Я Ибрагим, из деревни Сеч... Помнишь, рисовал меня?..

- Помню, помню.

- Признал, значит?

- Узнал, узнал.

- Хочу стать парикмахером...

- Прекрасно, стань, сынок!

- Но я слов не знаю, говорить не умею.

- Разве парикмахеру нужно уметь говорить?

- Хотел попросить разрешения у начальника... То есть я не умею просить. Попроси за меня, ладно? Ты говорить умеешь... Попроси за меня, тебе начальник не откажет...

- Карандаш у тебя есть? Дай, пожалуйста!

Назым взял карандаш, прошелся взад-вперед по коридору. Встал лицом к стене, что-то написал. Ибрагим решил - его прошение.

- Почему не на бумаге пишешь, отец? Как же будешь говорить?

- Что?.. Кому говорить?

- Ты же собирался сказать начальнику, чтоб мне разрешили стать парикмахером?

- А ты сам отчего не попросишь?

- Не умею...

- И уметь нечего... Прямо так скажешь все, что сказал мне...

Ибрагим остолбенел. Как он любил этого человека! И именно он не захотел за него вступиться. Ведь каждому встречному-

поперечному пишет прошения. А еще великий поэт, добрый человек!..

Обида была страшная. Ибрагиму все сделалось безразлично. Он постучал в дверь.

Не знал он, что когда Назым слагает стихи, то ничего вокруг не слышит, не видит. Отвечает машинально, ничего не понимая, и говорить с ним бесполезно...

Сидя на скамейке в парикмахерской, Назым вспомнил имя подмастерья. Встал за его спиной. Подмастерье не обернулся.

- Послушай, Ибрагим, я хочу тебя нарисовать. Вот таким, как ты в зеркале.

- Больше тебе рисовать не дамся!

- Отчего, сынок? Отчего, дитя мое? Ведь я уже рисовал тебя...

Сказать «я на тебя обижен» у парня не повернулся язык.

- Я сам рисую, вот почему! Назым успокоился.

- Значит, эти рисунки вокруг зеркала ты сделал?

- Я.

- А меня нарисуешь?

- Нарисую, конечно. Садись напротив.

- Прекрасно, сынок, вот я сижу... Только бумага у тебя не белая и карандаш твердый.

- Пусть, ты только сиди.

И крестьянин Ибрагим Балабан из деревни Сеч под Бурсой принялся за портрет Назыма Хикмета...

Через много лет Ибрагим Балабан вспоминал этот день так: «Зерно, прикоснувшись к земле, оплодотворяет ее. Лопается зерно, лопается милое. Так и цвет для моих глаз... Сегодня у меня гость, ни на кого не похож. Кисти довольны, краски празднуют. Алая - невеста невестой. Желтая - солнечный свет. Голубая - море. Сегодня у меня гость. Красная поцеловала его щеки. Желтая погладила волосы. Голубая - морем разлилась в глазах. Я рисую портрет - в моих глазах краски... Рост - невысокий. Лицо - улыбчивое. Глаза - голубое море. Волосы - солнечный свет. Удивился гость».

- Работает, ну точно как я, и карандаш так же держит. И насвистывает... - Назым не выдержал, вскочил со скамейки. - Не верю своим глазам, ну-ка посмотрим на портрет!

- Еще не готов.

- Неважно, неважно. Дай-ка сюда...

- Хорошо, держи...

- Похоже! Да, это я.

- Похоже, значит?

- И как еще. Ну точно Назым Хикмет... Есть у тебя еще

рисунки?

- Принести? Хочешь посмотреть?

- Ступай принеси!

Не чуя под собой ног, Ибрагим помчался в свою камеру. Схватил толстую книгу по истории - на пустых страницах делал он в ней свои рисунки.

Запыхавшись, примчался в парикмахерскую. Назыма там уже не было. Ибрагим прибежал к нему в камеру:

- Вот, принес.

- Где же рисунки?

- В книге.

Назым, перелистывая книгу, стал смотреть.

- Ты учился живописи?

- Нет.

- Кончал лицей?

- Нет.

- Среднюю школу?

- Нет.

- Начальную?

- Три класса.

- Отчего дальше не учился?

- У нас в деревне только трехклассная школа.

Назым вскочил, заходил по камере.

- А эта книга по истории чья?

- Моя.

- Прочел?

- Прочел.

- Понял?

- Да.

Назым умолк. Продолжая ходить по камере, поглядел через решетки на волю. На небе показалось огромное белое облако - как горы слоеного творога. Ибрагим проследил за его взглядом... Потом перевел глаза на гвоздику в горшке. Потом на книги. Сколько их было в этой камере! Ибрагим никогда не видел столько книг сразу - штук двадцать, не меньше!

Назым зашагал быстрее, словно не было перед ним стен. Но стены были, и, наталкиваясь на них, он поворачивал обратно...

Вот крестьянский парень. Нищий. Убийца. Три класса - не школа. А хочет учиться. Выучился рисовать.

- Где же ты научился рисовать?

- У тебя научился.

- У меня? Как так, я ведь тебя не учил!

- Но мой портрет рисовал?..

- Ну и что?

- Взял кисть и вот так держал ее напротив полотна, напротив меня. Вот так...

- Да, так...

- А потом вот так... И свистел...

Назым обнял Ибрагима, расцеловал его. Ибрагим и сам не понял, отчего на глазах у него выступили слезы. И вдруг стало легко, словно вырвали ноющий больной зуб...

Назым ходил по камере. Ибрагим следил за его шагами... Перед ним был поэт, как Ферхад, прорубивший гору, как легендарный герой Кёроглу, великий человек, и он занимается им, его рисунками... Если б только позвал к себе в подмастерья... Но кто он такой - нищий, темный парень из деревни...

Назым ходил по камере... Чертовски талантливы бывают эти дикие крестьянские дети! Вот один из них, из гениев, заживо погребенных в невежестве и нищете. Помочь ему, но как?.. Легко любить народ, писать о нем оды. Куда трудней любить Ибрагима из деревни Сеч, вот этого самого парикмахерского подмастерья, контрабандиста и убийцу своего земляка... А он ли виноват в том, что он дик, что убил?..

Назым остановился. Ибрагим глядел на него, не спуская глаз. Как глядят на отца, на любимую.

Назым снова обнял его:

- Сын мой!

Они сели друг против друга... Мать Ибрагима была лучшей в деревне мастерицей. Целыми днями, бывало, мог он мальчишкой смотреть, как она вышивает. Долго упрашивал мать, прежде чем она дала ему пяльцы. Его первый орнамент удивил ее: «Тебе бы девкой родиться, сынок!..» Потом в деревенской школе задали нарисовать ишака. Учитель всем показывал его рисунок: «Вот как надо рисовать ишака!..» В одиннадцать лет, как все деревенские дети, Ибрагим пошел работать в поле. Но стоило попасться в руки клочку бумаги, рисовал, что видел, - птицу, волка, тучу, дерево, соху... Если б этот великий человек взял его к себе в подмастерья, если бы только взял...

- Когда выйдешь на волю, что будешь делать?

- Рисовать. Хочу рисовать. Скажи, что для этого нужно?

- А в деревню вернешься?

- Вернусь.

- А убийцу отца убьешь?.. Один из твоих земляков мне сказал: как только вернется в деревню Ибрагим, сразу прикончит убийцу отца... Тебя снова посадят. И ничего из тебя не выйдет. А станешь художником, отец будет жить. В каждой твоей картине. Скажут: это сын Хасана-чавуша нарисовал. Дай слово, что не станешь убивать...

...Дверь шестьдесят девятой камеры распахнулась с грохотом.

- Что такое? Напугал нас, Ибрагим! Кто так входит в камеру, болван!

- Ура, я стал подмастерьем! Ура!..

...Три раза в неделю стриг и брил Ибрагим заключенных. А три дня работал теперь как подмастерье у мастера - мыл кисти, готовил холсты, смешивал краски. Чем еще он мог отплатить за ученье? И каждый день рисовал портрет одного из соседей по камере. Карандашом.

Прошёл месяц. Стояла жаркая, душная тюремная осень. Под вечер Ибрагим, как открывают дверь класса, открыл дверь назымовской камеры. И остановился на пороге.

- Заходи, заходи, показывай, что у тебя?

- Пожалуйста, посмотри новый рисунок. Назым взял рисунок.

- С графикой у тебя неплохо.

- А что такое графика?

- Рисунок линиями, карандашом или пером... Кажется, я знаю этого парня... Лихой. Как зовут его?

- Осман Халач из деревни Богаз.

- Верно, глаза у Османа точно такие... Я ему протест в прокуратуру написал... Помню его дело... И нос точно такой у него. Совсем не драчливый. А рот, погляди, какой рот! Как нож без рукояти!

- Как нож без рукояти?

- Ну да. Кулацкий сынок застал сестру Османа в поле и изнасиловал. Как, по-твоему, что оставалось Осману?

- Прикончить мерзавца.

- Он его и прикончил. А иначе что бы ему делать в тюрьме? Дали Осману восемнадцать лет. Я написал протест. В высшей инстанции отменили приговор. Суд снизил наказание до двенадцати...

- Верно, так оно и было. Осман мне говорил... Он так тебя любит...

- Вернемся, однако, к портрету. Зачем ты рисуешь?

- Чтоб рисовать еще лучше.

- Будешь рисовать еще лучше, а что из того?

- Прекрасный рисунок будет,

- А еще?

- А что еще? Не знаю.

- Удивительное дело, милый мой!..

Дверь камеры отворилась. Вошел Рашид. Усталый,

запыленный, потный. Только что вернулся с работы - дробил камни на дороге. Поглядел на рисунок.

- Ибрагим рисовал?

- Да, он. Прекрасно стал рисовать, а зачем - не знает. Что ты на это скажешь, Рашид?

- Откуда ему знать? Разве я знал, зачем пишу? Погоди, придет время, узнает и он.

- Конечно, узнает. Если так дальше пойдет, из парня толк будет. Станет примером для всей деревни...

Ибрагим вернулся в камеру задумчивый. Его соседи по камере то же самое говорили: «Что рисуй, что не рисуй - все одно, толк-то какой?»

«Тьфу, да разве они понимают, что я не могу не рисовать?! Темный народ...»

Но и отец тоже спросил: «Для чего ты рисуешь?» Ответил: «Чтоб еще лучше рисовать». - «Ну и что из этого?»

«Тьфу ты, выходит, он то же самое спрашивал. Ну, хорошо, прекрасный рисунок можно повесить на стену. А что еще? Почем я знаю, что еще! Что-то в этом должно быть, наверное! Буду работать - найду. Я ведь только-только поступил в подмастерья - зеленый еще. А все-таки?»

Вот сидит Осман. Вот его портрет.

- А ну, Осман, сядь-ка напротив меня. Нос у тебя совсем не драчливый, не бедовый. Что это значит?

Осман расхохотался.

- Ничего у меня на носу не написано.

Не написано, это верно. Отчего же мастер так сказал?.. Вот что надо узнать, найти. «Рот - нож без рукояти». Это что значит? Нож, что значит нож?..

- Острый! Тонкий! Злой! - вдруг завопил Ибрагим во весь голос.

- Ты что, рехнулся?!

- Нет, пытаюсь найти...

- Что?

- Готово. Рехнулся!

- Готово, нашел! Нож, значит, что-то острое, тонкое. Рот у Османа как нож без рукояти - нате, глядите, - так и нарисован!

Камера хохотала до слез…

Все чаще ловил себя на мысли Назым, что видит в этом деревенском парне себя девятнадцатилетнего. Что, казалось, могло быть общего между внуком паши, учившимся в аристократическом лицее, и крестьянином из-под Бурсы, попавшим в тюрьму за убийство? А вот поди ж ты, оба они,

кажется, начинали с одной и той же отправной точки, если только сердце можно назвать точкой...

«В любви нашел я исцеленье для сердец...» - писал Назым в четырнадцать лет. Пожалуй, это было не только данью литературной традиции...

...Он увидел себя пятилетним ребенком в дервишском плаще-хырка, в крошечных бабушах - туфельках без каблука, с загнутым кверху носком - входящим в мечеть впереди деда. То была знаменитая обитель ордена дервишей Мевлеви, основанная в Конье Джелялэддином. А дед его, Назым-паша, был губернатором Коньи... Впрочем, видел он себя пятилетним не по памяти, скорей, по рассказам домашних. В его памяти остался только цвет изразцов, покрывающих шатровый купол мечети, где погребен прах Мевляны. Удивительный цвет! Не то опрокинутое в море небо, не то отражение неба в морской воде. Да еще музыка и пенье до сих пор звучат в его ушах... Еретик был Джелялэддин, еретик - флейту, бубен, пенье и танец ввести в мечеть в XIII веке! Веке аллаха жестокого и сурового...

До самозабвения кружились под музыку дервиши. И миг забвения себя был мигом слияния с богом, что разлит в мире, как сок в ветвях дерева. «Халь» - так звался этот миг. Без памяти падали дервиши на пол мечети, и в сердце мира билось их сердце в этот миг. А пение - странные признанья в любви к истине, воплощенной в камне, в соловье, в человеке, признанья в мистической любви к аллаху, растворенному во вселенной, - пенье продолжалось: «Зашей глаза, пусть сердце станет глазом, и мир представится тебе совсем иным...»

Джелялэддин не первый на земле, но, пожалуй, сильнее многих других ощутил разрыв между должным и сущим, казенным, божеским и человеческим, личным, между головой и сердцем. И почуял запах разложенья: человек, превращенный в инструмент, перестает быть человеком.

Джелялэддин Руми отказывался принимать этот, как сказали бы мы ныне, феодальный мир, принимать и понимать его. В жизни тогдашней Анатолии, в империи сельджуков не было почвы, на которую мог бы он опереться в своем протесте. И, отказавшись от разума в пользу сердца, Джелялэддин создал утопию - нравственно-этическую утопию единения человека с миром, с другими людьми в мистической любви. Вот о чем говорили метафоры его стихов, метафора его культа сердца.

Всякая утопия, в сущности, есть метафора. И часто в утопии, рожденной на почве одной общественной формации, когда следующая формация снимает противоречия предыдущей, обнаруживается зерно истины, а научная общественная теория

обнаруживает утопические черты. Чудаки утописты и мистики оказываются подчас мудрецами будущего, а мудрецы и ученые прошлого - утопистами.

«Или кажись тем, что ты есть, или будь тем, чем ты кажешься», - возглашал Джелялэддин Руми.

Не только сердце должно быть право, но и голова.

Последовавший за феодальным общественный строй, европейская буржуазная трезвость в качестве антитезы мистическому культу сердца: «Зашей глаза», противопоставили гипертрофию разума. Даже великий Робеспьер был рационалистом, нечеловечески сухим педантом. Мещанский убогий практицизм. В своем завершенном виде принял формы фашизма: все дозволено ради пользы и нет никакой нравственности, совесть и сердце - химеры.

Только эра социализма предвещает возможность полного, неразрывного слияния сердца и головы.

И в этом синтезе, наверное, равно важны и Восток и Запад. Восток, знающий все о человеке - от медицины до психологии - куда глубже Запада. И Запад, стремящийся познать все о мире, который его окружает, направивший свой взгляд не внутрь, а вовне. И если путь людей Востока к этому синтезу лежит через овладение научным аналитическим подходом к действительности - от себя к миру, то путь людей Запада - от мира внешнего к миру внутреннему. Нет, не случайно попытку превратить социализм из теории в живую реальность первой сделала страна, географически и духовно лежащая между Азией и Европой, страна, где он провел лучшие годы своей молодости, страна, куда привело его в поисках разума его сердце...

Выйдя из редакции «Сервети Фюнун», они шагали по горбатой мостовой. Позади осталось здание Высокой Порты -- султанского правительства. На этой горбатой и кривой улочке Бабыали издавна помещались редакции и типографии - султан любил держать прессу у себя под рукой. Громко разговаривая, они миновали гробницу султана Махмуда и направились к колонне Константина, или, как ее называют стамбульцы, Закованной колонне. Установленная еще византийским императором Константином I, колонна во время грандиозных стамбульских пожаров обгорела, почернела и растрескалась. И султан Абдул Хамид I, опасаясь, что она рухнет, велел заковать ее в железные обручи. На площади, у подножья этой колонны, собиралась в многочисленных кофейнях литературная молодежь.

Стоял жаркий летний день 1920 года. Но они не замечали ни жары, ни безоблачно синего неба, ни древних камней, ни сверкающего меж домами Мраморного моря - все это окружало их

с детства, изо дня в день. Они были взволнованы до чрезвычайности.

Оккупанты превратили султана в куклу, повиновавшуюся каждому мановению их пальца. Чтобы усидеть на престоле, он ставил свою печатку под любым их распоряжением. Антанта поручила греческой королевской армии навести порядок в непокорной Анатолии, и султан объявил вне закона повстанцев во главе с Мустафой Кемалем. Греческие армии продвигались в глубь страны, занимая один город за другим. Турции грозило окончательное порабощение.

И тут, как два призыва к молитве, раздались два смелых голоса. Поэт Сюлейман Назиф выступил на богословском факультете с лекцией-призывом к восстанию мусульман всего мира в защиту сердца ислама - Османской империи. И как бы в ответ ему прозвучал на митинге перед мечетью Султана Ахмеда непривычно тонкий, высокий голос другого оратора - женщины, голос писательницы Халиде Эдиб. На ней было черное головное покрывало, лицо закрыто. И среди толпы, колыхавшейся на площади, было много таких же покрывал - черное траурное море с кровавыми волнами красных фесок и белой пеной чалм и тюрбанов. Халиде Эдиб взывала к милости и благоразумию держав: уничтожение турецкой государственности, утверждала она, противоречит принципам президента Вильсона. Женщина подавала пример мужчинам. Это ли не национальный позор!

Вот о чем говорили они, юные литераторы, по дороге к Закованной колонне. В соответствии с тогдашней модой кисточки их отутюженных конусообразных фесок были откинуты назад, из-под сюртуков блистали белизной крахмальные манишки.

Лишь у одного, самого высокого, стройного, юноши феска была без кисточки и едва держалась на огненно-рыжей курчавой шевелюре, костюм - в пятнах и пепле. Ноги он ставил косолапо, носками внутрь и, самое странное, брил усы, что было чрезвычайной редкостью в тогдашнем Стамбуле, а вместо них носил пышные курчавые баки.

Он шел на шаг впереди остальных. Размахивал руками, то и дело оборачивался, говорил во весь голос, глядя собеседнику прямо в лицо, и при этом рубил ладонью воздух.

В свои семнадцать лет он был самым модным поэтом в тогдашних литературных салонах Стамбула.

Несмотря на небрежную внешность, а может быть, именно благодаря ей молодой поэт пользовался постоянным и благосклонным вниманием нежного пола: женщины тоньше и острей чувствовали скрытую в нем силу, казавшуюся сверстникам всего лишь неуравновешенностью. Не отказывая во взаимности,

молодой поэт, однако, часто бывал с ними весьма нелюбезен. И с девушками и со старшими. Он держался независимо до грубости, говорил, что придет в голову, не обращая внимания, задевает ли это кого-либо из присутствующих. И только тем, кого уважал и любил, оказывал и внешние знаки почтения.

С легкой руки Яхьи Кемаля в литературной среде началось повальное увлечение «эпохой тюльпанов», придворным поэтом Недимом, жившим в начале восемнадцатого века и прославлявшим плотские радости и наслаждения в то время, как рушилась Империя и все вокруг шло прахом. История как будто повторялась, и литературная молодежь вслед за Яхьей Кемалем пыталась использовать традиции Недима, чтобы забыться на пиру во время чумы.

Газета «Алемдар», поддавшись моде, объявила конкурс на тему Недима «Сердце».

В годы мировой войны возникло в турецкой поэзии течение, получившее наименование хеджеистского, - к нему принадлежали поэты, пишущие силлабическим народным стихом хедже. Во время войны хеджеисты слагали ура-патриотические оды, а теперь, после разгрома, постигшего страну, их напыщенная Декламация, растоптанная, как дымный гриб, обернулась томными облачками грустных воздыханий и лирических безделиц.

Один из хеджеистов прислал на конкурс следующие строчки:

Мое сердечко - мотылек,
С цветка порхает на цветок...

Рыжеволосый поэт в феске без кисточки, шагавший по мостовой впереди товарищей, прислал в газету свой ответ:

Мое сердце - орел. Где увидит красавицу,
Из поднебесья в атаку кидается.
За любовь проливает кровь,
Оттого-то и клюв его алого цвета...

Говоря по правде, тон был взят чересчур высокий. Но вместо того чтобы закончить стихотворение шуткой или иронией, поэт выдержал его до конца - слишком уж раздражало бессильное мотыльковое бормотание. Стихотворение произвело эффект и даже получило премию.

В салоне известного поэта Джеляля Сахира - там собирались и молодые поэты и хеджеисты старшего поколения Юсуф Зия,

Орхан Сейфи, Фарук Нафыз - только и было разговоров, что об «орлином сердце». На очередном вечере, где обсуждался новый сборник стихов, которые регулярно выпускал Джеляль Сахир, хозяин дома подошел к герою дня и, осторожно взяв его под локоть, обратился к собравшимся:

- Господа, мне думается, я не ошибусь, если от вашего имени скажу нашему юному другу: мы давно ждали, когда в турецкой поэзии появится настоящий мужской голос, который избавит ее от расслабленной сентиментальности. И вот он, наконец, прозвучал...

Поэт, хотя и был явно польщен, тем не менее воспринял похвалы как должное. А как же могло быть иначе!..

Вскоре он перестал ходить к Джелялю Сахиру. «Старики» - этим старикам было тогда лет по тридцать - так и не удосужились сменить свое бормотанье на что-нибудь более полезное для страны. Мало того, они сотрудничали в печати, существовавшей на английские деньги.

Правда, они не выступали против движения в Анатолии и писали стихи не арузом, а хедже, как договорились в самом начале, когда Джеляль Сахир задумал выпускать свои сборники. Но теперь этого было уже недостаточно.

Назым Хикмет - это был он - увел из салона Джеляля Сахира и своих молодых друзей Валю Нуреддина, Неджаметтина Халила, Эмина Реджеба и молодую поэтессу Халиде Нусрет. Они решили выпустить свой сборник «Черная роза», но на это не хватило ни денег, ни времени.

Назым и Валя не бывали дома. Родители Назыма разошлись, семья распалась. А у Вали еще раньше умер отец.

Стамбул кипел. В кофейнях на площади у Закованной колонны, в квартале Шехзадебаши, за столиками, стоявшими прямо на улице у мечети Баязида, на площади Султана Ахмеда - в самом центре мусульманской части города - говорили только о Мустафе Кемале и его нуждах, о султанском фирмане, объявившем вождей повстанческого движения подлежащими смертной казни. Подпольные организации националистов собирали в оккупированном Стамбуле деньги и оружие, переправляли верных людей в Анатолию. Назым Хикмет, Валя Нуреддин и их друзья проводили в кофейнях, в редакциях газет на Бабыали целые дни. Ночевали то у друзей, то у возлюбленных. А чаще всего в особняке Селима-паши, в квартале Шехзадебаши. Этот паша владел особняком и на азиатском берегу Босфора, по соседству с домом Назыма-паши, и слыл большим любителем поэзии и литературной молодежи. Двери его городского дома были всегда открыты. Завсегдатаи знали секрет - стоило

приподнять створки, и двери распахивались сами собой. Ночью, освещая дорогу спичками, поднимались по деревянным ступеням на второй этаж - электричества в доме не было. На площадке предусмотрительные хозяева оставляли огарки свечей. С этими огарками в руках разбредались по многочисленным, постоянно пустовавшим комнатам, доставали тюфяки и постели из вращающихся стенных шкафов.

Особняк был оборудован по старому турецкому образцу. Стенные шкафы выходили одной стороной на мужскую половину, другой - на женскую. На день постели убирались в шкаф, и женщины, повернув их, сменяли белье, не входя в запретный контакт с посторонними мужчинами.

Утром мальчишка из кофейни напротив, зная, что за гости ночуют в особняке, таким же способом, как они, проникал в дом и, заглядывая в комнаты, предлагал чай, кофе, бублики. Позавтракав в постели, молодежь складывала тюфяки, простыни и, никому не сказавшись, уходила по своим делам, как пришла. Иногда по утрам к ним заглядывал зять Селима-паши, Он любил раздавать советы. Набив рот пловом или жуя бублик, ораторствовал, а молодежь волей-неволей была вынуждена слушать - как-никак хозяин дома.

- Дети мои! Вот вам мой братский совет! Будьте пьяницами, картежниками, развратниками. Не беда! Покаетесь - и простится... Скажу больше, будьте ворами или даже убийцами! Покаетесь - и простится. Но только, дети мои, не вздумайте...

Тут он для вящего впечатления делал паузу и внимательно глядел на лица слушателей. Те недоумевали: что еще остается, если можно воровать и убивать?

- Не вздумайте только, - продолжал зять Селима-паши, - утерять в сердце своем страх божий. Ибо тогда вам не будет прощенья...

Страх - вот на чем зиждилась патриархальная религиозная мораль. Это было не похоже на веру Назыма-паши: тот вслед за еретиком Джелялэддином проповедовал «любовь».

После военно-морского училища - там молитвы и пост были обязательны - Назым перестал ходить в мечеть и творить намазы. Но он верил в бога. Вернее, ему и в голову не приходило, что тот может не существовать. И вот в особняке Селима-паши, слушая наставления его зятя, он вдруг подумал, нет, не о том, есть ли бог, а о том, что верующие творят добрые дела в надежде на награду - рай или бессмертие. А не грешат лишь из страха, боясь угодить в ад. Рабство, неволя такой веры поразили его. Возмутившись, он раз и навсегда решил делать то, что должен делать, не заботясь о награде и не страшась наказания...

Споры о литературе и политике в отелях, кофейнях и редакциях газет, салонах и поэтических кружках были его первым университетом. Кого только не встречал он в эти летние месяцы в оккупированном Стамбуле, - профессоров, актеров, журналистов, полицейских комиссаров! Впервые в жизни Назым был сам себе хозяином, сам выбирал свой путь.

Джеляль Сахир стал потом депутатом, Хасан Сака - с ним они часто встречались в то время - премьер-министром. Назым стал поэтом революции...

Подойдя к кофейне у Закованной колонны, где они с Валей Нуреддином назначили в тот день важное свидание, Назым вдруг сорвал с головы феску и что есть силы швырнул ее на землю:

- Ах, если б только я был на месте этого смертника!

Товарищи не удивились его горячности. Сегодня он где-то вычитал о подвиге французского офицера. Корабль, на котором тот служил, был торпедирован в правый борт. Чтобы уравновесить крен, нужно было открыть отсек на левом борту. Увидев, что дверь повреждена и может быть заперта только изнутри, офицер вошел в отсек, запер за собой дверь и пустил воду. Он погиб, но корабль был спасен.

Вот о чем рассказывал Назым своим приятелям по дороге к Закованной колонне. Глаза его сверкали, он то и дело поглядывал на корабли вражеской эскадры, стоявшие на бочках в Босфоре. Если бы только ему представился случай, нет, не спасти эти корабли, а подорвать их, чтобы избавить страну от унижения и позора, он, не задумываясь, пожертвовал бы собой...

Откуда было знать ему в семнадцать лет, что у него иная миссия? Жить, чтобы жизнью своей утвердить справедливость своей идеи.

Подняв с земли феску, он отряхнул ее о колено. Прижал рукой курчавые волосы, насадил феску на голову и вслед за товарищами вошел в кофейню. Там их уже ждали...

- Да, входите! Добро пожаловать! В камеру вместе с Ибрагимом вошел Вели по прозвищу Сазджи, то есть игрок на сазе, большой любитель музыки.

- Здравствуй, отец!

- Давай, Ибрагим, давай посмотрим на твою работу.

Ибрагим протянул портрет.

- Пусть постоит, потом поговорим.

Назым обернулся к Вели.

- Что у тебя там, Вели? С чем пожаловал?

- Напиши мне прошение, отец.

- Что за прошение? Ты ведь на днях должен был выходить?

- И вышел. Только вот снова попал.

- Как же так? Ну и ну! Теперь за что?

- Девку умыкали, ну и между делом пришлось стукнуть человека.

- Убили?

- Этого не знаю, только знаю, что я погиб.

- Что значит - погиб? Не выйдешь больше из тюрьмы, что ли?

- Нет, отец, я погиб.

- А, понял! Погиб - по-вашему значит влюбился... Так, что ли?

- Да.

- Ну, рассказывай, как дело было. Выкладывай все как есть. Подумаем, что можно сделать.

Вели растерянно оглянулся на Ибрагима, точно ища подмоги. Потом устремил взгляд через решетки на волю и, словно беря аккорд на сазе, повторил:

- Я погиб... Только вышел из кутузки, сижу перед кофейней в деревне. Девушки пошли за водой к источнику. Такую я среди них увидел - помилуй бог! Попросил у нее воды. Не дала. Я погиб.

- А если б дала воды, не погиб бы?

- Если б дала воды, значит пошла бы за меня. Но что поделать, девка с другим сговорена.

- А не была бы сговорена, пошла бы за тебя?

- Может, и пошла,

- А ты с ней не говорил?

- Нет. Ни разу.

- Слыхал, подмастерье? И ты тоже так влюбился?

- Да, мы так любим, точно так.

- Удивительное дело! С первого взгляда. Даже до руки не дотронувшись...

- Так.

- А ты был влюблен, Ибрагим?

- Был. Как-то раз на лугу увидел девку в одной рубахе и панталонах. Шла вброд через ручей. И погиб. Я из-за нее, она из-за меня. Вошла в дом с серебряными нитями в волосах, стала моей женой...

- Отчего же она не приходит к тебе? Я ни разу ее не видел?

- Ты непременно должен был ее увидеть. Ведь ты мой мастер. Но теперь и я больше не увижу ее.

- Отчего? Что стряслось?

- Рожала в поле... Мне сказали родные... Умерла.

- Ах, сын мой! В поле, значит?..

Молчание, тяжкое молчание заполнило камеру. Назым взволнованно заходил из угла в угол. Что горожане знают об их

любви? И что они знают о нашей? Мы называем одним и тем же словом разные вещи. И удивительно, что еще понимаем друг друга. Впрочем, и слова разные: мы говорим - полюбил, они - погиб. Мы - признался в любви, они - бросил яблоко, мы - отказала, они - не дала воды. Их язык точней и образней... Но любовь, что за странная это любовь...

В семнадцать лет он назначил первое в своей жизни свидание. Кадыкёй на азиатской стороне был тогда еще мало застроен. Они с Мариной, греческой девушкой, прислуживавшей в доме Назыма-паши, встретились на склоне холма. Он назывался Нарциссным полем. Там и правда было много нарциссов. Его сердце стучало, как колокол. Губы Марики пахли миндалем. Она принесла его с собой в кулечке, жареный соленый миндаль... А Ибрагим, Вели и тысячи, десятки тысяч крестьянских парней, как их отцы, деды, влюбляются, даже не коснувшись девичьей руки... Быть может, в отношении между мужчиной и женщиной - это ведь одновременно и отношение людей друг к другу и отношение их к природе - и выясняется, насколько человек стал человеком... Что можно было понять в его собственной жизни, в его поэзии и даже его борьбе, не зная о его любви? Для иных, может, и не обязательно знать об их любви - важнее знать об их отношении к деньгам, к власти, жратве и питью. Но для него это так - нужно знать его отношение к женщинам, чтобы понять его самого - каждая любовь, не меньше, чем убеждения, сказывалась и на его жизни и на его поэзии.

Любовь - это целый мир. Он рано постиг его премудрости. Торопился. Но всю жизнь чувствовал себя новичком. Точь-в-точь как в поэзии. В юности в оккупированном бурлящем Стамбуле, проводя свои дни в кофейнях, на поэтических сборищах, в редакциях газет, он влюблялся часто и каждый раз на всю жизнь. Может, здесь тоже сказалась традиция. Но, верней, потребность в самоутверждении, самопознании. Достоин ли ты любви, можешь ли быть любимым и любить, - только убедившись в этом, юноша становится мужчиной.

Да, целый мир, с враждой и самоотверженностью, подвигами и предательством, своими законами - строгими и беспощадными, как в природе. Кто в юности не мечтает о любви, которой можно отдать себя всего целиком, оставаясь самим собой, любви, которой унизительны ничтожные хитрости самолюбия. Но почему-то большинство со временем смиряется, с годами приходит к убеждению, что любовь, как и все в жизни, это, в сущности, компромисс. А он?

Тогда же, в семнадцать лет, его постигли и первые

разочарования. Он был влюблен без памяти, и она отвечала ему, казалось, тем же. Как-то они разломали куриную косточку. Есть такая игра «Помни - помню!». По-гречески ее называют «Ладос». Разломав косточку, ты не имеешь права ничего брать из рук партнера, не сказав «Помню! Помню!». Не скажешь - проиграл. Они разломали косточку. И она стала при нем расчесывать длинные великолепные черные волосы. Он смотрел на нее, как на картину, - нельзя выказать большее доверие, чем позволить мужчине присутствовать при туалете. И вдруг, усевшись к нему на колени, она протянула черепаховый гребешок: «Расчеши мне волосы, милый!»

Забыв обо всем на свете, он провел рукой по ее волосам, взял расческу.

Она вскочила с колен и, захлопав в ладоши, закричала: «Ладос! Ладос!» Расческа выпала из его рук и разбилась на мелкие кусочки... Казалось бы, наивная игра. Но было обмануто доверие. Он был так открыт в ту минуту, что любой толчок локтем, даже самый легкий, приходился прямо в сердце. Впрочем, он написал об этом стихи...

Если бы это было самым большим из ожидавших его разочарований! И все-таки он не смирился. Нет, любовь не компромисс - если она им стала, то перестала быть любовью. По крайней мере так это было для него. Но что он мог объяснить вот этим крестьянам? Что поняли бы они из его юношеских стихов о черепаховом гребешке? Да и вообще из его стихов о любви...

Назым обернулся. Посмотрел на застывших в почтительном молчании крестьянских парней.

- Да, так на чем мы остановились, Вели?

И Вели рассказал.

С тех пор как увидел ее у источника, глаз не мог сомкнуть. Решил, единственный выход - украсть. Сговорился с приятелем, позвал на помощь брата, и ночью вошли в ее дом. На ощупь нашли постель девушки, подняли и вынесли на улицу.

- Ах, черт, прямо так, спящую, и украли? - ужаснулся Назым.

- Прямо так, спящую, и украли. Бабушка ее проснулась. Но вместо того чтобы звать на помощь, стала творить молитву - верно, решила спросонья, что внучку утащили джинны...

Заткнули невесте рот платком и понесли в сады у деревни. Здесь, однако, все сложилось не так, как задумали. Приятель вдруг объявил, что девка - его. Началась драка. Пока они дрались, девица возьми и убеги. Приятель стал его душить, Вели схватился за нож...

Когда он ушел, Назым долго ходил по камере, пощипывал

усы и бормотал: «Вот так рассказ... Нет, не понимаем мы крестьян. Мы - интеллигенты... Вот вам любовь!..»

Наконец увидел рисунок Ибрагима. Остановился.

- Молодец, подмастерье! Какое выражение лица! Рот искривлен печалью, а глаза сияют надеждой. По-моему, никто еще не сумел это так совместить. Как ты сумел?

- Не знаю.

- Вот те раз! Как же это не знаешь? Станешь мастером только тогда, когда будешь знать! Ты слышал, что рассказал Вели?

- Не только слышал, сам видел не раз, сам пережил!

- Ага! Сам пережил! Надо работать, не забывая себя, не отрицая... Пойдешь против себя - пропал. Ты ведь не каштановый орех. Тот, чтобы стать деревом, должен исчезнуть, изжить себя. А ты, наоборот, чтобы вырасти, должен себя найти, утвердить. Впрочем, хватит, ты вряд ли еще можешь меня понять!.. Хватит на сегодня.

Ибрагим приложил руку ко лбу. Попрощался. Вышел из камеры...

...Легко сказать - найти себя. Большинство людей живут на белом свете, даже не сознавая себя. Жизнь устроена так, что постоянно требует отказаться от себя - в пользу бога, государства, родины, идеи, родной деревни, общественного мнения. Потерять себя куда проще, чем, не утратив ни веры, ни родины, ни идеи, обрести себя, утвердить. И еще - нельзя обрести себя как личность раз и навсегда. Это как любовь - постоянный пожизненный труд. Сколько живешь, столько утверждаешь или теряешь себя - каждым своим поступком, в каждый миг...

Для него первым шагом к себе был, пожалуй, тот последний день двадцатого года, когда они встретились с Валей Нуреддином у Галатского моста в пивной «Дженьо».

Над городом стояла зимняя дымка. Воды Золотого Рога и Босфора были серы. Прохожие, шагавшие по мосту, зябко кутались в свои одежки. На Вале было старенькое коротенькое пальтишко коричневого цвета. Ботинки в заплатах. В одной руке - коричневый кожаный чемодан, в другой - портфель, доставшийся по наследству от покойного отца. Тощий, голодный юноша. Все имущество Назыма помещалось у него под мышкой - пара чистого белья, завернутая в газету, на голове - феска без кисточки, а на ногах - потертые полуботинки. Серое пальто с бархатным воротником. Зато в кармане позванивали денежки - он только что продал бинокль, подаренный дядей, единственную свою драгоценность.

Выпив по кружке пива, приятели поднялись в гору, миновали

закованную в обручи колонну и зашли в отель «Махмудие», рядом с гробницей султана Махмуда. Здесь они провели свою последнюю ночь в Стамбуле...

...Перебраться в Анатолию к повстанцам, увидеть все своими собственными глазами они задумали с Валей еще летом. Жить в оккупированном Стамбуле стало невыносимо.

В тот день, когда Назым рассказывал своим товарищам о подвиге французского морского офицера и в бессильной ярости швырнул оземь феску, они встретились в кофейне у Закованной колонны с полицейским комиссаром. Этот комиссар был связан с кемалистским подпольем в Стамбуле. Он и приготовил теперь для них фальшивые документы. По ним Валя числился торговцем яйцами, а Назым - торговцем шерстью, оба отправлялись в Анатолию по торговым делам.

Деньги на дорогу они получили у некоего Шевки, который занимался зубоврачебной практикой неподалеку от вокзала Сиркеджи. Ни до, ни после никогда больше не встречали они этого человека.

Ранним утром 1 января 1921 года они подошли к пристани Сиркеджи. Утро было холодное, промозглое. У пристани стоял старенький пароходик под названием «Новый мир». Откуда им было знать, что этот крохотный пароход завезет их действительно в совсем иной мир. А может, если б знали, какой им предстоит путь, у них и недостало бы храбрости...

Вместе с ними бежали в Анатолию еще два поэта - Юсуф Зия и Фарук Нафыз. Оба были прославленными хеджеистами из салона Джеляля Сахира, оба старше их с Валей на несколько лет. У обоих, кроме желания участвовать в национально-освободительной борьбе, были свои личные причины, побуждавшие их торопиться с отъездом.

Все четверо поднялись на палубу. Провожала небольшая группа знакомых, среди них - полицейский комиссар. Прежде чем распрощаться с беглецами, он отозвал их в сторонку:

- Я должен вас огорчить. Есть опасность, что патруль, оккупантов, проверяющий суда на траверсе Девичьей башни, вас задержит. Хоть вы и значитесь торговцами, у вас слишком интеллигентный вид. Если выяснится, что вы едете к повстанцам, вы подведете полицейских, работающих на национальное движение, и сами окажетесь в «Арапьянхане». Прошу вас поэтому, как только пароход подойдет к Девичьей башне, хорошенько спрячьтесь среди груза на носовой палубе...

«Арапьянхан» - о нем ходили страшные слухи - был политической тюрьмой.

Тоскливый гудок возвестил об отплытии. Дома, стоявшие у

самой воды, Галатский мост, султанский дворец Топкапы на мысу стали медленно отступать назад, уменьшаясь, как в перевернутом бинокле. А справа на скале, торчащей из воды ближе к азиатскому берегу, все вырастая, приближалась Девичья башня. В древности на этой скале помещалась стража, собиравшая подать со всех судов, проходивших Босфор. Отсюда византийцы натягивали через пролив цепи, преграждавшие путь вражеским судам. А теперь здесь стояла застава интервентов, досматривавшая суда, идущие через Босфор в Черное море и обратно.

От башни отделился катер с солдатами. Четыре турецких поэта, стараясь не привлекать внимания и в то же время сохранить достоинство, вышли на носовую палубу, нашли укрытие среди тюков с шерстью и кип хлопка.

Лежа лицом вниз среди кип, Назым вспоминал события последних месяцев, приведшие его сюда, на эту сырую трясущуюся палубу.

Он снова влюбился. В дочь одного из издателей «младотурецкой» газеты «Танин», но она вместе с семьей перебралась в Анатолию. Это была одна из причин, заставившая его поторопиться, иначе легко было потерять ее след. Но главной причиной были стихи. Юсуф Зия, знакомый ему по салону Джеляля Сахира, заведовал литературным отделом в газете «Алемдар». Газетка была холуйская. Каждый номер ее открывался славословиями падишаху, предавшему национально-освободительное движение, и проклятиями повстанцам. Проклятий Юсуф Зия не писал, но за оду в честь падишаха получил орден. Теперь он волновался, не осудят ли его националисты, сторонники Мустафы Кемаля за этот орден, хоть он немало сделал, чтоб обелить себя в их глазах. Взять, к примеру, последние стихи Назыма. Ни одна газета их бы не напечатала, а он напечатал.

В последние месяцы Назым стал ярым националистом. Писал стихи, в которых уверял, что «под копытами каждого нашего коня, поднятого на дыбы, собачьей смертью околеют тысячи взбунтовавшихся рабов». Под взбунтовавшимися рабами имелись в виду греки, которые были некогда рабами Османской империи, а теперь по приказу англичан вели наступление на Анкару. В другом стихотворении, «Путник, если ты идешь на Восток», Назым писал о «сердцах, пылающих сочувствием», «о солнце победы, что непременно взойдет в седых подпирающих небо горах». Для него были священными «внезапно рухнувшие развалины» Империи и огонь национально-освободительной войны виделся «стрельбой из-за розовых кустов».

Национально-освободительная война представлялась Назыму в образах народных сказок и легенд. Тут, понятно, сыграла свою роль и необходимость скрыть мысль от цензуры, но попроси его написать иначе, достоверней, в те дни он все равно не сумел бы иначе.

Наибольшее впечатление на патриотически настроенную публику произвело его стихотворение «Пленник сорока разбойников», которое Юсуф Зия тоже напечатал в «Алемдаре». «Пленник сорока разбойников» - так аллегорически изобразил поэт Турцию в плену империалистических держав. Разбойники отрубили одну руку пленнику, то есть европейскую часть Империи. Теперь они кричали палачу:

«Руби, руби вторую руку!»
Палач пригнулся, побледнев.
И сжал топор в тяжелом кулаке.
Но в воздухе грозой вскипел народный гнев.
И засиял топор у пленника в руке.

Это уже звучало как призыв к восстанию. Оккупационные власти всполошились. Как случилось, спрашивали они султанское правительство, что подобные стихи могли появиться в проправительственной газете?..

На палубе совсем рядом послышались шаги. Кованые сапоги гулко стучали по железу. Назым затаился...

Юсуф Зия оправдывался тем, что не увидел, дескать, никакой политической аллегории. Но вряд ли ему удалось бы убедить в своей наивности английскую контрразведку, если бы она решила им заняться. Самое время было исчезнуть вместе с молодым автором стихов из Стамбула...

Шаги на палубе медленно удалились. Под бортом затарахтел мотор. Очевидно, патруль ничего не обнаружил и благополучно отвалил от судна...

После опубликования «Пленника» Назым, вообще мало бывавший дома, совсем перестал там появляться. Не скоро, теперь узнают родные, что он бежал в Анатолию: почта ходила долго и нерегулярно. Впрочем, Валя сообщил обо всем своим. И через несколько дней они, быть может, уведомят Хикмета-бея, где его непокорный сын... Пока же он сам еще не знал, куда едет и что с ним будет. Доберутся до Анкары, а там будет видно. В Анатолии, о которой они только и слышали как о прекрасной обетованной земле, они по крайней мере будут свободны...

Палуба уже давно тряслась крупной дрожью. Судовая машина крутилась на полных оборотах.

Выждав еще какое-то время, Назым вылез из укрытия. Поправил феску, отряхнул пальто. И поднялся в салон. Остальные поэты уже были там.

В тесном четырехугольном салоне, пропахшем плесенью и гнилыми досками, были еще пассажиры. Они не знали друг друга, но было видно, что едут, как и поэты, отнюдь не по тем делам, которые значились в документах, а может быть, и под вымышленными фамилиями. Здесь были и молодые люди, только что окончившие лицей. И, судя по тому, как неловко сидела на них гражданская одежда, бывшие офицеры и военные чиновники, оставшиеся в Стамбуле не у дел, - армия демобилизовалась. В общем молчаливая и странная публика.

Пароходик на ходу напоминал утюг, плоский, широкий, разжигаемый углем утюг.

Со слезами смотрели они на удаляющийся город, игольчатые минареты, свинцовые купола мечетей, весь город целиком. Увидят ли его когда-нибудь еще?..

Первая стоянка была на следующий день в Зонгулдаке. Как только пароход бросил якорь, с берега к нему поплыли разукрашенные как невесты, лодки. Что это значило? Быть может, с ними вместе ехала инкогнито какая-нибудь влиятельная персона?

С лодок на борт поднялись молодые люди и осведомились, где тут четыре поэта-хеджеиста. Значит, об их прибытии здесь были оповещены. С превеликими почестями поэтов доставили на

берег. В открытом кафе закатили в их честь банкет, заставили читать патриотические стихи. И таким же порядком снова вернули на борт.

Поэтам встреча пришлась по душе. Они решили, что теперь их будут так встречать на каждой стоянке.

Ночью поднялась буря. И не утихала больше суток.

Они прибыли в Инеболу через семьдесят часов. Отсюда шел прямой путь на Анкару. Лодки на рейде то подскакивали до самой палубы, то проваливались глубоко в пропасть.

Их никто не встречал. Четверо поэтов решили, что встречающим помешал выйти в море шторм.

По неписаной традиции каждый приезжавший из плененного Стамбула опускался на Колени и целовал землю Анатолии, как руку матери. Юсуф Зия напомнил об этом еще в Зонгулдаке. И они уже там поцеловали свободную землю родины. Но в Инеболу все остальные спутники распростерлись на земле, и поэты последовали их примеру.

Назым и Валя, обнявшись с огромным куском скалы, облобызали холодный камень. Они готовы были целовать здесь, в Анатолии, любую пядь земли. Благословенный край, райская обитель, колыбель турецкой нации - вот какой представлялась им Анатолия из Стамбула.

Не успели они подняться на ноги, как перед ними возникли фигуры в штатском.

- Пожалуйте в участок!

Полицейский комиссар приказал раскрыть чемоданы. На четверых у них был один портфель и два чемодана. Один - У Вали, другой - у Юсуфа. У Назыма - сверток с бельем, У Фарука - старое одеяло.

Комиссар с помощником дотошно осмотрели каждую тряпку. Приказали вывернуть карманы. Юсуф, рассердившись, спросил:

- Может, и ботинки снять?!

- Снимай ботинки. И носки тоже! - приказал комиссар. Странная встреча. Их продержали в участке четыре часа...

В быстро наступившей вечерней тьме, заполнившей тюрьму, раздался крик. Назым прислушался, застыв на месте. Крик прозвучал снова.

Он подбежал к решеткам. Здесь, у лазаретного окна, крик был слышен отчетливей. Невыносимый крик боли.

Избивают Пытыра! Неделю назад Пытыр вместе с двумя соседями по камере, перепилив решетки, бежал из тюрьмы. Один был пойман на пятый день. Прыгая с тюремной стены, он сломал ногу и четверо суток пролежал у самой тюрьмы на бахче, пока его

там не нашел садовник. Второго поймали в соседней деревне. А Пытыра искали целую неделю. Жандармы окружили его родную деревню и никого из нее не выпускали: «Пока не выдадите беглеца, будете сидеть по домам!» Но у крестьян были поля, посевы - еще неделя, и урожай погиб.

Жена Пытыра вышла на холм.

- Пытыр! Сдавайся! Я буду носить тебе передачи! Сдавайся, Пытыр! - прокричала она на все четыре стороны.

Слышал ее Пытыр или нет, но на следующее утро он явился в бурсскую прокуратуру. Не в жандармерию, а в прокуратуру. В присутствии прокурора и юристов жандармы не осмелятся вымещать на нем злобу.

Днем закованного в кандалы Пытыра доставили в тюрьму. И вот теперь этот крик!

Назым, сотрясая решетки, закричал:

- Чего вы ждете! Бьют вашего брата! Вы что, не слышите!.. Спасайте его!

Сотни заключенных, смотревших на майдан через решетки, угрожающе зашумели. Тюрьма загудела, как потревоженный улей. В первом отделении надзиратель не удержал двери, и арестанты выбежали из коридора на майдан, раскрыли двери других отделений. Толпа заполнила внутренний дворик.

Явился начальник.

- Разойтись! Разойтись по камерам, вам говорят! Арестанты не шелохнулись.

Начальник скрылся и вскоре вернулся вместе с прокурором. За их спинами при свете фонаря поблескивал двойной ряд жандармских штыков.

- Разойтись!.. Кто вас взбунтовал! Ясно, это не ваша вина! Виноваты подстрекатели. Немедленно разойтись по камерам, иначе худо будет!

Арестанты стали медленно расходиться. Лишь Ибрагим по-прежнему стоял не шелохнувшись и глядел в лицо прокурору.

- Чего встали?! - обернулся прокурор к жандармам. - Взять его!

Ибрагима схватили и бросили в карцер. За подстрекательство к бунту. Прокурор приказал неделю держать его в темном шкафу на одной воде.

Назым - он лежал в лазарете - узнал об этом лишь на третий день. И тут же побежал к начальнику тюрьмы.

- Войдите!

Увидев Назыма Хикмета, взволнованного до чрезвычайности, Тахсин-бей встал с кресла.

- Заходи, маэстро! Заходи! Что тебе угодно?

- В чем провинился Ибрагим? За что вы его бросили в карцер?!

- Известно, эфенди, приказ прокуратуры. Дисциплинарное взыскание.

- За что взыскание? Что он сделал?

- Подстрекал к бунту, эфенди. Три дня назад...

- Господин начальник, это я крикнул: «Бьют вашего товарища!» Посадите и меня в карцер! И меня тоже!

Назым говорил так, словно не он был заключенный, а Тахсин-бей. Но Тахсин-бей не рассердился. Напротив.

- Тебя? Нет, не посажу! - проговорил он. - Ты в чем виноват?! Лучше уж я себя посажу! Себя!

Вместе с Назымом спустился во двор. Приказал надзирателям открыть карцер.

Сначала отперли одну дверь. За ней - вторую. В темноте блеснули два пылающих, как у кошки, глаза.

- Выходи!

В карцере нельзя было ни встать, ни сесть. Он был узкий, как ящик, как гроб. Ибрагим наклонил голову. С трудом сделал шаг вперед.

Назым с болью смотрел, как подмастерье напрягал последние силы, чтобы не упасть на бетонный пол.

- Ты не виноват! - сказал он. - Вина моя! Начальник тюрьмы с уважением поглядел на Назыма.

- Нет, эфенди, это не твоя, а моя вина!.. Ибрагим не предал ни товарищей, ни себя. Не изменил себе той ночью...

А у Назыма тогда, в Инеболу, было странное чувство, будто он не сдержал данного им слова, не помог друзьям, бросил их в беде. Он считал себя подлецом.

Прислонившись спиной к перевернутому рыбацкому баркасу, Назым и Валя с тяжелым сердцем глядели на пароход, поднимавший якорь. На этом пароходе обратно в Стамбул отправляли Юсуфа и Фарука, знаменитых поэтов-хаджеистов. Как им сказал полицейский комиссар, анкарские власти сочли их не заслуживающими доверия. Но почему? Почему?

Собственно, если б не Юсуф, стихи Назыма не увидели бы света в Стамбуле. Да и связал их с кемалистским подпольем тоже он. Положим, он получил орден от падишаха... Ну, а Фарук? Тот никаких орденов не получал и бежал скорей всего от долгов, в которых завяз по уши. Интересно, если бы Назыма с Валей отправили обратно, заступились бы за них Юсуф и Фарук? Да что они могли бы сделать?..

Вернувшись в отель, они услыхали, что всех отправляемых в

Стамбул утопят в Черном море. И бросились обратно к комиссару.

- Успокойтесь, господа! Ваши друзья благополучно доберутся до семи стамбульских холмов, - промолвил тот с брезгливой ухмылкой.

Он оказался прав. Юсуф и Фарук благополучно вернулись в Стамбул. После победы республики вместе выпускали юмористический журнал. Писали стихи. Стали состоятельными людьми, депутатами меджлиса.

- Вы явились весьма кстати, - продолжал комиссар после паузы. - Вот вам по сто лир харчевых на дорогу.

Откуда взялись эти сто лир, они узнали лишь после прибытия в Анкару. Министром внутренних дел в правительстве Мустафы Кемаля был тогда Аднан-бей. Он и его жена Халиде Эдиб (та самая писательница, речь которой они слышали несколько месяцев назад на площади Султана Ахмеда) знали молодых поэтов по стихам. По их ходатайству управление печати в Анкаре и выслало молодым националистам по сто лир. Всем остальным, прибывшим в Инеболу, выдали по десять. Но об этом они тоже узнали гораздо позднее.

Полицейский комиссар не спускал с них внимательных, настороженных глаз, словно старался что-то поймать на их лицах. И оба они почувствовали стыд, смешанный с отвращением, - то ли потому, что не привыкли ни от кого получать деньги за здорово живешь, то ли потому, что полицейский их в чем-то подозревал. Они еще не знали тогда, что подозревать каждого встречного может быть особой профессией.

Комиссар был не простым полицейским, а резидентом контрразведки Айн-Пэ.

Смущенные, подавленные, они отправились к пристани. Отошли в сторонку, прислонились спиной к перевернутому рыбацкому баркасу и долго с тяжелым сердцем глядели вслед удалявшемуся пароходу.

Они прожили вчетвером в Инеболу дней десять. Обычно проводили время в кофейне, где собирались местные интеллигенты и такие же, как они сами, беглецы из Стамбула. Изучали газеты, обсуждали новости. Их часто просили читать стихи.

Назым пользовался самым большим успехом. Его стихи отвечали националистическим настроениям, овладевшим умами образованных людей.

Но в тот день, когда Юсуфа и Зию отправили обратно, им не хотелось сюда являться: было стыдно смотреть людям в глаза. Что они скажут, если их спросят: «А где ваши товарищи?»

К вечеру поднялся ветер. Мокрый снег пополам с дождем бил в окна. Стены гостиницы, где они вчетвером занимали комнатку, дрожали под напором штормовых зарядов. Здесь было пусто, тоскливо и холодно.

Они снова вышли на улицу. Не зная, куда деваться, вернулись к пристани, заглянули еще в одну кофейню, где тоже собирались беглецы, но другие.

Сегодня, когда их осталось двое, они испытывали потребность в каком-то ином обществе. Кофейня у пристани была местом сбора мастеровых и бывших унтер-офицеров, служивших и работавших во время войны в Германии. Верховодил ими мастер Садык, небольшого роста, с пышными усами и неизменным красным шарфом на шее. По словам Садыка, его род восходил к средневековой секте мастеровых «ахи». Эта секта основала в Анатолии свое государство, где были обобществлены земли, имущество - «все - кроме женщин». Поэтому Мастер взял себе прозвище Ахи.

- А, молодые поэты, добро пожаловать! Заходите, заходите! - приветствовала их честная компания.

После первой чашечки кофе Садык Ахи завел речь о призвании поэта. По его мнению, истинный поэт должен говорить от имени угнетенных масс. Для юноши с темпераментом Назыма нет большего счастья, чем участвовать в борьбе с притеснителями. Так делали ахи, а ныне - коммунисты.

- Отлично, Садык, но что общего между ахи и коммунистами? - спросил Назым.

Садык усмехнулся в усы и, наклонившись к товарищам, пересказал им вопрос Назыма. Те захохотали:

- Ах, невежды, невежды!

- Об этом поговорим потом, не здесь! - отсмеявшись, сказал Садык.

Его тактика оказалась верной. Таинственность, с которой Садык излагал свои взгляды, словно и впрямь то были тайны секты, заинтриговала молодых поэтов. Их любопытство было естественным. В Стамбуле они стучались во все двери, познакомились со всеми идеями, имевшими хождение среди тогдашней столичной интеллигенции, стали националистами. Отправка товарищей в Стамбул поколебала их веру в национальное единство. Может, Садык Ахи знает то, что им необходимо знать?

Садык Ахи и его товарищи знали, конечно, больше Назыма. Они были свидетелями и участниками германской революции. И стали первыми учителями Назыма, открывшими ему путь к пониманию движущих сил истории. В группе Садыка Ахи были и

будущие основатели Турецкой компартии, и социалисты, и просто люди, которых классовое чутье влекло к коммунизму.

С этого дня молодые поэты проводили в этой компании все свои дни. Садык и его приятели жили не в гостинице, а в частном доме, одиноко возвышавшемся на окраине за каменным мостом через реку. В комнате турецких «спартаковцев», вся меблировка которой состояла из стола и расставленных вокруг него складных кроватей, они впервые услышали о Карле Либкнехте и Розе Люксембург.

Садык Ахи упоминал имена Маркса, Энгельса, Каутского. Поэты слышали их первый раз в жизни. «Ах, невежды, невежды!» - смеялись над ними товарищи Садыка. «Невежды» стало чуть ли не их прозвищем, сменив обычное до сих пор обращение «господа молодые поэты».

Здесь, в Инеболу, Назым узнал, что в конце мировой войны в турецком земляческом клубе на Кантштрассе в Берлине произошел раскол между турецкими националистами и социалистами. Этот раскол разделил на два враждебных лагеря и: пароход, на котором после войны турецкие подданные возвращались из Гамбурга.

Как величайшую тайну Садык сообщил им, что не личности делают историю и определяет ее не борьба народов, а борьба классов.

Каких таких классов? Эксплуататоров и эксплуатируемых, рабов и рабовладельцев, а в Турции - помещиков, деревенских и городских богатеев и бедноты - рабочих и крестьян.

В самом деле? А они до сих пор и не замечали. Если это верно, то и весь их пламенный национализм оказывался иллюзией. Быть не могло!

Чтобы мысли, зароненные Садыком Ахи, стали для них убедительными, нужно было увидеть Анатолию. Впрочем, и этого оказалось недостаточно - марксизм не отмычка, а ключ. И притом открывающий дверь изнутри, а не снаружи...

Зима перекрыла все дороги, в горах снег лег по колено. Но оставаться в Инеболу больше не было терпения. «Спартаковцы» успели нанять повозку и уехать в Анкару до снега. К тому же в Анкаре Назыма и Валю ждали в управлении печати. Что им там поручат, они не знали, но были уверены, что для поэтов дело найдется. У Назыма был семейный опыт по этой части - его отец Хикмет-бей служил после «младотурецкой» революции начальником управления печати.

Наконец отыскался проводник - погонщик мулов из Кастамону, взявшийся проводить их через перевал. Они снарядились в один день: купили на базаре чувяки, которые

должны были заменить рваные городские ботинки. Чувяки эти застегивались у голени на ремешок, чтоб не сползали; а чтоб они не протерлись, на них надевали галоши. Приобрели галифе армейского образца вместо штатских брюк. и теплые шерстяные носки.

Валя еще в Стамбуле сменил феску на черную папаху, как у Мустафы Кемаля, - она была знаком националистов. А Назым все еще ходил в своей знаменитой феске без кисточки, выглядевшей здесь двусмысленно - и от старого-де отстал, и к новому не прибился. В одной из лавок они увидели высокую папаху - не черную, а серую, напоминавшую клобуки дервишей Мевлеви. Папаху украшала красная суконная Полоска, как у сибирских красных партизан, и золоченая Тесьма. Назым стукнул по ней кулаком, вмял красную полоску, Чтоб едва виднелась, и насадил на голову. Вид у него был теперь вполне импозантный...

За год до смерти Валя Нуреддин показал мне фотографию: На ней были запечатлены два молодых человека в папахах. Их улыбающиеся ясные глаза глядели на мир, еще не ведая а том, что ждет их впереди. Один - тощий, изможденный, другой - высокий, круглолицый, с лихим чубом, выбившимся на лоб, курчавыми баками, но без усов. Перед выходом из Инеболу они зашли к фотографу.

В двадцатых числах января 1921 года тронулись в путь - впереди погонщик и мул, на которого было погружено все их имущество. За ними Назым и Валя, а позади еще человек десять - бывшие учителя, а затем офицеры султанской армии, сражавшиеся в Палестине, при Дарданеллах и в Галиции, вернувшиеся из английского, французского и даже индийского плена.

На перевале остановились передохнуть. Назым оглянулся на город, на: расстилавшееся внизу море. Потом обернулся в сторону Анатолии и простер руки.

- Вот она, Анатолия, благословенная земля, краше ее нет края на свете!

Спутники промолчали. Лишь погонщик встал и, хлестнув мула, проворчал:

- Дех, скотина неразумная!

Назым переглянулся с Валей. Обоим почему-то стало неловко.

На первой ночевке они записали в свою общую поэтическую тетрадь стихотворение «Дорожная песня».

У нас на лбу сияет юности венец,
И на усталость мы плевали.

Кнут радости нашли мы для сердец
И горизонт перед собой погнали.

Легко дыхание, чисты наши сердца.
Всем нескончаемым путям конец найдем мы.
Ни караван-сарая нам не надо, ни дворца.
Где нас закат застанет, там уснем мы.

Написанное с теми же рифмами и тем же размером, что стихи Назыма «Мевляна», оно отвечало их теперешнему настроению. Первую строфу сочинил Назым, вторую - Валя...

Они поняли причину минутной неловкости, которая охватила их на перевале, лишь когда прошли пешком до Анкары. Увидели крестьян, для которых Мустафа Кемаль, падишах, святой Али и сам аллах слились в одно лицо, - крестьян, одетых бедней, чем стамбульские нищие. Когда вошли в деревню, даже не заметив, что вошли в нее, - здесь жили под землей. Когда послушали скрип крестьянских арб, стоявший, как стон, над всей Анатолией, поглядели на настоящих, а не книжных крестьянок. Лишь тогда они поняли, как нелепы были их представления об Анатолии...

Ибрагим Балабан, тот знал Анатолию не по книгам. Ему повезло: его учитель был не чета Садыку Ахи. И главное, не напускал на себя вид обладателя истины, скрытой от остальных. Он вел его не в секту, а к самому себе, чтоб Ибрагим скорее осознал свое место в мире.

Странный народ эти крестьяне! Думают, что все знания мира лежат, как деньги в сейфе. Стоит его открыть, взломать, и получишь готовые ответы на все случаи жизни. Конечно, их веками не допускали к знанию. Улемы и сановники делали вид, что аллах и падишах открыли им истину, недоступную мужицкому уму... Что нужно для того, чтобы работать сознательно? Надо жить и думать. Работать и думать. Читать, узнавать мысли других людей, которые жили до тебя или живут на земле сейчас, учитывать их опыт. Одни книги, конечно, не сделают человека сознательным. Есть люди, которые находят в книгах ответы на все вопросы, вроде старых османских интеллигентов. Но то не интеллигенты, а первые ученики, зубрилы. Их ответы почти всегда звучат невпопад, ибо отвечают на старые, иные вопросы. Вообще интеллигент не тот, кто образован, а тот, кто сознает свое место между прошлым и будущим. Быть может, крестьянин, знающий, что сеяли его деды, как они обрабатывали поля, и думающий о том, что даст земля

его детям, старающийся, чтоб она, эта земля, дала больше и лучше, - этот крестьянин ближе к званию интеллигента, чем чиновник, получивший высшее юридическое образование и озабоченный лишь тем, как выполнить указание начальства, выколотить из крестьян налоги, а там - хоть трава не расти.

Быть интеллигентом, работать сознательно, а тем более в искусстве, значит одолеть извечную стену между знанием готовым, книжным и практическим, живым. Сделать добытое до тебя, готовое знание своим, а это дается только практикой, трудом и опытом...

Если взять, к примеру, его собственную жизнь, то, грубо говоря, вся она была поиском ответа на вопрос, что такое поэзия. В начале двадцатых годов в Москве он сформулировал первый ответ: поэзия не в темах и не в предметах. Теперь, в сороковые годы, работая над «Человеческой панорамой», он мог, пожалуй, сказать, что поэзия также не в рифмах, не в размерах, не в музыке, - короче говоря, поэзию делает таковой не форма, хотя она существенна. Но все это ответы отрицательные. Может ли он сказать, что все-таки отличает поэзию от прозы, если не форма и не содержание? Пожалуй, может, хотя это еще нуждается в доказательстве практикой: метод, способ мышления, присущий только ей одной - поэзии.

Что нужно для того, чтобы работать в искусстве, сознательно? Работать и думать над своей работой, зная цель. Другого ответа он не мог дать Ибрагиму Балабану. В юности он, может быть, ответил бы более решительно и определенно. Ибо в юности он полагал, что способ, которым он в данный момент пишет стихи, - лучший из всех и единственно возможный. Слава богу, он теперь был достаточно умудрен жизнью, чтобы давать готовые ответы.

Он подумал, что событие, именуемое молодостью, он пережил всего за один год. За тот самый год, когда из Стамбула бежал в Анкару, потом учительствовал в Болу, а из Болу приехал в Батум... Там, в Анатолии, в двадцать первом году осталась его молодость. И теперь ему казалось, что с тех пор он стал вот таким, каков он сейчас, тем самым человеком, который сидит в бурсской тюрьме. Скорей всего это ощущение объяснялось тем, что, покинув Анатолию, он сделал первый и решительный шаг к сознательности. С той поры не события гнали его, подобно листку, унесенному ветром, а он сам направлял свой полет. И сознательное отношение к жизни, к своей поэзии, углубляясь, изменяясь, вбирало в себя все большие сферы жизни, никогда больше не оставляя его.

Впрочем, он чувствовал себя вполне сознательным, взрослым

человеком и в тот день, когда вместе с Валей прибыл в Анкару. Но если это и была сознательность, то лишь в том смысле, в каком ее употребляют врачи, - вменяемость. Он еще только нащупывал свое миропонимание, словно путник горную тропу в тумане. Подобно Балабану, ему казалось, что вот-вот он найдет ответ на все свои вопросы, будто эти ответы уже где-то лежали готовыми, дожидаясь его...

В Анкаре они остановились в отеле «Ташхан». Окошко крохотной комнаты было забрано решеткой, а в комнате густо пахло навозом - здесь, как во всех старых постоялых дворах, внизу была конюшня.

Наутро выдался прохладный солнечный день. Город стоял в степи. Вернее, в степи, словно прыщ, выскочила откуда ни возьмись высокая гора. На вершине ее, словно корабль, возвышалась крепость, а город расположился по склонам.

Стены анкарской крепости, сложены из останков разных цивилизаций. На мраморные плиты с римскими надписями положены кругляши распиленных колонн, а на них ряды грубого, неотесанного камня.

В Анатолии обычно даже самые богатые люди оставляли одну комнату в доме недостроенной - от сглаза. Это придавало городам вид не то вечного разгрома, не то бесконечного строительства. Но Анкара выглядела еще неприглядней - по городу только что прошелся пожар. Груды угля и пепла мешались с пылью, вздымавшейся при малейшем дуновении ветра. И ни одного деревца.

Город был перенаселен. Коренное население - ремесленники, потомки ахи, торговцы, рабочие, огородники - отличалось от заполнивших столицу повстанческого движения стамбульских беев и эфенди, чиновников и офицеров, как вода от масла. Почти все здания, за исключением «Ташхана», вокзала и меджлиса, были деревянными или саманными.

В наши дни, когда Анкара уже почти полвека официальная столица Турции, старое здание меджлиса, превращенное в музей, кажется затерянным среди высоких домов. Чуть наискось от него на мраморном пьедестале стоит конная статуя Мустафы Кемаля Ататюрка в окружении бронзовых солдат повстанческой армии. Один приложил ладонь к глазам, словно пытается разглядеть будущее, другой обернулся назад - зовет отставших. Рядом с ними - крестьянка Кезибан, героиня национально-освободительной войны, со снарядом на плече.

В тот год, когда Назым впервые приехал в Анкару, эти солдаты не в бронзе, а во плоти дрались в двухстах пятидесяти

километрах от города. 31 марта 1921 года в кровавом бою греческая армия была остановлена и ждала подкреплений от своих британских хозяев. Анкара собирала силы, формировала из партизанских отрядов регулярные части, готовилась н решающим сражениям. Мустафа Кемаль - верховный главнокомандующий и вождь повстанцев - жил за городом в вилле, охранявшейся лазами. Делегация меджлиса вела переговоры в Москве о подписании договора дружбы и братства с Россией, сражавшейся с тем же врагом, что и Анкара, - четырнадцатью державами Антанты.

Назым и Валя явились в управление печати. Директор управления Мухиддин-бей похмыкал, поглядел на них из-под очков, похлопал по спине.

- Молодцы! Ну просто львята!

Мухиддин-бей в годы правления «младотурок» был главным редактором их центрального органа «Танин».

«Младотурки», или, как их именовали в стране, иттихадисты, - официально партия называлась «Иттихад вэ теракки» («Единение и прогресс»), - изменив делу революции, втянули Турцию в войну, а после разгрома их лидеры Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша, доктор Назым и другие бежали за границу. Партия была запрещена, и многие иттихадисты присоединились к Мустафе Кемалю. Но не утратили надежд на возвращение к власти. И сохраняли связи с эмиграцией.

Мухиддин-бей пообещал переговорить с министром просвещения и устроить молодых поэтов учителями в какой-нибудь лицей. А пока заказал им стихотворный призыв к стамбульской молодежи присоединяться к национально-освободительному движению.

Назым и Валя приняли предложение с восторгом - для этого они и бежали в Анкару, чтобы служить национальному освобождению. Через два дня они принесли Мухиддину-бею три странички рифмованных строк.

Этот текст не сохранился. Вплоть до 1924 года Назым все свои стихи заносил в толстую тетрадь в черном кожаном переплете. Он привез ее с собой из Москвы, когда вернулся на родину. Но Коммунистическая партия Турции вскоре была объявлена вне закона. Назыму пришлось перейти на нелегальное положение. И он передал тетрадь на хранение «верному» человеку.

Через много лет поэт говорил своим московским друзьям: «Хорошо, что тетрадь эта стала пеплом, не то, найди ее критики, мне бы несдобровать». Он умел терять и не жалеть о потерянном.

Верный человек, испугавшись за свою шкуру, сжег юношеские

стихи Назыма Хикмета.

Реакции обывателя в решительный момент одинаковы, как два медяка. Судьба оказалась безжалостной не только к юношеским стихам Назыма Хикмета.

Выйдя из тюрьмы в 1950 году, он отдал три книги «Человеческой панорамы» на хранение приятельнице своей жены. Через год поэту пришлось бежать из страны. Приятельница перестала здороваться с его женой, а рукопись сожгла. По крайней мере так она сказала, когда ее попросили вернуть стихи.

Из всех произведений начала двадцатых годов - а в черной тетради были и поэмы и драмы - дошли до нас лишь отдельные строки, сохранившиеся в памяти автора и его знакомых, да несколько стихотворений, увидевших свет.

В послании к стамбульской молодежи, написанном по заказу Мухиддина-бея, были такие строки:

Неужели и вы продались?
Неужели и вы заодно
С этим продажным везирем,
С этим продажным султаном?

Упершись взглядом в эти строки, Мухиддин-бей отложил рукопись. Похмыкал, походил по комнате.

- Вот что, дети мои. Решительно рекомендую вам убрать слово «султан»!

Назым переглянулся с Валей. Делать нечего - он вычеркнул «султан» и написал «раб».

В таком виде стихотворение напечатали на листовках в тысячах экземпляров. Но были они доставлены в Стамбул или нет, ни Назым, ни Валя не знали.

О листовках стало известно меджлису, и разразился скандал. Правые депутаты призвали к ответу директора департамента печати.

- Кто дал право тратить деньги и бумагу на стихи? - кричали они с трибуны. - Чиновников у нас в Анкаре достаточно. Если стамбульская молодежь хлынет сюда, что мы с ней будем делать? Где мы ее поселим, как устроим? Нам нужны специалисты, техники, рабочие, а не патриотические юнцы.

Мухиддин-бей только кланялся и хмыкал.

Молодые поэты многого еще не понимали. Хотя султан Вахидеддин приговорил к смертной казни Мустафу Кемаля и его соратников и даже выслал против него спешно сформированные части, хотя в Анкаре особу Вахидеддина не жаловали, но выступать против освященного веками высшего властителя

Империи, к тому же считавшегося повелителем всех мусульман мира, не решались. Мустафе Кемалю в меджлисе противостояла широкая оппозиция, и в тот момент, когда все силы были нужны для победы, а исход войны был далеко не ясен, он не желал еще больше восстанавливать ее против себя. Эту оппозицию представляли, во-первых, улемы, или, как их называли, чалмоносцы, то есть духовенство, не желавшее расставаться со средневековыми привилегиями, которые были освящены властью падишаха-халифа, наместника божьего на земле. Во-вторых, иттихадисты, которые спали и видели поражение повстанческой армии и готовили на Кавказе и на востоке страны так называемую «вторую волну» сопротивления, чтобы снова прийти к власти.

Назым и Валя угодили своим стихотворением, как палкой в улей.

После скандала в меджлисе Мухиддин-бей больше ими не занимался. В ожидании назначения приятели бродили по городу, ходили в знаменитую кофейню «Куюлу», где собирались поэты и литераторы, сидели за столиками в саду напротив меджлиса, обсуждая последние политические новости.

Анкара походила на Ноев ковчег. Спасаясь от потопа, то бишь иностранной интервенции, в этом глухом анатолийском городке собрались люди самых разных взглядов и направлений, никогда не сходившиеся вместе в нормальное время. У них были свои особые цели и свои виды. И чувствовалось - стоит миновать опасности, они перегрызут друг друга.

Сидя в открытой кофейне перед меджлисом, Назым с Валей приготовились наблюдать за парадом национальных частей, только что сформированных из партизанских отрядов.

Видные депутаты меджлиса, министры, генералы показались на балконе. С минуты на минуту ждали появления Мустафы Кемаля. Вдруг сзади кто-то проговорил:

- Ах, если б нашелся молодец и шлепнул его!

Речь явно шла о главнокомандующем. Поэты оглянулись - за столиком сидели господа в таких же, как у Назыма, папахах.

Через несколько лет, когда иттихадисты организовали покушение на Мустафу Кемаля, ставшего первым президентом Турецкой республики, Назым вспомнит эти слова.

Мустафа Кемаль вышел на балкон в сопровождении охраны. Худой, подтянутый, в высокой папахе.

Промаршировала перед ним пехота, проскакала черкесская конница. Провезли с десяток полевых орудий.

Назым хоть и слышал, что говорили за соседним столиком, счел появление Мустафы Кемаля в окружении телохранителей недемократичным. Не столько охрана его покоробила, сколько

само появление - отдельно от всех. Его юношескому максимализму пришлись не по душе диктаторские замашки главнокомандующего. Между тем Мустафа Кемаль в те дни отнюдь еще не был полновластным диктатором...

...Деньги, полученные в Инеболу, подошли к концу. Друзья переселились из отеля «Ташхан» к знакомым «спартаковцам» - они, как и в Инеболу, снимали большую комнату на окраине и жили коммуной. Спать укладывались на раскладных кроватях вокруг стола. И до петухов обсуждали мировые проблемы.

Как-то приятели остановились на улице перед витриной с закусками, не в силах оторвать взгляда от лобио, салатов, жареной по-албански печенки.

- Ну и обманщики же вы! - раздалось у них за спиной. Они обернулись, словно пойманные с поличным. За их спиной стоял двоюродный дед Назыма генерал Хюсейн Хюсню-паша, прославившийся в 1909 году во время подавления инспирированного англичанами восстания в Стамбуле. Вместе с другим двоюродным дедом поэта, Исмаилом Фазылом-пашой, он снимал виллу за городом. Оба были видными людьми в свите Мустафы Кемаля. Они не раз приглашали Назыма и Валю зайти пообедать, но те никак не могли собраться.

Внимательно поглядев на них, паша перевел взгляд на витрину. Опустил руку в карман, вынул пачку денег и протянул Назыму бумажку в двадцать пять лир. По тем временам это были большие деньги, можно было прокормиться вдвоем дней десять.

- Ну, ну, не ломайтесь! Считайте, что вам повезло, - как раз сегодня я получил жалованье. Это вам на двоих. И не забудьте - мы ждем вас послезавтра у себя!

Когда паша удалился размеренной величественной походкой, приятели кинулись в закусочную. Впервые за много дней наелись до отвала.

Через день пришлось идти в гости к старикам. Следующее свидание Исмаил Фавыл-паша назначил им в меджлисе.

- Хочу представить вас Мустафе Кемалю!

Минута в минуту, ровно в назначенный час, Назым и Валя подошли к дверям Великого Национального собрания. Услышав имя Фазыла-паши, их проводили в большой салон.

По стенам стояли диванчики, кресла. У окна они увидели Мустафу Кемаля в окружении приближенных.

Исмаил Фазыл-паша подошел к приятелям и за руки подвел к главнокомандующему.

- Вот молодые поэты, о которых я вам говорил, мой паша!

Мустафа Кемаль был одет точно так же, как во время парада, - защитный френч, галифе, краги из черной кожи.

Главнокомандующий протянул им руку. Она оказалась неожиданно мягкой. У человека с глазами цвета вороненой стали такая мягкая, женственная рука! Они по очереди пожали эту руку, руку одного из самых храбрых, самых дальновидных генералов Турции, и по-военному щелкнули каблуками.

Вез всяких предисловий Мустафа Кемаль сказал:

- Кое-кто из молодых поэтов, чтобы не отстать от моды, стал писать бессодержательные стихи. Мой вам совет: пишите ради ясной цели...

Он что-то хотел добавить, но подбежал адъютант и протянул ему телеграмму. Паша заинтересовался, приложил к папахе ладонь и ушел.

Писать ради ясной цели... В Стамбуле они слышали выступление поэта Мехмеда Акифа. Он тоже призывал писать ради ясной цели. Его целью было прославление ислама... Во времена «младотурок» и в годы мировой войны многие писали ради иной цели - объединения всех тюркских народов под эгидой Турции. Их целью был пантюркизм...

Мустафа Кемаль не сказал, ради какой цели следует писать стихи. Ради достижения независимости? В этом они были согласны. Но независимостью, по крайней мере формальной, обладала до войны и Османская империя.

Через несколько дней они встретились на улице с дальним родственником Назыма.

- Сейчас же напишите по оде в честь Мустафы Кемаля. Я ему отнесу. Получите по пятьдесят золотых!

Распрощавшись с родственником, Назым скверно выругался. При всем его тогдашнем уважении к Мустафе Кемалю пятьдесят золотых не были для него той целью, ради которой стоит писать хвалебные оды. Уничтожить нищету и невежество, добиться равенства и счастья для крестьян Анатолии - вот единственная достойная цель. Назым называл ее социализмом, но что он тогда знал о нем?..

В 1929 году после того, как Назым выпустил в Стамбуле свою первую книгу, фирма «Колумбия» записала два стихотворения в его собственном исполнении на пластинку. Дядюшка Назыма генерал Али Фуад рассказывал: как-то под вечер, когда один из адъютантов Мустафы Кемаля заглянул в кабинет, он увидел, что президент, облокотившись о стол, слушает пластинку.

...Топот смолк
там, где желтые донники
пожирает закатный

огонь.
Конники, конники, красные конники,
ветрокрылые красные конники,
конники,
конь...
Жизнь прошла,
пролетела, как всадник.
Ручей замолчал,
и погасла небес бирюза.
Черной ночи парча
опустилась
на его голубые глаза.
И плакучая ива
молчаливо
склонила
стан, закутанный в сумрачный плащ...
Ива, ива, плакучая ива!
Не гляди так тоскливо,
печальная ива,
ты, плакучая ива,
не плачь...

Это были стихи, навеянные известной русской песней, в которой говорилось о смерти бойца из буденновских войск.

Когда голос Назыма смолк, Мустафа Кемаль обернулся. В глазах этого жестокого генерала, видевшего не одну солдатскую смерть, блестели слезы.

- Черт возьми, какой поэт! Жаль, что он коммунист!..

Назым Хикмет получил приглашение в президентский дворец. Мудрый политик Мустафа Кемаль понимал, что поэтический талант Назыма Хикмета - огромная сила, вокруг которой можно сплотить радикальную интеллигенцию.

Но поэт не пришел в президентский дворец. Основанная Мустафой Кемалем правящая Народно-республиканская партия стала единственной легальной партией Турции. Укрепив с помощью государства позиции национальной турецкой буржуазии, эта партия стремилась любой ценой не допустить перерастания национально-освободительного движения в социальную крестьянскую революцию. Ее цель была буржуазная республика.

Целью, к которой стремился Назым Хикмет, было уничтожение классов и социального неравенства. Партия, с

которой на всю жизнь связал себя поэт, была загнана в подполье, а кости пятнадцати ее основателей, утопленных в Черном море, лежали на траверсе мыса Сюрмене в районе Трабзона.

Путь к этой цели, к самому себе, к своему методу в поэзии лежал для Назыма через Анатолию…

В Анкаре молодые поэты получили назначение в один и тот же лицей в Болу: Валя - преподавателем французского в старших классах, Назым - турецкого языка и литературы в начальных.

До Болу добирались тем же способом, что и в Анкару, с Черноморского побережья - сами пешком, вещи на муле. Посреди дороги Назыму вдруг стало плохо, он не мог больше идти. Валя хотел посадить его на мула, но проводник заупрямился: мул гружен, не сбрасывать же поклажу на дорогу.

Полдня до города Гереде Валя тащил Назыма на себе.

В Гереде больного напоили бульоном, укрыли одеялами, и наутро Назым как ни в чем не бывало разбудил приятеля:

- Солнце встало, пора в путь!

Валя Нуреддин до конца своих дней не забыл этого эпизода. В самом деле, не каждому в жизни выпадает случай тащить на своей спине великого поэта. Впрочем, тогда даже Валя не подозревал, что ему выпала такая честь.

В Болу они поселились неподалеку от лицея в старом караван-сарае, где слышались ржанье лошадей, рев ослов.

Это был небольшой зеленый городишко на полдороге между Анкарой и Стамбулом, славившийся религиозностью и фанатизмом. Вид Назыма - безусое лицо, повстанческая папаха, чувяки, застегивавшиеся на ремешок, бакенбарды - был достаточным поводом, чтобы заподозрить в нем «неверного», о чем при первом же свидании не преминули ему сказать директор лицея и преподаватель закона божьего.

Назым встретил их вежливые увещевания в штыки: как он одевается и во что верит - это дело его личное; кто смеет стеснять свободу совести? «Можно умереть за свое отечество, но никто не может заставить меня лгать ради него», - повторял Назым слова французского философа Монтеня.

Из кабинета директора он, как был, в той же самой одежде, отправился в класс. Появление Назыма вызвало улыбки на лицах малышей: слишком уж не вязался его вид с привычным обликом учителя. Но дети быстро привыкли к Назыму, полюбили его. Он разговаривал с ними вежливо, уважая их человеческое достоинство. И начал с того, что отвечал на приветствия учеников, - это было в школе совершенно не принято.

Назым пересадил лучших учеников на первые парты, а

ленивых - на последние, не считаясь с тем, что среди ленивцев было много бейских сынков, привыкших занимать почетные места не по своим знаниям, а по степени богатства родителей. Это было неслыханно.

Стамбульские поэты быстро перезнакомились с молодыми учителями лицея, которые собирались в «Кофейне беев». Те считали себя прогрессистами, возмущались темнотой и невежеством горожан, позицией директора - он-де подлаживается к фанатичным богатеям.

Здесь так же, как в Стамбуле и в Анкаре, Назым не считал нужным скрывать своих мыслей и чувств и говорил все, что приходило ему в данный момент в голову. Этому качеству, которое Назым сохранил до конца дней, читатели обязаны искренностью его лирических стихов - ведь главное достоинство всякого лирического стихотворения в том и состоит, чтобы передать чувство и мысль во всей их непосредственности, неподкрашенности, будто родились они сейчас, сию минуту. Но это качество не раз ставило Назыма в затруднительное положение, и порой друзья, забывши, что он прежде всего поэт, а потом уже политик, обвиняли его в безрассудстве.

Быть может, ясней всего ценность человеческой личности проявляется в сопротивляемости среде. С детских лет Назым шел против течения, если общепринятое поведение противоречило его разуму и сердцу. В Болу это едва не стоило ему жизни.

Пять раз в день муэдзины с минаретов призывают верующих к молитве. В Болу, помимо муэдзинов, этим занимались еще и фанатики-доброхоты. По дороге в мечеть они стучали палками по ставням и подоконникам мастерских, лавок, кофеен, напоминая забывчивой молодежи и бедноте, занятой погоней за куском хлеба, о долге перед аллахом. Молодые учителя безропотно оставляли свои занятия и вливались в толпу спешивших на молитву обывателей.

Назым же, если время молитвы заставало его на улице, демонстративно пробирался сквозь толпу в обратном направлении. Надвинув на уши папаху и насвистывая песенку, доходил он до дома самого муфтия - главы религиозной общины.

По городу поползли угрожающие слухи. Горящие, ненавидящие глаза стали следить за каждым шагом молодого поэта.

Приближался рамазан - священный месяц, когда мусульмане от восхода до заката соблюдают пост. Не то что поесть - капли воды нельзя взять в рот. С трудом Валя уговорил Назыма не устраивать демонстраций хотя бы во время рамазана: в сущности, протест его выглядел мальчишеским, а опасность грозила

нешуточная. Незадолго до их приезда фанатики, обвинив нескольких офицеров повстанческих войск в безбожии, загнали их на верхний этаж того самого лицея, где учительствовали поэты, и зверски убили. Сколько ни штукатурили классное помещение, на стенах под штукатуркой проступали пятна крови.

За неделю до поста приятели купили ведерко варенья из Роз, три с половиной десятка яиц, принесли их домой и забыли о рамазане.

Жили они теперь уже не в караван-сарае, а в пустовавшем доме - хозяева благодаря хлопотам директора лицея уступили поэтам целый этаж. Назым купил гвоздей, развесил по стенам Шкурки зайцев, которые они, поразившись дешевизне, купили по дороге из Анкары, рисунки, фотографии.

Словно предчувствуя, что его запрут в четырех стенах на целых семнадцать лет, он с юности не мог терпеть голых каменных стен.

В Москве в 1927 году он разместил на стенах своей каморки на Тверском бульваре целый фотомонтаж: справа от двери - картины первобытного коммунизма и племенного строя, посредине - рабовладельческое общество, феодализм и капитализм, а слева - картины будущей коммунистической формации: люди одной расы и одной нации, без границ и правительств, просто люди.

Вырвавшись в 1950 году на свободу, он поселился в доме своей матери на азиатской стороне Босфора. И вся его комната была увешана картинами Балабана, цветными тканями, фотографиями.

После приезда в Москву в 1951 году он между делом, разговаривая с друзьями, мог часами перевешивать картины, укреплять на стенах деревянные полки с книгами, расставлять народные игрушки, которые ему присылали в подарок со всех концов мира. В кабинете висело несколько фотографий сына Мемеда.

- Вы не представляете, как я ненавижу голые каменные стены! - повторял поэт.

Стены, вместо того чтоб отделять его от людей, раздвигали комнату или камеру до размеров целого мира.

В Болу в первый день рамазана, усевшись среди стен, украшенных шкурками зайцев, словно в охотничьем клубе, приятели в один присест выпили три с лишним десятка яиц. На следующий день перешли на розовое варенье с хлебом. По неопытности им не пришло в голову, что после заката можно купить продукты в лавке якобы для вечернего разговения.

Как-то после полудня, усевшись вокруг кувшина с вареньем,

они услышали стук в дверь. Назым поглядел в окно.

- Прячь кувшин, к нам пожаловал сам директор со своим другом!

Старики, если б не боялись признаться в этом даже домашним, тоже не стали бы соблюдать пост. По дороге из школы их измучила жажда - весна была необычайно жаркая, и, решив, что у молодых поэтов они наверняка найдут воду, директор постучался к ним в дом. Назым с Валей предложили им не только воду, но и хлеб с вареньем.

После этого случая Назым стал иными глазами глядеть на директора - он вовсе не был таким ретроградом, как казалось юношам. Просто принадлежал к иному поколению, вынужденному жить в другой среде, и, не подчинись он ей хотя бы внешне, ему не миновать участи замученных кемалистских офицеров.

Понимание побудило Назыма сменить гнев на милость, а опыт старших помог лучше ориентироваться в городе.

Молодежный кружок из «Кофейни беев» стал нагонять на Назыма тоску. Слишком уж были пусты и зелены здешние молодые люди. Собираясь то у одного, то у другого, они рассказывали анекдоты, проказничали, как мальчишки. Обычно сборища заканчивались песней: «Великий аллах, яви нам серого волка!» Бог мой, какая же путаница была в их головах! Серый волк был символом пантюркистов: под знаком этого древнетюркского племенного тотема шовинисты мечтали объединить все тюркоязычные народы в одну великую державу от Урала до Босфора. И ради этой несбыточной расистской мечты толкнули слабую Османскую империю в огонь мировой войны. А молодые учителя в Болу сделали из серого волка что-то вроде пророка Мухаммеда. Протестуя против строгости религиозных обрядов, стеснявших их свободу, они и не думали, что можно вообще отказаться и от религии и от аллаха.

В эти жаркие дни рамазана 1921 года Назым написал стихотворение «Черная сила».

Много долгих веков, много скорбных лет
Тьма ночная висит над страною моей...
Горло нашей земли душат руки тьмы,
И на черных руках есть народа кровь.
Силе тьмы, не поняв, долго верили мы.
Ненавидящей нас отдавали любовь...
Не забудь, человек, день благословить,
Когда тьма над страной разорвется вдруг,
Когда время придет, чтобы отрубить

Черной силе навеки кисти черных рук.

Не духовенство, сама вера стала для Назыма черной силой.

Как-то у дверей школы к Назыму подошел один из учеников: «Отец просит вас пожаловать на разговенье!» Мальчик был уверен, что молодые поэты знают, кто его отец, ибо трудно было не знать в Болу шейха секты «рюфаи», одной из самых влиятельных в городе. Проходя по улицам, они не раз слышали песнопения, доносившиеся из дервишских обителей, возгласы «Аллах! Аллах!», «Ху!», которыми дервиши подбадривали себя во время радений. Но эти впечатления никак не вязались с обычным скромным мальчиком, который ничем не выделялся в классе.

Приглашение шейха было великой честью. Но что-то в тоне мальчика настораживало.

Когда стало темнеть, приятели направились к большому деревянному дому шейха. В просторных прихожих на первом этаже собрались сотни гостей. Шейх приветствовал молодых учителей с особой ласковостью.

Наступило время вечерней молитвы.

- Вы совершали омовенье? - спросил один из приближенных шейха.

- Нет, эфенди, - проговорил Назым, давая понять, что он и молитву творить не собирается.

- Пожалуйте к источнику!

Их проводили во двор, где журчал фонтан. По настороженному, напряженному вниманию окружающих Назым и Валя вдруг поняли, что приглашены неспроста. Они должны были выдержать экзамен на правоверного мусульманина, иначе...

Валя не на шутку испугался. Зная слабую память Назыма, он был почти уверен, что тот успел позабыть все обряды. Ведь после училища он ни разу не ходил на молитву. Омоет сначала ноги, а потом примется за лицо, и этот вечер может стать последним в их жизни.

Валя поспешил к фонтану первым. Краем глаза поглядывая на него, Назым повторял каждое движение. Смочил голову, потом вымыл ноги, затем руки.

Покончив с омовением, приступил к намазу. Назым, словно тень, неотступно следовал за Валей.

Хотя неопытность Назыма не ускользнула от судей, придраться было не к чему. Экзамен был выдержан. Но враждебность, которую они чувствовали кожей, не уменьшилась, напротив, кольцо вокруг них сжималось...

Назым обвел глазами камеру. И здесь, как в Болу, стены были увешаны фотографиями, рисунками, портретами заключенных. Кольцо враждебности, которое он ощутил вокруг себя в Болу, разорвалось только в Москве... Он глянул на дверь, и мрак снова подступил к его сердцу. На двери висела карта, склеенная его собственными руками из газетных вырезок. Два года назад, глядя на нее, он был близок к отчаянию. То была карта Восточного фронта второй мировой войны. Масштаб у вырезок был разный - Орел помещался дальше от Брянска, чем Варшава от Киева, но было ясно: враг сжимает кольцо вонруг города, который был ему дорог не меньше Стамбула. Осенью сорок первого года вокруг этой карты прямо на двери Назым нарисовал множество глаз. Смотрящие в упор, раскрытые с выражением ужаса. И над всеми - глаз с рассеченной бровью, кровь заливает зрачок...

Узнав, что Красная Армия отступает, Назым растерялся. Он видел в газетах середины тридцатых годов снимки знаменитых военных маневров, где с неба, как горох, сыпались парашютисты-красноармейцы, танки преодолевали препятствия. Что случилось? Почему эти парашютисты не сыплются на голову гитлеровцам? На Берлин? На Варшаву? На Прагу? Где танки?..

В одиночестве среди врагов, в камерах тюрем, на допросах у следователей у него выработался защитный рефлекс, не верить ни слову из того, что говорит враг. Быть может, сейчас все это тоже враки? Быть может, ему нарочно подсовывают фашистские газеты или даже специально печатают их для политических заключенных? Что только не приходило ему в голову...

Вскоре пришлось, однако, поверить. Из Народного дома принесли испорченный радиоприемник. Один заключенный отремонтировал его, и старший надзиратель забрал радио в дежурку. Старенький четырехламповый приемник модели 1929 года был их главной связью с миром в сорок первом и сорок втором годах. Два раза в сутки во время последних известий у приемника возле дежурки собирались заключенные: голые из семьдесят второй камеры, закутавшиеся в меха богатеи из камеры беев, старые и молодые - иногда человек двадцать-тридцать.

Осенью сорок первого года - весной сорок второго отношение немцев к Турции было еще неясно. Вначале со дня на день ждали, что гитлеровцы нападут и на Турцию, чтобы через Кавказ ударить по России с юга. По слухам, в тюрьмах составлялись списки заключенных. Тех, кому осталось меньше пяти лет, собирались якобы выпустить на свободу, остальных, в особенности политических, - переслать в глубь страны. Было даже решено, кого куда вышлют.

Среди немецких «болельщиков» отличался Шакир-бей, по прозвищу Верблюд. Этот лысый расплывшийся человек огромного роста и веса юность и молодость провел в Европе. Знал французский, немецкий, румынский, итальянский, неплохо разбирался в искусстве и даже восхищался стихами Назыма. Любил порассуждать о демократии и интересах народа. Назым просто диву давался, как он может жаждать фашистской победы.

Но однажды все объяснилось: у Верблюда лежала под арестом немалая сумма денег в румынском банке, и он полагал, что если немцы победят, то ему вернут эти деньги.

У Верблюда была настоящая карта Европы. Он повесил ее над своей постелью и красным карандашом все дальше и дальше в глубь России тянул стрелы немецкого наступления. На его карте эти стрелы уже сомкнули кольцо вокруг Москвы.

Назым пытался поймать Москву. С грехом пополам разбирал русскую речь - успел от нее отвыкнуть. Москва не могла сообщить ничего утешительного.

Назым выходил на балкон, опоясывавший корпус. Вершины гор были покрыты снегом. Молча ходили они с Рашидом, замерзшие, по балкону. И, коченея от ужаса, Назым думал: «А что, если цифры немецких сводок верны хотя бы наполовину?» Это была такая невероятная, страшная мысль, что он, пожалуй, первый и последний раз в жизни вопреки своему обыкновению не позволял себе додумать ее до конца.

Спустившись во двор, он поднимал горсть чистого утреннего снега, ел его. И пытался представить себе Москву. Заснеженная, морозная, как в год смерти Ленина, она была окружена фашистами. Там истекают кровью. А мы здесь валяемся на боку! И ярость бессилья переполняла его.

Возвращаясь в промозглую, как погреб, камеру, они молча садились с Рашидом друг против друга. Назым посасывал пустую трубку, глаза его не могли остановиться, бегали из угла в угол, как загнанные, и вдруг он говорил:

- Нет, невозможно. Фашисты не могут победить. Историю не повернуть вспять...

Вот тогда-то вокруг самодельной карты и появились эти глаза, обезумевшие от ярости и боли, мефистофельские профили, искаженные ужасом лица. Он рисовал их и на стене в коридоре, слушая радио.

Губы до крови закуси,
рану руками зажми,
вытерпи,
выдержи,

вынеси.
Воплем
голым и гневным
стала надежда твоя...

Он пытался передать свою надежду другим. Но кто его слушал? Факты говорили против него.

Той зимой в бурсской тюрьме приспособились согреваться одеколоном: добавляли в него сахар, лимон и пили вместо водки. Верблюд похвалялся: как только падет Сталинград, закатит Назыму и Рашиду банкет с чаем и одеколоном.

- Не рисуй на карте стрелы так жирно, - отвечал Назым. - Их еще придется тянуть назад...

- Возможно ли это, мон шер? Возможно ли? - похохатывал Верблюд.

- Хорошо смеется тот, кто смеется последним!

Сталинград не пал. Началась «эластичная» немецкая оборона. Фашисты отступали все дальше и дальше.

Верблюд сделался посмешищем всей тюрьмы. Вчерашние единомышленники на прогулках прицепляли ему бумажный хвост, надвигали шапку на глаза, словно он был виноват в поражении германской армии.

Прослушав последние известия, Назым и Рашид являлись теперь в камеру Верблюда с карандашами в руках и все дальше уводили стрелы от Москвы.

Неграмотные обитатели камеры голых наделили Назыма пророческим даром - он угадал будущее, когда им еще и не пахло. Каждое его слово принималось теперь как закон.

Назым сердился:

- Ну скажи, вот ведь бараны - подавай им веру. Сначала одну, потом другую. И не хотят задуматься, отчего я оказался прав.

Хотя исход войны был уже более или менее ясен, до него было не близко. Война перехлестнула границы карты, некогда вырезанной из газет. Но Назым хранил ее, как ни страшны были связанные с ней воспоминания. Рашид, с которым они пережили эти тяжелые дни, наверное, понял бы его лучше других, но он уже скоро год, как вышел на волю...

Вспомнив Рашида, он сел за машинку, вставил в нее тонкий лист синей папиросной бумаги:

«Брат мой, Рашид! Я получил от тебя двести лир и длинное письмо. Карточки с поздравлениями роздал. Не можешь себе представить, как все были рады... Но поговорим о романе, который

ты задумал... Не забывай, что в этом деле очень полезно с полной ясностью представлять себе, что ты берешь, можешь взять от предшественников, что они по этому поводу думали, что думаешь и что впервые делаешь ты сам. Я восхищаюсь твоей чуткостью к жизни. В тебе великолепные задатки романиста, рассказчика. И нет никаких причин, почему ты мог бы потерпеть неудачу. Ты храбр. Правда, немного не хватает образования, но его можно возместить - ты же каждый день нос к носу сталкиваешься с самой голой, неприкрытой реальностью. Если ты и впрямь будешь работать в том темпе, о котором пишешь, то в недалеком будущем подаришь турецкому народу и через него всем народам этой земли великолепные произведения. Я страшно в тебя верю. Да будет открытым и прямым твой путь. Желаю тебе смелости, силы и особенно хладнокровия, воли и трезвости, брат мой...»

Хладнокровия, воли и трезвости... Так легко желать! Он оторвался от машинки и снова поглядел на карту, на зажатую в кольцо Москву...

В Болу в 1921 году, развесив по стенам шкурки зайцев, он тоже сообразил себе карту. В первый же вечер, когда они разместились на втором этаже большого пустого дома и, готовясь ко сну, надели по обычаю того времени длинные батистовые ночные рубахи - Валя захватил их с собой из Стамбула, - Назым вдруг вскочил с софы, порылся в карманах пиджака, вытащил огрызок карандаша, который всегда таскал с собой, вышел в прихожую и на белоснежной новенькой штукатурке начертил карту Анатолии. За Анатолией появилось Средиземное море с островами Лесбос, Крит. Потом итальянский сапог, за ним Швейцария и Германия. Зрительная память была у Назыма превосходная. Он провел на карте линию от Болу до Бодрума на средиземноморском побережье, от Бодрума продолжил до Бриндизи, ближайшего итальянского порта, а оттуда - через Альпы в Швейцарию и Германию.

То был его давний план, родившийся в разговорах с Садыком Ахи и другими «спартаковцами», - уехать в Германию учиться, повидать цивилизованный мир. Хотя революция в Германии была подавлена, Назым не собирался менять своих планов.

В самом деле, не затем они приехали сюда, в Анатолию, чтобы всю свою жизнь провести в этом провинциальном городишке. Вставать рано утром, отправляться в лицей, а после уроков, посидев в кофейне, ложиться спать вместе с птицами. Такая жизнь была не по нем.

Глядя на карту, они с Валей высчитали, за сколько дней можно добраться до Германии, путь представлялся им таким же

простым, как из Анкары в Болу. Ну, а не хватит денег, подработают по дороге. Они должны были во что бы то ни стало увидеть мир и одолеть свое невежество. Покровительственная усмешка Садыка Ахи, снисходительный тон его товарищей не давали им покоя. Два непредвиденных обстоятельства заставили их взглянуть совсем в другую сторону.

В последнее время после работы они чаще всего запирались дома, читали, спорили, трудились над стихами.

Впечатления, приобретенные Назымом в Анатолии, плохо вмещались в привычные размеры. Он стал экспериментировать - сначала с рифмой, пробовал рифмовать конец и начало строк, находил внутреннюю рифму. Затем настал черед размеров.

От символических стихов Назым перешел к пейзажам - все, что он хотел высказать, должно было уместиться в точной картине природы.

Сам того не подозревая, он пробовал, повторить и опыты сюрреалистов - разрывал видимый мир на части, чтобы сопоставить несопоставимое, и дадаистов, игравших звуками, отделенными от смысла.

Нащупывая новый взгляд на мир, Назым примерял поэтические одежки, еще не надеванные турецкой поэзией, и походя отбрасывал их одну за другой. Он подыскивал под свой ломающийся голос самые различные инструменты, на ощупь искал себя и свой путь в поэзии, так же как искал себя в живописи в бурсской тюрьме Ибрагим Балабан.

В один из таких рабочих дней почтальон принес пакет и открытку из Анкары. Открытка была от девушки, той самой, которая заставила его спешить с отъездом из Стамбула и которую он снова встретил в Анкаре. Она писала, что отправляется вместе с семьей на Кавказ. Отец девушки, видный иттихадист, подобно многим другим, чувствуя, что приближается решительное сражение с греками, перебирался поближе к своим вождям - Энверу-паше и Джемалю-паше. Первый жил на Кавказе, второй - в Москве. В случае неминуемого - они были в этом уверены - поражения Мустафы Кемаля они намеревались возглавить с помощью большевиков новую волну турецкого сопротивления и опять прийти к власти. На Кавказ уехал и бывший начальник управления печати Мухиддин-бей, который заказал юным поэтам воззвание к стамбульской молодежи.

Назым подбежал к карте, нарисованной на стене. Начертил Черное море.

Как они едут на Кавказ? Через Батум.

На кавказском побережье появился кружочек - Батум. Из Батума в Тифлис? Назым нарисовал второй кружок в самом

сердце Кавказа и задумался.

Мягкая, покорная старшим, ласковая и умная тем умом, который принято называть хитростью, эта девушка была полной противоположностью Назыму - вспыльчивому, страстному, открытому. В Болу приятели вот уже много месяцев не видели ни одного женского лица - город был фанатично предан старым мусульманским обычаям и держал своих женщин взаперти. И воображение Назыма превратило обычную девицу из порядочной стамбульской семьи в чудо ума и природы.

С ним это случалось не раз и позднее. Влюбившись, он наделял предмет любви своим собственным содержанием, а поскольку содержание это было чрезвычайно глубоким, то и возлюбленная становилась в его глазах прекраснейшей женщиной мира.

В зрелые годы, зная себя, Назым иронизировал: «Нарцисс влюбился в свое отражение». Но кто не ищет в любви самого себя?..

Назым будет дорого расплачиваться за свои ошибки. Но ни опыт, ни знания тут не помогали.

С девушкой, которая звала его на Кавказ, он встретится позже в Тифлисе и, как буря увлекает за собой сорванную с деревьев листву, увлечет ее за собой. Она приедет в Москву, поступит в тот же самый университет, где учился он, станет его женой. Но ее родители сделают все, чтобы спасти свое дитя от зловредного влияния сумасшедшего большевиствующего поэта: «Как ты можешь ужиться с человеком, который каждым словом, каждым жестом восстает против всех и вся, - даже волосы его бунтуют против гребенки парикмахера. Ты погубишь себя. Мать и сестра проливают слезы по тебе в Тифлисе».

Их совместная жизнь продлится меньше года. Уехав к своим в Тифлис на каникулы, она встретит явившегося за ней Назыма словами:

- Назым, брось свой коммунизм. Я хочу, чтобы у нас была семья, как у всех, дети, свой маленький домик...

Домик! Гнездышко, а может быть, клетка?! Пожертвовать своими идеалами ради мелкобуржуазной идиллии? Не затем он приехал в Россию.

Он снимет ее руки со своих плеч. Повернется и выйдет из комнаты. Больше они не увидятся.

Не стамбульская барышня-мещанка, а Леля Юрченко - вот кто была ему парой. Не женщина только - единомышленница, товарищ в борьбе. Леля знала, что он вернется на родину, а ей туда путь заказан. Но она любила его. И что ей было за дело до штампа в паспорте или семейного гнездышка? Она была

счастлива... Оба они считали, что даже любовь не дает права собственности на человека, человек - не вещь...

Вернувшись в Турцию, Назым узнает, что его первая жена вышла замуж за состоятельного человека, профессора. Он напишет:

Был великан с голубыми глазами.
Он любил женщину, маленькую женщину.
А ей в мечтах являлся
маленький дом, где растет под окном
цветущая жимолость…

Был великан с голубыми глазами.
Он любил женщину, маленькую женщину,
А она устала идти с ним рядом
дорогой великанов,
ей захотелось отдохнуть
в уютном домике с садом.
«Прощайте!» - сказала она голубым глазам.
И ее увел состоятельный карлик
в маленький дом, где растет под окном
цветущая жимолость.

И великан понимает теперь,
что любовь великана
не упрятать в маленький дом, где растет под окном
цветущая жимолость.

Не ожидал он, что так будет болеть эта рана. Долго отталкивал он от себя женщин, полагая, что не создан для нормальной семейной жизни, ибо не отступится от себя и своих идей, чего бы это ему ни стоило, и обречет любимую на страдания. В двадцать восемь лет он так оттолкнул от себя свою самую большую любовь.

Но в восемнадцать он ничего еще не мог об этом знать. И, глядя на карту, мечтал о том, как увидит свою стамбульскую любовь.

Валя тем временем раскрыл пакет. В нем оказалось письмо от Хикмета-бея и книги - несколько томов истории французской революции, стихи Бодлера. Как это ни покажется странным, Назым не слыхал до той поры этого имени - то ли Яхья Кемаль, его учитель и большой знаток французской поэзии, почему-то не упоминал о нем, то ли Назым прослушал. Правы были Садык Ахи и его товарищи. Они еще многого не знали.

Несколько дней подряд взахлеб читали приятели «Цветы зла». Позднее в тюрьмах товарищи не раз удивлялись - столько своих стихов забыл Назым, а Бодлера помнил.

Еще больший конфуз вызвала история французской революции. Они о ней, правда, слышали и даже кое-что учили в школах. Но здесь были незнакомые подробности о якобинской Диктатуре, о «бешеных», крайне левых французской революции, чьи взгляды перекликались с идеями социалистов, а они, невежды, только сейчас об этом услыхали.

Назым снова подошел к карте и, глядя на Тифлис и Батум, проговорил:

- Вот куда мы поедем! Здесь происходят события, которые оставят след в истории. И может быть, еще более глубокий, чем французская революция. Мы должны это увидеть своими глазами. А не киснуть в этом затхлом углу...

В шестьдесят лет Назым Хикмет вспоминал: «Город Батум похож на шахматную доску. Дождь в Батуме может лить хоть сорок дней и сорок ночей, но стоит выглянуть солнцу, улицы, мощенные галькой, высыхают в одну минуту.

В Ботаническом саду в Батуме на Зеленом Мысе есть любые деревья, цветы и травы, какие можно встретить в тропиках. Летом 1922 года на батумском пляже мужчины загорали вместе с женщинами совершенно голые, в чем мать родила. Я приехал сюда из Анатолии, где у женщин видел голыми только руки, ноги да глаза, и то лишь на рынках... Руки и ноги крестьянских женщин точно корни старых олив... Но иногда, встретившись на базаре с парой женских глаз, смотревших в щелку между двумя кусками материи, мне казалось, что я видел женщину голой, с головы до пят... А когда видишь полную наготу, к. ней быстро привыкаешь, потому что ничего не остается воображению. Очень скоро я перестал замечать наготу женщин, лежавших на батумском пляже... Но я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке, если моя жена лежит на пляже в купальнике среди мужчин. Знаю, что это пережиток, и все же... Дело в воспитании - мой пасынок Мемед Фуад надо мной смеялся. Ему это и в голову не приходило. А мой дед не разговаривал с моим отцом лишь оттого, что он повесил портрет моей матери на мужской половине дома, где каждый мог видеть ее лицо. Три поколения - три разные эпохи. Вот как изменилась моя страна на протяжении одной человеческой жизни...

В Батуме в гостинице «Франция» я сел за стол. А есть так хотелось, терпенья нет. За день я съедал четверть фунта - сто граммов черного хлеба, две тарелки супа из кукурузной муки и

выпивал два стакана чая с сахарином. В супе плавали рыбьи головы... По дороге в Батум мы проели все наше жалованье, которое заработали в Волу. В каждом городишке на пути устраивали банкеты приятелям и знакомым, - ведь в России, в коммунистической России деньги отменены. Так по крайней мере утверждали Садык Ахи и наш новый товарищ Зия Хильми, а он знал больше Садыка. Надо было поскорей избавиться от этих позорящих человеческое достоинство бумажек. В Батуме мы поняли, что поторопились и перескочили через одну общественную формацию - социализм...

В Батуме, в номере гостиницы «Франция», я сел за стол, овальный, со всех сторон резной, с выпуклостями и впадинами - стиль рококо... Тридцать пять дней, равные тридцати пяти годам, провел я в дороге из Стамбула в Анкару, из Анкары в Болу, я - стамбульский отрок, внук паши. Так я познакомился с Анатолией, и вот теперь все, что я видел и пережил, лежало передо мной в Батуме в номере гостиницы «Франция», словно рваный окровавленный платок, на столе рококо... Смотрю, и мне хочется плакать, смотрю, и кровь ударяет в голову от гнева. Смотрю и снова стыжусь своего особняка в Ускюдаре, Решай, говорю себе я, решай, дружище... Но ведь все уже решено, мосты сожжены? Постой, дружище, не спеши. Давай положим все на этот стол, рядом с твоей Анатолией. Что ты можешь отдать ей? Чем можешь пожертвовать? Всем, что у меня есть... Свободой? Да! Сколько лет ты можешь ради этого просидеть в тюрьмах? Если потребуется, хоть всю жизнь. Но ты любишь женщин, любишь есть, пить, хорошо одеваться. Ты мечтаешь объехать Европу, Азию, Америку, Африку. Так оставь же здесь, на столе рококо, свою Анатолию, махни через Тифлис в Каре, а оттуда обратно в Анкару. Не пройдет и четырех-пяти лет, как ты станешь депутатом, министром. Женщины, яства, вина, искусство - все к твоим услугам, весь мир!..

Брось! Если потребуется, просижу в тюрьмах всю свою жизнь. Но если ты станешь коммунистом, тебя могут убить, повесить, утопить, как утопили Субхи и его товарищей в Трабзоне, незадолго до твоего приезда. Об этом ты думал? Думал. Я спросил себя: не боишься ли, что тебя убьют? Не боюсь! Сразу ответил, не думая? Нет, не сразу. Сначала я понял, что боюсь, а потом, что не боюсь. Я спросил себя: согласен ли ты на увечье, готов ли ты ради этого потерять руку, ногу, оглохнуть? Заболеть сердечной, болезнью, чахоткой, ослепнуть? Ослепнуть... Подожди, вот об этом я не подумал. Я встал. Крепко зажмурил глаза. Походил по комнате, ощупывая руками мебель. Споткнувшись, растянулся на полу. Но глаз не открыл... Потом поднялся, встал у

стола. Открыл глаза. Готов и ослепнуть ради этого!.. Вы скажете, это по-детски, немного смешно... Но так!

Не книги, не убеждения, не мое социальное положение привело меня туда, куда я пришел. Меня привела туда Анатолия. Анатолия, которую я разглядел еще так плохо, с одного только краешка. Мое сердце привело меня туда, куда я пришел, вот так-то!..»

Предположим, оккупантов из Стамбула выгонят. Но что делать с нищетой? Разве нищета Анатолии не больший позор, чем иностранная оккупация? Нужно во что бы то ни стало найти средство, найти путь, чтобы избавить народ от скотской жизни.

Эти мысли, неотступно мучившие его в Болу, Назым выложил при первом же знакомстве с председателем уголовного суда Зией Хильми.

Когда судья вошел в кофейню, все встали. Так было заведено в те годы в Анатолии - стоило начальнику уезда, судье и другому чину войти в общественное место, все почтительно умолкали и стоя приветствовали его поклоном.

Зия Хильми сел за их столик - верно, успел прослышать о молодых стамбульских поэтах.

Это был еще совсем молодой человек лет двадцати шести. Но он носил окладистую медную бороду - иначе его вряд ли стали бы слушать.

Зия сразу заговорил о поэзии. Валя стал читать наизусть Бодлера, и, к их изумлению, судья по-французски закончил полюбившееся им стихотворение «Балкон». От Бодлера перешли к французской революции, и тут их новый друг выказал знания, которые нельзя было вычитать в присланных из Стамбула томах. Диктатура монтаньяров, по словам судьи, предшествовала Парижской коммуне, а следовательно, и первой русской революции 1905 года. То, что происходит в России сейчас, - естественное развитие исторического процесса, доказывающее необходимость диктатуры пролетариата для освобождения человечества. Помните споры Ленина с Каутским?..

Председатель уголовного суда явно переоценил осведомленность друзей. Ни о коммуне, ни о спорах Ленина, ни о диктатуре пролетариата Садык Ахи им ничего не говорил. И они снова ужаснулись своему невежеству.

Способ избавить Анатолию от нищеты можно было, оказывается, найти в опыте русской большевистской революции. И на следующий день Назым заявил: «Короче, этим летом мы едем в Россию. Будем учиться, узнаем правду о революции».

Тут даже Зия Хильми, кажется, в первый и последний раз,

потерял хладнокровие: «Как, этим летом вы собираетесь в Россию?.. Ну что ж, - добавил он, подумав, - и я с вами».

Зия Хильми предложил своим новым друзьям перебраться в деревню. Он присмотрел неподалеку от Болу деревянный дом. Деньги будут платить поровну - половину он, половину они. Судья купил жеребца - на нем он собирался ездить в присутствие и привозить из города продукты. А они должны будут прибирать в доме, мыть посуду, стирать белье. Варить обеды Зия Хильми намеревался собственноручно.

Назым и Валя мечтали убраться из города. И как только окончились занятия в лицее, друзья переселились в деревню, То были, пожалуй, самые счастливые месяцы в жизни Назыма, По крайней мере так ему казалось в бурсской тюрьме. Деревня стояла на склоне горы, вся в зелени. На вершине вертелась мельница. Дорога из города шла через зеленое кладбище. Вокруг шумели фруктовые сады, а выше начинался густой лес.

Предложение Зии Хильми самим себя обслуживать они приняли с радостью - это им пригодится. Деревенский дом в Болу оказался первой коммуной в жизни Назыма Хикмета. Их предстояло ему еще много - в общежитиях, в тюрьмах, в подполье. Здесь отпрыск стамбульского паши учился мыть посуду и стирать белье, мыть полы, варить обеды. С той поры общая жизнь, где поровну были распределены обязанности, стала его потребностью. И потом, когда в ней не было прямой нужды - в Стамбуле или в Москве пятидесятых годов, он, отдыхая от работы, с удовольствием хозяйничал, помогал жене, возился на кухне. Назым и здесь был новатором - сочинял небывалые блюда, усовершенствовал домашние работы, - правда, не всегда с таким же успехом, как в поэзии.

Покончив с обязанностями по дому, друзья садились писать. К вечеру на гнедом жеребце Дюльдюль возвращался из города нагруженный покупками Зия Хильми. И брался за варку обеда. Здесь, на кухне деревенского дома, продолжались беседы и споры. Назым считал, что условия жизни в обществе портят людей. Нужно, мол, отбирать детей у родителей и помещать их где-нибудь в горах в интернате, под наблюдением избранных воспитателей. Тогда грязь этого общества не пристанет к ним.

Зия, стоя над кастрюлями, качал головой.

- Все это старая песня. Прочти утопистов - Руссо. Почитай Маркса, Энгельса. Тебе еще пуд соли съесть надо.

Назым сердился, но не уступал.

По вечерам в деревне под Болу происходили заседания городского уголовного суда. Зия Хильми привозил материалы очередного дела. Валя был вторым членом суда, Назым -

прокурором.

Два настоящих члена суда и прокурор были слишком стары и ленивы. Они мирно дремали на заседаниях и во всем соглашались с председателем. Подлинное разбирательство происходило, таким образом, не в суде, а здесь, - в зале заседаний только выполнялись формальности.

Решение друзья принимали просто. Достаточно было узнать, кто обвиняемый - богач или бедняк. Если бедняк - его оправдывали, если богач - присуждали к наказанию. В кодекс законов и материалы предварительного следствия заглядывали лишь, если обе тяжущиеся стороны были либо бедняками, либо богачами. В общем, как в те годы говорили в России, суд руководствовался не законом, а революционной совестью. В результате судья Зия Хильми стал самым популярным человеком в округе - бедняки готовы были за него в огонь и в воду.

Участие в неофициальных судебных заседаниях на правах, говоря языком современным, общественного обвинителя давало в руки Назыма массу конкретного материала. Социальные конфликты открылись перед ним, как открываются истинные причины болезни на столе патологоанатома. Он пишет свою первую пьесу «Каменное сердце». Но самые реальные конфликты, которые он видит в Болу, приобретают абстрактный, символический вид. Он и в этой пьесе использует фольклорные образы-символы, хотя и пытается их по-своему переосмыслить. Замысел «Каменного сердца» вырос из народной пословицы «Сердце не камень». Герой пьесы крестьянин-бедняк. Возмущенный притеснениями помещика, он убивает его, чтобы посмотреть, есть ли у этого жестокого человека сердце. Но вместо сердца вынимает из его груди камень.

Камень и сердце - жизнь и человек. К этому образу когда-то прибегнул Джелялэддин Руми, говоря о развитии души от камня к человеку. С этого образа начинает в годы национально-освободительной войны Назым Хикмет поиски собственного пути, обнаружив, что условия жизни превращают порой человеческое сердце в камень.

После второй мировой войны, в бурсской тюрьме, Назым напишет пьесу «Об Иосифе, продавшем своих братьев», построенную на фольклорном библейском сказании. В ней он возвратится к тому же образу - камень и человек. Иосиф, продавший своих братьев, обтесывает камень, как свою судьбу, - без шума, упорно, не щадя ни себя, ни камень, ни других, один, без помощи других. И поэт устами каменщика Меиофиса отвечает ему: «Неправильно показал нам Иосиф. Камень надо обтесывать не так. Это верно, надо работать с терпением, с умом, если

необходимо, и с хитростью. Без шума, без крика: обтесывать камень, как свою судьбу. Но рядом с другими каменщиками. Любя и камень, и себя, и других. Вот так!»

Каждое новое поколение приходит в мир с ощущением, что жизнь, которая была до него, нуждается в коренной переделке и они, молодые, устроят ее по-своему, лучше и справедливей. Будь иначе, трудно было бы надеяться на будущее мира. Молодому Назыму повезло больше других - в те годы историческое развитие мира слилось в людях с движением их сердец. А это редкое и большое счастье.

Окончились и экзамены в лицее. Пора было отправляться в путь. Но у них не было денег - преподаватели болийского лицея не получали жалованья вот уже много месяцев. Валя сел на гнедого жеребчика Дюльдюль и уехал в Анкару добиваться в министерстве выплаты жалованья.

Тем временем в Болу произошли события, которые заставили друзей поторопиться с отъездом. Сменился начальник округа - мутасаррыф.

Однажды после полудня учителя собрались в «Кофейне беев», выбрали делегатов и отправили их к новому мута-саррыфу требовать жалованья. Среди делегатов был и Назым.

Путь от кофейни к резиденции мутасаррыфа пролегал через рынок ремесленников. Лавчонки, мастерские, торговые ряды ощетинились брезентовыми козырьками. Начался сильный дождь.

Учителя шли за Назымом по рынку, закрывшись зонтиками. Когда Назым подошел к резиденции мутасаррыфа, зонтики исчезли вместе с их обладателями, словно растаяли под дождем. Чиновники не привыкли что-либо требовать у начальства - в султанские времена за это по головке не гладили.

Трусость коллег привела Назыма в ярость. Красный от возбуждения, он приподнял тяжелую занавесь и ввалился в кабинет мутасаррыфа.

Тот сидел за столом, высокий, в папахе. Назым плюхнулся в кресло и приступил к изложению дела. Мутасаррыф оборвал его жестом, отпустил привратника, вошедшего вслед за неучтивым посетителем. Встал из-за стола.

- Жалованье за месяц я уже распорядился выдать, - Сказал он. Остановился перед Назымом. Помолчал. - Мне известно, каковы ваши убеждения, Назым-бей. Я знаю, чем вы занимаетесь в деревне и кто ваши друзья.

Он снова помолчал. Потом сел в кресло напротив и положил руку на колено Назыму.

- Греческие войска начали наступление на Анкару!

Назым вскочил.

- Анкара может пасть.

- И что же?

- Мы объявим здесь в Болу большевизм. Зия-бей станет премьер-министром, ваш друг Валя-бей - министром финансов, Вы - министром внутренних дел. Меня объявите президентом. Мы создадим крестьянскую Красную Армию и пойдем освобождать Анкару. Готовьте сторонников, но обо мне пока ни слова...

Назым вдруг успокоился: надо было действовать.

Что был за человек этот мутасаррыф - провокатор или бывший иттихадист? А может, просто карьерист? Он и сейчас, четверть века спустя, не знал этого. А тогда ему просто не пришли в голову эти вопросы.

Назым вышел на крыльцо. В обе стороны вели вниз каменные ступени. Спускаясь по ним, он прикидывал, на кого можно положиться в их молодежном кружке, кто будет с ними из старых учителей. Ну, а в селах и на рынке ремесленников за председателем уголовного суда Зией Хильми пойдут все.

Мутасаррыф сказал, что начальника жандармерии, то есть сельской полиции, он надеется перетянуть на свою сторону, а вот начальника полиции городской следует опасаться.

Назым и Зия разработали план кампании, дважды встречались с мутасаррыфом.

Но Анкара не пала. Наступление интервентов было остановлено. И мутасаррыф вызвал к себе Назыма.

- Вы должны уехать как можно скорее. Больше вам здесь делать нечего. Только меня подведете...

Через сорок с лишним лет по дороге из Анкары в Стамбул мы заехали в Болу. Новое шоссе проходит теперь за пределами города. Болу, конечно, сильно изменился. Но рынок ремесленников остался таким, каким был, - узкие улочки-ряды, прямо перед лавками вывешены туфли, посуда. Мы заглянули к ложкарю. Купили у него на память длинную деревянную ложку на плоском черенке, с лаковыми цветочками.

Пошел дождь, сначала мелкий, потом все сильней и сильней, как в тот далекий четверг, когда Назым вел по рынку, по этим самым рядам делегацию учителей требовать жалованья.

Мы направились к резиденции мутасаррыфа. Окружной начальник теперь помещается в другом здании. Но прежнее сохранилось в неприкосновенности. Все то же крыльцо с лестницами в обе стороны. Разве ступени чуть больше выщерблены - что для камня полвека?!

Проехав до конца города, мы повернули обратно, к шоссе. И нос к носу столкнулись с полицейской машиной. Она шла за нами

из самой Анкары, но на значительном расстоянии. А тут, в Болу, полицейские взволновались: что нужно советским писателям в этом провинциальном городке? И они сели нам прямо на хвост.

Откуда им было знать, что мы просто хотели посмотреть на город, где учительствовал великий национальный поэт Турции, со смертью которого каждый из нас никак еще не мог примириться...

Как только Валя вернулся из Анкары, друзья наняли рессорную повозку, погрузили на нее свое немногочисленное имущество и отбыли в крохотный черноморский порт Акчакоджа. Оттуда на русском пароходе «Корнилов» - он был конфискован итальянцами и ходил под итальянским флагом - перебрались в Трабзон: Турция была лишена права иметь свои суда даже для каботажа.

План у них был таков: скажут, что едут в Каре учительствовать. А в Каре тогда было два пути - долгий, мучительный по бездорожью через Сивас и Эрзрум и более легкий морем до Батума, а оттуда через Тифлис по железной дороге.

Когда они прибыли в Трабзон, город был объят страхом. Политическая полиция Айн-Пэ следила за каждым приезжим человеком. Власти опасались волнений.

В Трабзоне в начале года были умерщвлены пятнадцать коммунистов во главе с основателем Турецкой компартии Мустафой Субхи. Они возвращались из России по приглашению Мустафы Кемаля для участия в национально-освободительной войне. Но в Эрзруме толпа фанатиков-чалмоносцев забросала камнями их тарантасы: «Коммунисты хотят сорвать покрывала с наших жен. Превратить мечети в хлев!»

Власти разоружили Субхи и его товарищей, переправили в Трабзон и ночью якобы для их собственной безопасности посадили на моторный бот, направлявшийся на запад. Но староста трабзонских лодочников посадил на другой бот вооруженную банду и на траверсе мыса Сюрмене взял бот субхистов на абордаж.

Говорят, схватка в море продолжалась два часа. Тела убитых коммунистов были брошены в море. Уцелела лишь жена одного из них, русская женщина, которую бандиты увезли с собой.

Вдохновители преступления неизвестны и по сей день. Ясно одно: староста лодочников и его люди были всего лишь наемными убийцами.

Зия Хильми не решился просить дозволения на проезд через Ватум. У Назыма с Валей хоть была бумага из Болу: направляются, мол, учителями в Каре. А Зия был юристом и, пока суд да дело, поступил на службу в армейское управление. Да и

Айн-Пэ наверняка успела пронюхать об их деятельности в Болу. Словом, пусть Назым и Валя едут, он присоединится к ним спустя месяц-другой...

Назым не встретился с Зией Хильми ни через месяц, ни через год. В Болу все были уверены, что этого волевого, умного человека ждет блестящая карьера. Назым полагал, что со временем Зия станет одним из лидеров революционного движения.

Все вышло иначе. После победы над интервентами он вернулся в Стамбул. Компартия была загнана в подполье и разгромлена. На время организация распалась. Существовали лишь не связанные друг с другом, разрозненные кружки. Впереди были годы и годы кропотливого собирания сил.

Зия не желал ждать. Решил создать группу террористов для захвата власти. Как-то на пароходе, курсировавшем по Босфору, он встретился с Валей. Валя к тому времени тоже отошел от своих прежних друзей и убеждений, работал в правой газете.

- Хочешь заработать много денег? - спросил Зия, когда они остались одни. Зия уже не носил бороду. Вид у него был неопрятный, потрепанный.

- Ты лучше сам сначала заработай, - отшутился Валя. Через несколько месяцев газеты сообщили, что Зия Хильми арестован за контрабанду наркотиками. Он рассчитывал обеспечить деньгами свою сверхгероическую деятельность, торгуя героином.

Вспоминая об этом в Москве в конце пятидесятых годов, Назым волновался так, будто речь шла не о событиях двадцатипятилетней давности. Цель, даже самая высокая, никогда не оправдывала для Назыма неразборчивость в средствах.

- Можно, конечно, достичь цели любыми средствами. Но, достигнув, непременно обнаружишь, что если средства были не те, то и цель оказалась совсем иной, чем ты ее себе представлял... Не бывает лжи во спасение истины, бывает лишь ложь во спасение лжи. Цель и средства, как содержание и форма в искусстве, - неразрывны. И если маоцзэдунисты торгуют теперь наркотиками за границей, думая построить с помощью этих денег у себя в стране социализм, то, возведя провокационный авантюризм Зии в ранг государственной политики, они построят, если уцелеют, нечто совсем иное...

Зия Хильми погиб в 1934 году при взрыве тайной лаборатории, где изготовлялся героин.

Но 1 сентября 1921 года, сидя в последний раз вместе с ним в трабзонской кофейне и прощаясь на пристани, откуда пароход

увозил их в Ватум, Назым не мучился никакими предчувствиями. Его ждали новый мир, новая жизнь...

Бей, Ферхад. бей!

Брат мой, ты словно крот,
во мраке трусливом живешь ты, как крот слепой.
Брат мой, ты как воробей,
в воробьиных тревогах увяз с головой.
Брат мой, как устрица ты - закрыт и доволен собой,
и страшен, как кратер вулкана погасшего, ты, брат мой.
Таких, как ты, не один и не пять -
на миллионы приходится вас считать,
к сожалению.
Брат мой, ты как баран;
когда папку поднимет торговец скотом,
ты бросаешься в стадо бегом и потом -
чуть не с гордостью даже - идешь на убой,
брат мой.
Нет на свете второго такого, как ты, существа,
ты загадочней рыбы, которая в море живет,
ничего не зная о море.
И на этой земле гнет и горькое горе - из-за тебя...
Это твоя вина,
говорю тебе с болью душевной,
велика твоя доля вины, брат мой милый,
бедняга безгневный.
НАЗЫМ ХИКМЕТ

Глава, в которой поэт возвращается на родину и Бенерджи решает покончить с собой

Первая книга Назыма Хикмета «Песня пьющих солнце» читается справа налево. Она вышла в Баку в 1928 году. Назым включил в нее лучшие свои стихи, написанные с того дня, как пароход «Корнилов» привез его вместе с Валей в Батум. За эти семь лет он не только изменил себя, но и изменил облик турецкой поэзии.

С первой страницы его бакинской книжки, напечатанной старым арабским шрифтом, глядит молодое округлое лицо. По-прежнему волосы его бунтуют против парикмахерского гребешка. Но глаза уже не распахнуты настежь, как в юности: испытующе прищуренные, они сосредоточены на какой-то одной неотступной мысли, словно, глядя на мир, он постоянно прислушивается к себе, к свершающейся в нем работе.

Как ни изменился он за эти годы, но когда он сошел с парохода в причерноморском городке Хопа, агентам полиции не составило особого труда опознать его.

Судебный приговор, осудивший Назыма на десять лет тюрьмы, больше ему не угрожал. Власти объявили амнистию по случаю национального праздника. Назым несколько месяцев обивал пороги турецкого посольства в Москве, добиваясь разрешения на въезд в Турцию. Потом махнул рукой и поехал без разрешения. У него не было ни времени, ни терпения ждать - он должен был показаться на родине «в своей красной рубашке». В России он был - по крайней мере так казалось ему самому - лишь потребителем духовной пищи, настало время создавать духовные ценности, поделиться с другими из своих запасов.

Он знал, какая сила заключена в его поэзии. Но ведь на родине его новые стихи практически неизвестны. Несколько стихотворений, напечатанных в журнале «Айдынлык», не в счет; журнал был полулегальный, кто его видел? Да и потом его скоро закрыли. Назым не мог больше ждать ни недели.

Но прошло несколько месяцев со дня его возвращения на родину прежде, чем он оказался на свободе. В Хопа на него надели наручники, привели в тюрьму. Обыскали.

Искали оружие, тайные директивы, а нашли огрызок карандаша и записную книжку со стихами - его единственным, но грозным оружием.

Среди стихов была в книжке и «Дума о Гераклите»,

записанная, естественно, арабскими буквами, - новый, латинизированный алфавит меджлис принял всего несколько месяцев назад. У арабского алфавита были свои преимущества. Поскольку гласные в скорописи не обозначались, можно было записывать в темпе живой речи. И потому, когда Назым торопился, он пользовался им и позднее.

Но как нет худа без добра, так и нет добра без худа. Арабский алфавит не соответствовал строю турецкого языка, и написанные им слова можно было прочесть только, если ты их знал. Это мешало распространению грамотности, и потому реформа алфавита была, бесспорно, прогрессивным делом.

Полицейский чин, снимавший допрос с поэта в хопской тюрьме, конечно, и слыхом не слыхал о Гераклите и прочел его имя в арабской скорописи, как «хэрэкаллиет», что означало: «каждое национальное меньшинство». И узрел крамолу: «Ага, значит, ты приехал подстрекать меньшинства?»

По новой конституции страны все ее население было объявлено турками. Националисты начали насильственную тюркизацию меньшинств. И Назыму грозили большие неприятности.

- Помилуйте, - усмехнулся поэт, - Гераклит - это греческий философ из Эфеса...

- Ах, еще и греческий! Ну что ж, ответишь перед судом! Хотя обвинение оказалось несостоятельным даже в глазах прокурора, Назыма продержали в хопской тюрьме почти три месяца. Затем, не зная, как быть, отправили по начальству в Ризе, а оттуда, по-прежнему в наручниках, - на усмотрение стамбульских властей.

Прослышав о возвращении Назыма Хикмета, писатели выступили с протестами в печати. И Назыма выпустили, наконец, на свободу.

Шел 1928 год. В Италии фашисты были у власти. Но беззастенчивое попрание нормальной человеческой логики и законности еще не стало нормой в Европе. И в республиканской Турции, провозгласившей европеизацию основой своей политики, полное отчуждение совести и собственных убеждений в пользу государства, общеобязательное единомыслие не стали еще непременным признаком верности отечеству. Конечно, инакомыслие, особенно революционное, подавлялось, инакомыслящих преследовали, предавали суду, сажали в тюрьмы. Но еще казалось невероятным, что через десять лет осужденному перед казнью будут заливать рот алебастром, чтобы он не мог произнести перед смертью ни слова, как это практиковали гитлеровцы. Через десять лет аргументация полицейского чина из хопской тюрьмы, пожалуй, не смутила бы власти...

- Нет доказательств? Не обнаружено документов?! Подумаешь! Мы предадим его суду военного трибунала, тогда он у нас попляшет!..

Эти слова были сказаны министром Турции в кулуарах меджлиса ровно через десять лет. И Назыма осудили на двадцать восемь лет четыре месяца и четырнадцать дней тюрьмы, не заботясь о доказательствах, не утруждая себя подыскиванием статьи уголовного кодекса. К чему церемониться?!

- Мы не могли оставить его на свободе, ибо он оказывал влияние на массы, - признался впоследствии тогдашний министр внутренних дел Шюкрю Кая.

Но, может быть, еще страшней, чем беззаконная расправа над национальным поэтом Турции, было всеобщее молчание. Никто из писателей, никто из интеллектуальной элиты страны не выступил против беззакония, ни словом, ни делом не высказал возмущения. Фашистские методы подавления мысли и слова стали к тому времени привычными...

Неласково встретила Турция своего поэта. Но Назым Хикмет был к этому готов. Еще семь лет назад, когда ходил, закрыв глаза, по номеру в батумском отеле «Франция».

В тюрьме города Хопа, где поэт отбывал свое первое заключение, он работал. Впереди было еще много тюрем. За двадцать два года на родине, с 1928 по 1951-й, в общей сложности около семнадцати лет его жизни протекли в заключении.

Здесь он созрел в муках одиночества, в тоске по миру и по жизни. Но ни на месяц не прерывал поэтической работы.

Я думаю, что будущие историки, несомненно, обратят внимание на роль, которую сыграла тюрьма в истории турецкой литературы середины нашего века. Именно здесь, в тюрьмах, были написаны произведения, которые стали гордостью национальной культуры: «Человеческая панорама» Назыма Хикмета и его «Легенда о любви», рассказы и стихи классика турецкой новеллистики Сабахаттина Али, около двадцати романов Кемаля Тахира, первые рассказы Орхана Кемаля, завоевавшие международное признание сатиры Азиза Несина. Предвосхищая будущие споры ученых-литературоведов о причинах столь парадоксального явления, хочется от имени современников напомнить, что в XX веке не в одной только Турции, но и в других тоталитарно-фашистских странах можно было встретить в тюрьме выдающееся собрание умов и талантов. Здесь проводили свои лучшие годы многие писатели, художники и общественные деятели. Едва ли где-нибудь, кроме тюрьмы, турецкому писателю предоставлялась такая возможность общения

с лучшими людьми своей страны и такая возможность исследовать общественные противоречия и их преломления в судьбах людей. И если на воле ни один из турецких писателей не мог прокормиться своим искусством, то где, кроме тюрьмы, в его распоряжении было столько времени для создания своих произведений?!.

Тюрьма заштатного городишка Хопа увековечена в истории турецкой литературы стихами, которые Назым так и назвал «Записками из тюрьмы Хопа».

На стене висит лист бумаги - расписание, кому выносить парашу, убирать камеру, приносить воду. Прозаический смысл этого документа передан в стихах с буквальной точностью. Но уже первые строки дают почувствовать самую суть такого учреждения, как тюрьма:

Лист бумаги, прибитый вкось.
У бумаги в лице ни кровинки.
Продырявив сердце ее насквозь,
Всю ее кровь выпил гвоздь.

Порой «кровоточащим босым ногам его сердца» слишком долгим кажется тюремный путь, и тогда поэт возвращается памятью к своим знакомым в России, с которой он только что расстался.

«Записки из тюрьмы Хопа» не похожи на большинство написанных им до той поры стихов - звонких, горластых, ораторских. Не похожи они и на стихи, которые он будет писать еще несколько лет.

В революционном романтизме молодого поэта впервые появляются какие-то новые ноты - он становится более личным, интимным, что ли. В «Записках из тюрьмы Хопа» Назым не провозглашает истины и не проповедует, а добывает их сам вместе с читателем из плоти обыденности.

Но, сделав этот первый шаг, он как бы останавливается на время. Лишь испытав на родине в новых поворотах и обстоятельствах уже добытое им поэтическое оружие, он пойдет дальше. И тогда это качество, пока играющее подчиненную роль, станет решающим, сложится в систему поэтических принципов.

Так будет не раз. И каждый новый скачок в творчестве Назыма Хикмета будет расширять границы лиризма. Все, что происходит с его героями, с его страной, станет его личным, интимным переживанием.

В «Человеческой панораме» единство лирического героя с эпохой приведет к тому, что лирика Назыма Хикмета вырастет до

эпоса.

В пятидесятых годах вынужденный покинуть Турцию, он будет представлять ее культуру перед народами земли. Он будет жить в Москве и Варшаве, Париже и Болгарии, приезжать в Китай и на Кубу, в Финляндию и Танганьику. Не как турист и не как эмигрант - как участник всемирного антивоенного движения, член Бюро Всемирного Совета Мира. Участие в жизни и борьбе разных стран и континентов, стремление с каждым из народов говорить на понятном ему поэтическом языке придадут лиризму Назыма Хикмета воистину космические масштабы.

Его молодой романтизм тоже был планетарен:

Нападение на Солнце!
Нападение на Солнце!
Мы захватим Солнце!

Но при всей подкупающей искренности он был голым, как вопль, в нем звучала лишь одна нота - самая высокая.

За десятилетия поэтической работы лирика Назыма Хикмета вместит в себя все краски и все звуки нашей планеты, энтузиазм молодости и мудрую печаль старости, «громаду лиц, событий, народов и движений, наш век, от всех берущий по крохотной черте». Он станет поэтом человечества, одним из двух-трех поэтов-эпиков XX века.

Поэты такого масштаба, такого дарования рождаются раз в столетие. Турции повезло: в XX веке жребий пал на нее...

В мае 1929 года в стамбульском издательстве «Муаллим Ахмед Халид» вышел из печати первый в Турции сборник стихов поэта. Он открывался той же «Песней пьющих солнце». Затем шли четырнадцать стихотворений и отрывок из поэмы «Джиоконда и Си-яу», которую он начал в хопской тюрьме. Всего восемьсот тридцать пять строк. Книга так и называлась - «835 строк».

За годы, пролетевшие с тех пор, как Назым покинул литературные салоны Стамбула, изменился мир, изменился он сам. А здесь, в салонах Стамбула, почти все осталось по-прежнему. Казалось, он перенесся на десять лет назад. Да что там - в иное столетие. Правда, новое поколение литературной молодежи, прошедшее огонь национально-освободительной войны, знало народ и Анатолию куда лучше, чем в свое время он сам. Но знание это было неутешительно. Скрывшаяся на миг за общенациональными целями освободительной войны, снова разверзлась пропасть, разделявшая невежественные, голодные массы и интеллигенцию, европеизировавшийся Стамбул и

отсталую, полуфеодальную Анатолию. Теперь эта пропасть казалась еще страшней. Надежды на социальную справедливость так и остались надеждами. Крестьяне не получили земли. Объявив турецкое общество бесклассовым, власти преследовали рабочие организации. Набирала силу буржуазно-помещичья диктатура. Разочарование в результатах национально-освободительной войны и влияние старых авторитетов влекло литературную молодежь либо в шовинистические клубы «Турецкие очаги», либо в те самые эстетские салоны, откуда она в свое время пыталась бежать. Порассуждав о несбыточности надежд и бренности человеческих стремлений, послушав стихи о прелестях одиночества и таинствах любви, легко было прослыть оппозиционером и интеллектуалом. Поэтический кукиш в кармане - давняя и не только турецкая традиция.

Сабахаттин Али, которому суждено было начать в турецкой прозе то, что свершил в поэзии Назым Хикмет, и который сам отдал дань ложноромантической традиции, впоследствии так описал одного из тогдашних властителей дум:

«Вначале никто не понимал, о чем он говорит, и лишь постепенно выяснилось, что речь идет о мусульманской мистике, которой он стал недавно увлекаться. Он то и дело, к месту и не к месту вставлял в свою речь только что выученные арабские слова, читал арабские двустишия и, сощурив глаза, осматривался по сторонам - какое-де впечатление его мудрость произвела на слушателей... Затем довольно приятным голосом начал читать длинное стихотворение. Казалось, в нем были собраны воедино все страшные слова и понятия, существующие в турецком языке. Было ясно, что единственная цель автора - нагнать ужас. В стихотворении говорилось об огненных светопреставлениях, кровавых зорях, адском пламени, смертельных ядах, фантастических призраках и о человеке, который, как Вильгельм Телль, стрелял из лука в яблоко, но яблоко это было духом, а стрела - пламенем».

«835 строк» - в эту книгу вошли стихи, написанные в революционной России, - произвели в литературной среде впечатление разорвавшейся бомбы. Они начисто изменяли все прежние представления об искусстве и его роли в жизни общества.

Назым поселился в доме своего отца в Кадыкёе, на азиатском берегу Босфора. И в первые же дни стал выступать с чтением стихов на литературных вечерах, среди самых разных слушателей, участвовал в диспутах об искусстве. Ему было что сказать, и он умел сказать так, как до него не говорил никто.

Назым Хикмет повел борьбу за наиболее радикальную молодую интеллигенцию.

ОТСТУПЛЕНИЕ

В 1965 году вместе с Кемалем Тахиром мы бродили по тем же самым улочкам, по которым ходил, слагая на ходу стихи, молодой Назым Хикмет. Вот тут он покупал в пекарне хлеб. По этому переулку спускался к пристани, чтобы переправиться в европейскую часть города.

Мы остановились у старого дощатого дома с нависающими над улицей выступами второго этажа и выщербленной черепичной крышей. То был типичный старинный турецкий дом, почерневший от времени, осевший на обе стороны, - вот-вот переломится пополам. Из крохотного дворика вела наверх шаткая, увитая голой лозой лестница.

Прохожие удивленно оглядывались: чего, мол, господа уставились на ничем не примечательную развалюху? Затем, решив, очевидно, что мы хотим пустить ее на слом, шли дальше.

Вряд ли кто-нибудь из них знал, что в этом доме жил у своей матери Джелиле-ханым великий поэт Турции после того, как вышел из тюрьмы в 1950 году.

На месте дома, где Назым поселился у отца в 1929 году, уже стояла пятиэтажная бетонная коробка с прямыми балконами и плоской крышей, стандартные квартиры из трех комнат сдавались внаем.

Но узкое, в одно окно трехэтажное зданьице, зажатое между такими же узкими домами, на пороге которого ранним летним утром 1951 года Назым простился со своей женой, еще не зная, что навсегда прощается с родиной, стояло в целости и сохранности. За белыми занавесками, в окне первого этажа, где в то летнее утро спал его трехмесячный сын Мелю, шла чья-то другая, неведомая нам жизнь.

Рядом с водосточной трубой, едва различимая на почерневшей стене, была прибита ржавая овальная бляха. Я с удивлением разобрал русскую надпись: «Страховое общество «Россия». 1908». И вдруг в этом стамбульском переулке над Босфором перед моими глазами возникли огромное кирпичное здание на Сретенском бульваре в Москве и десятиэтажный, некогда самый высокий в Москве дом в Гнездниковском переулке у Пушкинской площади, где помещался цыганский театр «Ромэн», поставивший пьесу Назыма, и где сейчас работает издательство, выпустившее его последнюю книгу. Оба эти московских дома были построены в начале века тем же самым страховым обществом, чья бирка - знак того, что дом застрахован, - уже

висела на этом старом стамбульском доме, когда Назым был еще только внуком Назыма-паши.

Я показал бирку Кемалю Тахиру, Но он не удивился: она говорила ему лишь о давно известном: страшных стамбульских пожарах начала века, конкуренции иностранных компаний, пользовавшихся в полуколониальной Османской империи привилегиями перед компаниями турецкими.

- Штрих любопытный, - заметил он, - но к Назыму, по-моему, не имеет отношения. Искусство писателя, если он, разумеется, полагает себя реалистом, мне думается, в том и состоит, чтобы из всех деталей выбрать типичные...

Я промолчал. Опасения Кемаля Тахира были понятны. Для литераторов враждебного ему лагеря подобная деталь могла бы служить, пожалуй, подтверждением всемогущества рока, символом предопределения... Но Кемаль Тахир никогда не бывал в Москве. И бирка страхового общества «Россия» не связывала для него в одну судьбу не связуемые для меня прежде вещи, дотоле существовавшие как бы в разных мирах.

Кемалю Тахиру было пятьдесят пять лет. Он завершал серию романов, которые должны вместить в себя всю историю Турции за сто лет - с 1870 года до наших дней. Девять романов уже были опубликованы, пять готовы к печати и восемь в работе. Новый для турецкой прозы марксистский взгляд на историю Турции в сочетании со зрелым, проникновенным мастерством сделали выход первых романов событием не только в литературной жизни, но и в истории общественной мысли Турции. Эта колоссальная эпопея была как бы прозаической параллелью назымовской «Человеческой панораме». И ее замысел родился в спорах и беседах с Назымом Хикметом. Кемаль Тахир был осужден на пятнадцать лет вместе с Назымом Хикметом и провел с ним в одной камере около двух лет. Сначала в стамбульском арестном доме, потом в тюрьме города Чанкыры. В тюрьмах были написаны первые пять романов и около четырех тысяч страниц заготовок.

В 1929 году, когда вышли из печати «835 строк», Кемалю Тахиру было девятнадцать лет. Он только что бросил учебу в лицее Галатасарай, чтобы зарабатывать на жизнь. Поступил счетоводом на склад и одновременно писал и печатал стихи в стамбульских журналах.

Вспоминает Кемаль Тахир

В тот год литературные вечера часто устраивались на вилле «Алай» в парке Гюльхане, рядом с бывшим султанским дворцом. На один из таких вечеров мы и отправились с моим другом, тоже

поэтом. Председательствовал Пеями Сафа, которому Назым впоследствии посвятил «Сатирические строки об одном провокаторе». Помните:

Ты не пришел,
тебя притащили ко мне
вымазанные сажей волосатые липкие руки:
схватили тебя за шиворот,
приподняли на сажень
и вдруг,
покачав,
опустили ко мне в брюки!
Подумай, Сафа, подумай, сынок,
быть может, постигнешь ты, это читая,
что в битве сегодняшней ты лишь предлог,
не точка -
невзрачная запятая!

Пеями Сафа и впрямь походил на запятую - у него была кривая шея, голова всегда склонялась набок. Но в 1929 году он еще не выпускал своего «снаружи красного, а внутри вполне коричневого журнала» и ходил в радикалах.

Пеями представил Назыма слушателям как «известного турецкого поэта». Назым стал читать. Одно из стихотворений было «Песня пьющих солнце».

Как я уже говорил, в те времена мы тоже писали, по крайней мере думали, что пишем стихи. И находились под сильным влиянием Яхьи Кемаля, а из иностранцев - Бодлера и Вердена. Грохочущий голос Назыма привел нас в исступление. Мы настолько обалдели, что, выйдя на улицу и пытаясь по памяти восстановить все стихотворение, едва не погибли под колесами трамвая... Прямо из парка Гюльхане мы отправились в издательство Ахмеда Халида, чтобы купить по экземпляру «835 строк».

...Не только молодежь увидела в Назыме Хикмете глашатая нового искусства.

«Среди поэтических трупов, похожих по языку и ритмам как близнецы, голос Назыма Хикмета звучит, подобно медному горну, гремит, как молот в тысячу лошадиных сил, падающий на наковальню Его строка не знает других законов, кроме свободы. Свободы голоса и чувства. Не то что буква, каждая точка в его стихах вызывает звук, как кнопка электрического звонка... Он

единственный поэт, провозгласивший подлинную демократизацию языка поэзии. Назым Хикмет - воплощение нового». Так отозвался о поэзии Назыма Хикмета маститый романист и новеллист Садри Эртем.

Даже те, кто по своим политическим взглядам принадлежал к иному лагерю, признавали значение поэтического труда Назыма Хикмета.

Основоположник современной турецкой прозы Халид Зия Ушаклыгиль говорил: «Назым Хикмет... доказал мощь турецкого стиха и водрузил его знамя на высочайшей вершине».

Зия Гёк Альп, идеолог пантюркистов, утверждал, что «Назым Хикмет... усовершенствовал и украсил турецкий язык».

Престарелый классицист, придворный поэт и драматург Абдул Хак Хамид незадолго до смерти сообщил журналистам, что из всех поэтов нового поколения ему больше всех нравится Назым Хикмет.

Нуруллах Атач, ведущий публицист Народно-Республиканской партии, возвел Назыма Хикмета в ранг «величайшего поэта, когда-либо рожденного Турцией».

Из восторженных отзывов о стихах Назыма Хикмета того времени можно было составить целую книгу. Что и было сделано в 1950 году журналистом Ялчином Кая, когда началась борьба за освобождение поэта.

После выхода «835 строк» последовало приглашение пожаловать в президентский дворец.

Назым ответил:

- Я не русалка Эфталия!

Эфталия была знаменитой эстрадной певицей, которую влиятельные лица часто приглашали к себе на виллы над Босфором.

Ответ вполне в его характере. Назым писал стихи не для услаждения начальственного слуха. У его поэзии было иное предназначение.

Он поступил корректором и техническим секретарем в журнал «Ресимли Ай». Издателями журнала были муж и жена Мехмед Зекерия и Сабиха Сертель. Их взгляды сформировались в Америке, где они получили образование, - под влиянием либерального и рабочего движения. Супруги Сертель все больше убеждались в необходимости союза культурных прогрессивных сил для борьбы с надвигающимся тоталитаризмом. И в конце двадцатых годов их журнал стал центром, вокруг которого собрались передовые силы турецкой литературы. Он выдвинул плеяду писателей, чьи имена стали гордостью национальной

культуры. Здесь печатался Садри Эртем, автор первого в турецкой литературе исторического романа, героем которого стал народ. Здесь помещала свои рассказы Суад Дервиш, видная романистка и общественная деятельница. Здесь выступала Сабиха Сертель, редактор и публицист, первая турецкая журналистка, которая за выступление в защиту рабочих была предана суду.

Назым Хикмет печатал в журнале стихи и статьи под собственным именем, под псевдонимами «Сулейман», «Человек без подписи», вел рубрику полемических заметок «Развенчиваем кумиры».

Он был не только новым в турецкой поэзии поэтом. Он был непохожим, отличным от большинства людей его среды человеком.

Совершенно лишенный позы, самолюбования, он с готовностью выслушивал любое замечание и соглашался с ним, если находил справедливым. Поэзия была для Назыма Хикмета не средством вбить свое имя в вечность, точно гвоздь в стену, не способом прославиться или сделать карьеру. Она была посвящена общественной цели. И потому его внимание, даже направленное внутрь себя, было отдано людям, родной Анатолии.

Литературное дело вообще, а поэзия в особенности по своему характеру обладает некоей нравственной вредностью. «Поэт должен есть свое сердце сам и дать отведать другим» - так определил Назым Хикмет суть «этой самой кровавой профессии».

Лирическая поэзия требует беспощадной искренности. Каждое душевное движение поэта, даже самое интимное, становится явлением общественным. Жизнь на публике, постоянное самообнажение отравляет нестойкие души. Искренность часто становится своей противоположностью - наигрышем, самозабвение превращается в самолюбование, теряется способность критического отношения к себе. Непогрешим, как известно, только аллах. Аллах же всегда - один. Появляется нетерпимость к иному, новому слову в искусстве, ревность к чужой славе. Художник перестает быть мастером и, не став аллахом, превращается в мелкую и самолюбивую козявку.

...Летом пятьдесят шестого года мы гуляли с Назымом Хикметом по аллеям Переделкина. В этом подмосковном поселке он жил на даче Литературного фонда.

Назым задумал тогда пьесу для Аркадия Райкина - он считал его великим актером и не раз сравнивал с Чаплином. Увлекшись, поэт по своему обыкновению стал рассказывать разные варианты сюжета.

Пьеса - к сожалению, она так и не была написана - мыслилась

ему как фарс. Тема, однако, была серьезнейшая: человек неделим. В пьесе речь должна была идти о ханжеском, или, если угодно, вульгарном, взгляде на человека: есть, мол, в нем постыдные стороны, а есть чистые, отделите плевелы от злаков и получите нового человека.

В его рассказах было много мыслей, не вмещавшихся в первоначальный замысел. В пору было писать не одну, а несколько пьес. Я сказал ему об этом.

- Хватило бы времени осуществить хоть десятую часть задуманного...

В его голосе была печаль. Он недавно оправился от инфаркта и понимал, что жить ему осталось считанные годы.

Действительно, те, кто общался с Назымом Хикметом, знают: чтобы осуществить все его замыслы, нужен был, пожалуй, целый штат драматургов и поэтов.

Всякий большой художник одержим, - достаточно ничтожного повода, толчка, чтобы возбудить его фантазию и энергию. Он всегда полон. Идеями, эмоциями, планами. Достало бы только времени и сил. Трагический разрыв между тем, что чувствуешь, и тем, что выходит из-под пера, бесконечная, изнурительная борьба с бесформенной, тупой материей - слова, цвета, камня - отнимают столько сил и времени, что тут не до самолюбивых счетов и интриг.

Для большого художника, напротив, каждое новое слово, краска, звук - радость, ибо они ощущаются как помощь в общем деле художественного освоения мира. И с этой стороны подтверждается старая истина: великий художник - всегда великий характер.

Лицемерная, сплетничающая, беспринципная богема, мелочная драчка самолюбий, мещанский индивидуализм вызывали у Назыма Хикмета не просто брезгливость - ненависть. Они грозили гибелью таланту. Каждого талантливого человека он стремился привлечь, поддержать. Талант всегда революционен, а дела столько, что всем хватит...

В 1930 году в Стамбуле вышла книга под странным названием - «1 + 1 = Один». То был не трактат по математике и не сборник занимательных арифметических задач, а сборник стихов. Место в нем распределялось поровну между двумя поэтами - Назымом Хикметом и Вели Наилем. По мысли Назыма, название должно было подчеркнуть, что он не ставит себя над другими поэтами, что единство целей может объединять разные индивидуальности. Но умышленная арифметическая ошибка оказалась и ошибкой поэтической. Для Наиля демократические

убеждения и общая с Назымом платформа оказались лишь данью моде. Задача, которую ставил Назым, не решалась столь прямолинейно.

Одна за другой выходят книги Назыма Хикмета - «Вот и третья» (1930), «Город, потерявший голос» (1931), «Телеграмма, пришедшая ночью» (1932). И от книги к книге становится суровей тон, страсть все более сдержанна, а не обнажена, как бывало прежде, и это лишь увеличивает ее силу.

Он идет.
Голова его поднята гордо.
Ветер треплет концы его старого красного шарфа.
Он идет тяжело,
непреклонно и твердо...
И из самых глубин его сердца звучат, не смолкая,
Бесконечно родные взволнованные голоса:
- Сын, куда ты идешь?
- Возвратись, мой любимый, домой!
- Брат, вернись!
- Отзовись, мой кормилец,
единственный мой!
Он идет,
Напевая вполголоса смертников марш,
Он идет,
Тяжело и упрямо ступая, вперед...

«Идущим человеком» назвал поэт героя своей поэзии. Красный шарф - когда-то он поразил Назыма - носил в Анатолии его первый учитель Садык Ахи, как иные носят в петлице бант или тайный знак секты. Но в «идущем человеке» от Садыка Ахи, кроме красного шарфа, пожалуй, нет ничего.

В стихах Назыма Хикмета читатель узнает, что думает и что чувствует рядовой революции, когда он трудится и когда бастует, когда грустит по любимой, сражается с врагами, сидит за столом среди друзей или лежит среди луговых трав, глядя на звезды.

Он начал дело.
Он кончил дело.
Он, начиная, в трубы не трубил.
Закончив, не кричал, не говорил:
«Смотрите все на сделанное мной!»
Он на земле один из миллионов.
Он рядовой.

От древних предков нет в нем крови голубой,
Он не жеребчик призовой...

«Герои, - говорил Лев Толстой, - ложь, выдумка, есть просто люди, люди - и больше ничего».

Назым издевается над салонными коммунистами, которые Думали, что, нацепив грязную робу и засаленную кепку, они объявляют о своей принадлежности к рабочему классу.

«Посмотрите на портрет учителя моих учителей Карла Маркса:

Пиджак его был заложен в ломбард;
обедал он
раз в трое суток, а то и реже,
но всегда
его внушительная борода
развевалась на белоснежной
накрахмаленной манишке».

Герой Назыма Хикмета не идет на компромиссы, не пытается уговорить себя софизмом: не мне, мол, исправлять кривизну мира, не успокаивает свою совесть ссылками на обстоятельства. Словом, говоря сегодняшним языком, он не конформист. В решительный момент он делает только то, что должен делать согласно своим убеждениям, в интересах человеческого общества. Но в этом «только» содержится поэтическое открытие новых нравственных мерил, рожденных революционным движением двадцатых-тридцатых годов...

Круто вниз сбегает по одному из семи стамбульских холмов улица Бабыали, по которой восемнадцатилетний Назым шагал вместе с товарищами незадолго до отъезда в Анатолию. С того дня прошло всего десять лет, а как давно это было!

Бабыали - значит «Высочайшая дверь». В старину челобитные принимали у дверей дворцов, где обитали паши и вельможи, и двери дворцов стали в народном представлении символом власти. Желая удостоверить вассальную преданность, говорили: «Я раб у дверей твоих, господин мой!»

«Высочайшей дверью» именовалась дверь первого вельможи, главы султанского правительства - садразама или великого везира. Садразамы менялись часто. И «высочайшей дверью» каждый раз оказывались двери другого особняка. Лишь после

смерти великого везира Дервиша-паши в 1654 году его особняк сделался постоянным местопребыванием главы султанского правительства. А название Бабыали закрепилось и за самим правительством и за улицей, где оно помещалось.

В 1923 году Османская империя была упразднена. Вместе с нею канули в вечность султаны и садразамы. В здании султанского правительства помещалась теперь резиденция республиканского губернатора Стамбула. А улицу, после того как Анкара была объявлена столицей, переименовали в Анкарскую.

Но название Бабыали осталось, хоть мало кто вспоминал при этом слове султанов и везирей. Бабыали стала нарицательным именем турецкой прессы, ибо на этой кривой и узкой улочке теснились редакции всех газет и журналов, издательства, книготорговые склады и типографии. Здесь, на Бабыали, помещалась и редакция журнала «Ресимли Ай».

Как-то под вечер, после работы, Назым возвращался домой. Спустившись по Бабыали к Золотому Рогу, сел на колесный пароходик, курсировавший через Босфор.

В салоне он увидел председателя националистических клубов «Турецкие очаги» и бывшего министра Хамдуллаха Субхи, который сидел в окружении двух десятков своих поклонников и что-то оживленно им рассказывал. Заметив Назыма, он подозвал его к себе.

Хамдуллах Субхи держал в руках свежий, пахнущий типографской краской номер «Ресимли Ай». Для пантюркиста Хамдуллаха Субхи журнал этот был что, бельмо на глазу. Особенно выводила его из себя рубрика «Развенчиваем кумиры». В пылу полемики, как это нередко случается, Назым бывал односторонен. Скажем, турецкий просветитель Намык Кемаль, конечно, боялся народных масс. Тем не менее он стал одним из первых писателей, положивших начало пробуждению общественного сознания и требовавших ограничения султанского деспотизма. Но Назым был, безусловно, прав, когда обрушивался на тех, кто вроде Хамдуллаха Субхи пытался слабость и ограниченность буржуазных либералов выдать за добродетель, присущую турецкому национальному духу. Сделать из классического писателя идола и, спрятавшись за его медный зад, каждый шаг вперед объявлять изменой национальным традициям - обычная тактика черной сотни. Турецкая не составляла исключения.

- Я с огорчением слежу за вашими публикациями «Развенчиваем кумиры», - стараясь быть вежливым, начал Хамдуллах Субхи. - Вы пытаетесь под корень подрубить дух нации.

И, раскрыв журнал, он прочел вслух несколько строк из последнего стихотворения Назыма «Ответ врагам»:

Эй, пиковый король!
Сосет в твоем желудке.
Ты душу продаешь, как черного раба,
Свой череп превратив в каморку проститутки...

- И это об уважаемом поэте и влиятельном лице? Дальше говорится, что автору, носившему нити наручников, как золотой браслет, глядевшему на намыленную петлю, не страшны угрозы. Слыхали? Что же это должно означать - «нити наручников»?

- Это означает, - откликнулся один из слушателей, - пренебрежение к санкциям, предусмотренным законом. Он находит их слабыми, как нитки...

- Наручники бывают разные, - улыбнулся Назым. - Один их вид на профессиональном языке тюремщиков носит название «нитки». Именно такие наручники на меня надели, когда перевозили из Хопа в Стамбул...

- А намыленная петля?..

...Чем отличаются от невежественного полицейского чина в Хопа эти патриотические любители литературы? Во что бы то ни стало тщатся обнаружить в каждой строке крамолу. Но тот хоть был смущен, когда все выяснилось. Полуобразованность, она похуже невежества.

- Прокурор однажды требовал для меня смертной казни - вот вам и намыленная петля, - нехотя ответил Назым. - Я пишу лишь о том, что было со мной...

Он не договорил. Поди объясни! Разница между глупцом и дураком в том и состоит, что глупец всему верит и ничего не знает, а дурак все знает и ничему не верит.

- Послушайте, милейший, - сказал Хамдуллах Субхи, - вы полагаете, что прошли огонь и воду, всем бросаете вызов и черт вам не брат. Что же, найдутся люди, которые сумеют поставить вас на место...

Назым вскочил. Хорошо, что в салоне оказались знакомые - с трудом удалось им вывести Назыма на палубу.

Первая попытка «поставить поэта на место» была сделана сразу после того, как он отказался прийти в президентский дворец. В июле 1929 года журнал «Ресимли Ай» поместил стихотворение «Город, потерявший голос», которое призывало помочь бастующим трамвайщикам Стамбула. Назыма предали суду по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Но суд оправдал поэта.

Хамдуллах Субхи решил действовать иначе. Через день после разговора на пароходе крупнейшая стамбульская газета «Икдам» открыла против Назыма Хикмета кампанию. С той поры она не прекращалась до его смерти и продолжается в правой печати по сей день.

Чего только ему не приписывали - казнокрадство: он-де получил в Болу деньги на проезд в Каре, а сбежал в Россию. Утверждали, что Назым, кроме как по большим праздникам в рот не бравший спиртного, - алкоголик и наркоман. Эпигоны придворной поэзии кричали, что Назым Хикмет разрушает классический стих, торговцы национальной независимостью доказывали, что его поэзия не имеет никаких национальных корней, а шовинисты - что его идеи до последней запятой импортированы из-за границы. С годами Назым привык к клевете и брани врагов, кан к верному признаку, что он не изменил ни себе, ни Анатолии.

Сочтя подготовку общественного мнения достаточной, пантюркисты перешли к делу. Как-то в середине дня, после второго намаза, огромная толпа, состоящая из переодетых полицейских и молодых националистов, двинулась от мечети Нуруосмание по Бабыали. С криками «Изменников - на виселицу!» толпа подошла к редакции «Ресимли Ай». «Первым делом, - вспоминал Назым Хикмет, - они хотели линчевать Зекерию Сертеля, затем Сабиху Сертель и меня».

Назым вышел навстречу налетчикам.

- Если вы полагаете, что палки и камни аргумент в защиту истины, то с вами легко поспорить. - Он обернулся назад, к типографским рабочим, стоявшим за его спиной с наборными щипцами в руках. - Но если вы пришли разговаривать, я вас слушаю.

Как ни старались главари: «Нечего, мол, с ним разговаривать!», толпа остановилась. Речь, с которой обратился поэт к молодежи, оказалась не менее убедительной, чем решимость типографских рабочих.

Понурив головы, толпа разошлась. А некоторые из участников несостоявшегося погрома даже стали впоследствии сторонниками поэта.

Назыму Хикмету и рабочим типографии в тот раз удалось защитить свой журнал. Но власти не успокоились - стали преследовать запрещениями, штрафами, конфискациями. Зенерия Сертель вынужден был передать журнал в другие руки. Новый владелец круто изменил курс журнала, и большинство сотрудников, лишившись своего дома, рассеялось по разным изданиям более или менее либерального толка.

Назым Хикмет печатается в газетах «Акшам» и «Харекет». За каждую новую книгу стихов его преследуют, арестовывают, отдают под суд.

«Когда заходит речь о цензуре в Турции, - писал он позже, - не следует думать, будто газеты, журналы и книги перед опубликованием нужно посылать в какой-то цензурный комитет. Такой цензуры нет сейчас в Турции, не было ее и в те годы. Но существует иная цензура - тюрьма. Автор не обязан посылать книгу в цензуру, прежде чем ее напечатают, но зато после выхода ее могут конфисковать, а писателя посадить в тюрьму. Мало того, нужно найти издателя и книгопродавца, которые согласились бы взять на себя распространение книги: поэтому она должна непременно нравиться книгоиздателю, а издание ее не должно грозить ему тюрьмой. Или же книгопродавец должен быть уверен, что книга принесет ему огромные барыши, если даже ему она не нравится и ему угрожает тюрьма».

Стихи Назыма пользовались спросом, и издатели неплохо наживались. Но на гонорары, которые ему платили, можно было прожить от силы три-четыре недели. Ради хлеба насущного по десять часов в день просиживал поэт в корректорской, брал переводы с русского и французского, писал титры для фильмов, работал помощником режиссера.

Перечитывая стихи тех лет, легко найти в них подробности стамбульского быта тех лет и его собственной жизни. Жизни поэта-корректора, обязанного каждый день за две лиры прочитывать к определенному сроку тысячи глупейших газетных строк, сидеть неподвижно, как старое изодранное кресло, когда на дворе хлопочет буйная, жаркая стамбульская весна. В душных парикмахерских Перы стареющие мышиные жеребчики и молодые щеголи пудрят щеки, готовясь принимать весенний парад любви. А он, красивый, двадцатишестилетний, все сидит со свинцовой пылью на щеках в своей корректорской, вместо того чтобы бежать на свиданье. Когда он, наконец, выходит на улицу, у него в кармане всего семьдесят пять курушей, но вместо того чтоб купить хлеб или букетик фиалок для любимой, он отдает их бастующим друзьям.

Просидеть год в тюрьме, выступить раз-другой со смелым заявлением не так уже сложно. Куда трудней остаться человеком, не изменить себе, когда не одна полиция, не только клевета врагов, но и нужда, иссушающая душу, и отступничество друзей преследуют тебя год за годом. Назым Хикмет вынес и это, не ожидая ничего взамен, кроме счастья чувствовать себя человеком...

Как-то в Москве, у него дома зашел разговор об одном из молодых поэтов - Назым добился, чтоб того напечатали в «Литературной газете», и писал предисловие к его стихам.

Кто-то заметил, что молодой поэт действительно нуждается в помощи, ибо человек он талантливый, но несчастный.

Назым метнул на собеседника мгновенный пристальный взгляд, которым он, словно точным электронным щупом, проверял, что кроется за сказанной фразой. Потом проговорил, словно бы для себя:

- А ведь это так просто быть счастливым. Делая что-либо для других, не нужно только ничего ждать взамен - ни что тебя оценят, ни справедливости, ни награды, ни отклика даже. К несчастью, этот отголосок религиозного сознания - добрые дела, мол, где-то непременно зачтутся - глубоко в нас сидит. Вот люди и чувствуют себя несчастными, постоянно подбивая на внутренних весах итоги своим убыткам и прибылям.

Он снова бросил на собеседника тот же мгновенный оценивающий взгляд:

- Хотите воспользоваться моим опытом?.. Научитесь ничего не ждать взамен, и каждый случайный отклик станет для вас радостью, счастьем...

В нынешней Турции, как в любой другой цивилизованной стране, никого не удивляет, если молодые люди и девушки вместе собираются дома или в общественных местах, вместе проводят время. Но в кофейнях старого образца и по сию пору вы не увидите ни одной женщины. Вход им сюда заказан, так же как в английские клубы. Здесь свои разговоры, свой мужской мир. До утра играют здесь в кости и нарды, часами сидят за стаканчиком чая или чашечкой кофе, курят кальян. Официант подойдет к гостю, лишь если его позовут, и то через несколько минут. В кофейню приходят отдохнуть, провести время, и потому подбежать сразу неприлично. Это может быть принято за намек: необходимо, мол, что-нибудь заказать.

По закону, конечно, вход женщинам даже в кофейню не запрещен. Но если вы придете сюда с дамой, завсегдатаи найдут способ испортить вам настроение и тем поддержать традицию.

Назыма эти традиции возмущали. Вместе с несколькими приятелями и приятельницами он ходил на пляжи, ездил на лодках по Босфору. Часто собирались они то у одного, то у другого, иногда вместе обедали в ресторанчиках европейского образца и семейных кофейнях, которые только-только появились в Стамбуле и его окрестностях. В глазах обывателей это было вызывающим вольнодумством. И легко себе представить, какими

глазами они смотрели на поэта и его друзей.

Атмосфера в стране между тем продолжала сгущаться. И Назым в первую очередь чувствовал это на себе. Напротив дома, где он жил, была баня, огражденная, как крепость, поленницами дров. Из-за поленниц за Назымом денно и нощно наблюдали шпики. Контролировался каждый его шаг, каждое знакомство, каждый разговор. Мало того, среди людей, числившихся в его приятелях, среди соседей, коллег по перу и любителей поэзии находились доброхоты, которые ловили его на улице, заводили разговоры, задавали вопросы, а потом строчили доносы. Им Назым дал прозвище «домашних врачей».

Однажды Назым с приятелями допоздна засиделся на мысу Мода. Друзья спорили о поэзии, рассказывали друг другу последние литературные сплетни. Назым, растянувшись на теплой, нагретой за день траве, глядел на звезды, на волны Мраморного моря, перекатывающие звезды на своей спине, как гальку, и молчал.

Валя тронул его за плечо. Назым очнулся и тихо проговорил:

- Юноша мой дорогой! Хорошенько на звезды гляди. Может, больше их тебе не видать, руки раскинув, обняв горизонт, по лугам тебе не гулять...

Только тут все поняли, что это стихи и что обращается он не к Вале и не к себе, а ко всем ним. И, поняв это, затихли. А Назым так же негромко продолжал читать только что сложившиеся строки:

Совершенных созданий природы два:
Звезды и твоя голова.
Может быть, истекая кровью,
с маленькой дыркой над бровью
Ты издохнешь в канаве, как пес,
А может, веревкой окончишь свой путь.
Смотри на миллиарды звезд,
Смотри и не позабудь!..

Он умолк. По-прежнему шуршало, набегая на берег, одно из самых прекрасных морей мира - Мраморное. Все так же светили на темном небе крупные звезды. И каждый всем существом почувствовал: приближается тот решительный миг, который выяснит, кто из них чего стоит.

Строки, сложившиеся той ночью, позднее вошли в роман в прозе и в стихах «Почему Бенерджи покончил с собой?», который вышел из печати в 1932 году. Но к тому времени ни одного из друзей, сидевших в ту ночь рядом с Назымом на мысу Мода,

вокруг него уже не было. Нет, они не погибли от пуль, не умерли в тюрьме. Они отступились. Отреклись. От себя, от своей молодости, от Назыма.

Валя Нуреддин, десять лет назад тащивший Назыма на спине по анатолийской дороге, покаялся в грехах молодости и, спрятав убеждения в карман, стал писать судебные репортажи и бульварные романы: плетью-де обуха не перешибешь.

Пеями Сафа, посвятивший Назыму одну из своих книг, перекрасился из красного в коричневый цвет, цвет надвигавшегося времени, который люди, подобные ему, всегда умеют к собственной выгоде принять на минуту раньше других.

Шевкет Сюрейя Айдемир, с которым они некогда учились в Москве, признал концепцию бесклассовости турецкого общества, за что был немедленно, вознагражден постом директора торгового лицея, а затем начальника управления в министерстве просвещения.

Поэт А. Кадир, сидевший с Назымом в анкарской военной тюрьме, вспоминал, что он ни о ком не любил говорить худо, даже о врагах. Исключение составляли эти три человека. И горше всего было для Назыма отступничество Вали. «Никогда не забуду, - говорил он Кадиру, - как в день смерти Ленина вечером во дворе университета мы вместе с ним стояли у стены и не могли сдержать слез. «Назымушка, - сказал он тогда, - вернемся на родину, я буду во всем и всегда вместе с тобой до самой смерти, слово мужчины!..»

В романе «Почему Бенерджи покончил с собой?» Валя Нуреддин носит имя Роя Драната. «Это бывший боевой товарищ Бенерджи, - представляет его читателям Назым Хикмет. - Но впоследствии, то ли испугавшись, то ли истощив терпение, то ли воспользовавшись случаем обрести покой в обмен на свою душу, он отошел от борьбы».

Два раза на протяжении романа встречается Рой Дранат с героем книги. Вначале Дранат иронизирует:

Бенерджи, ты трава,
бесполезнейшая трава,
что на высоких горах растет.
Ты - Дон-Кихот,
смелый, смешной Дон-Кихот,
за напрасное дело идущий в поход.

Но пьяный настолько, чтоб говорить правду, Дранат сознается: «Бенерджи, ты, наверное, прав, наверное. Я опустился, решив: что мне, больше всех надо? Найдутся другие, чтоб мир

перестроить. Но вы, наверное, правы».

Характер Роя Драната, конечно же, куда шире реальной фигуры Вали Нуреддина. В двух монологах Драната обнажены сущность мещанина и его циническая трезвость, для которой березовая роща всего лишь столько-то кубометров дров, и стремление к благополучию - ради него все позволено, и необходимость опьянения, чтобы осмелиться на ухо прошептать правду приятелю. И беспринципность, старательно прикрываемая лоскутами заимствованных убеждений, и желание выдать это лоскутное семейное одеяло за фаустовский плащ, спрятаться за мнимой сложностью. Это именно та сложность, о которой говорил М. Горький: «Сложность - печальный и уродливый результат крайней раздробленности «души» бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни. Именно «сложностью» объясняется тот факт, что среди сотен миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определенных, людей одержимых одной страстью, - великих людей».

Таким резко определенным крупным характером наделены герои книги - Бенерджи и его друг Сомадева. Собственно говоря, весь роман построен на противопоставлении жалкой благополучной жизни обывателя, его привычек, вкусов, нравов трудной, но прекрасной судьбе людей, до конца верных своим идеалам. И в то же время это, пожалуй, одна из самых трагических книг Назыма Хикмета.

Летом на дачах КУТВа под Москвой, на станции Удельная, Назым познакомился с двумя индусами. Оба они, окончив один из английских колледжей, подобно Назыму и Вале, заинтересованные событиями в России, приехали в Москву, ибо так же, как они, ненавидели колонизаторов и хотели бороться с империализмом. Здесь они поступили в тот же самый университет, что и Назым с приятелем.

Такие пары друзей, отправлявшиеся в поисках истины, наподобие средневековых дервишей, странствовать по миру, были в университете трудящихся Востока не редкостью. В середине двадцатых годов учились здесь двое тибетцев. Послушники буддийского монастыря, они самостоятельно открыли, что не Солнце вращается вокруг Земли, как их учили, а Земля вокруг Солнца. Для тех лет в Тибете это было равнозначно идейной революции. И правда - вторично открытая система Коперника стала философской базой крестьянского восстания, которое и возглавили эти два молодых тибетца. После поражения восстания они перешли русскую границу, а затем попали в Москву. Можно себе представить их потрясение, когда здесь, рассказывая о своем

великом идейном подвиге, они узнали, что система Коперника открыта за четыреста лет до них.

Индус по имени Бенерджи приехал в Москву со своим другом Захиром. Захир был мусульманином и как истый мусульманин продолжал и в Коммунистическом университете творить намаз пять раз в сутки. Окончив КУТВ, он решил посетить центр мусульманского мира - Турцию и остался здесь навсегда. Принял турецкое гражданство, женился на турчанке и преподавал в турецких лицеях. Его друг Бенерджи был человеком иного склада. Молчаливый, изысканно вежливый, углубленный в себя, он все свободное время проводил за книгами по индийской философии. Пытался совместить революционный марксизм с гандизмом, полагая, что с общественным злом нужно бороться не насилием, а неподчинением ему и убеждением.

Об этом Назым знал с их собственных слов. Как все другие революционные студенты, Бенерджи и Захир, тибетцы, Валя и сам Назым откровенно рассказывали о своих взглядах и сомнениях, заблуждениях и проступках на собраниях, которые каждую неделю устраивались в лесу у костра, неподалеку от поселка. Эти исповеди, называвшиеся самокритикой, были в те годы непременной частью самовоспитания революционера. Коллективными усилиями друзей-единомышленников самых разных стран создавалась новая этика, новая мораль, вырабатывался идеал революционера-коммуниста.

Валя Нуреддин вспоминал, что как-то, дежуря на кухне вместе с индусом Курбаном, он заметил, что тот пьет молоко, предназначенное для беспризорных детей. Курбан смутился: «Я очень люблю молоко и вот не выдержал. Знаю, что поступил скверно. Но хорошо, что ты меня заметил. Теперь я решился: непременно сам расскажу о своей слабости товарищам».

После самокритики наступал черед критики. Сидя вокруг удельненских костров, товарищи каждому давали характеристику: какие недостатки усматривают в его характере, какие качества надлежит ему убрать, какие выработать, чтобы стать личностью, достойной их дела.

Главным недостатком Назыма Хикмета, по общему мнению, была невыдержанность - он легко поддавался эмоциональным импульсам и говорил все, что в данный момент взбредет в голову. Валя же отличался индивидуализмом - поступал как вздумается, несмотря на решения коллектива. В общем товарищи не ошиблись.

Можно сейчас по-разному относиться к традиции откровенного самоанализа перед единомышленниками, выработанной русским революционным движением и помогавшей

каждой личности примерить себя к идеалу. Всякая форма в иной исторической обстановке может быть наполнена иным содержанием. Когда намечаются тенденции подмены идеи догмой, в период обожествления Мао или Энвера Ходжи, безразлично, эта традиция из внутренней необходимости может стать чем-то навязанным извне, общеобязательным ритуалом и, вместо того чтобы способствовать слиянию личности с идеалом, способствует ее самоотчуждению в пользу догмы. Но отрицать на этом основании значение самокритики двадцатых годов не более благоразумно, чем подвергать сомнению значение психиатрии ссылками на то, что корыстный психиатр может упрятать в сумасшедший дом и здорового человека.

Большинство людей, сидевших вокруг удельненских костров, пронесло их отблеск, как отблеск русской революции, через всю жизнь. И опыт критической самооценки помогал им соизмерять свои дела с идеалом молодости, определить свое место и роль в мире.

Бенерджи, которого Назым знал в Москве, кроме национальности да имени, не имеет, пожалуй, ничего общего с героем романа «Почему Бенерджи покончил с собой?». Бенерджи из романа отнюдь не гандист. Он руководит стачечной борьбой в Калькутте, освобождает из тюрьмы своего друга Сомадеву. Выйдя на волю после пятнадцати лет одиночного заключения, он становится во главе движения, но чувствует, что стар и слаб, и, опасаясь стать тормозом в борьбе, решает покончить с собой. Чем-то он скорей походит на другого индийского товарища, которого Назым тоже знал по Москве, - Сафтера, ставшего впоследствии видным деятелем Индийской компартии. Но больше всего общего у героя романа с самим Назымом.

Именно Бенерджи оказывается в романе «юношей, смотрящим на звезды». Он ждет любимую. Когда она приходит, он ударом кулака распахивает створки окна, садится с нею на подоконник, свесив ноги наружу. И справа и слева, впереди и под ними колышется, словно море в огнях, «освещенная звездами теплая тьма». Все действие в этом романе происходит или во тьме - сплошной омерзительной тьме полицейских застенков и тюрем, во тьме революционного подполья, освещенного яркими звездами верности, страсти, ума, или при беспощадном слепящем, как молния, свете солнца, на раскаленных дорогах изгнания или страстных рабочих митингах. Полутона, переливы красок не для того накала страстей, не для тех обстоятельств, в которых действуют герои и в которых живет в эти годы сам Назым.

Темной ночью полиция выслеживает конспиративное собрание революционеров. Все друзья схвачены. Лишь Бенерджи

выпускают на свободу. Товарищи подозревают его в предательстве. И его ближайший друг Сомадева во время демонстрации бросает в него первый камень. «Самый славный, самый любимый город» забрасывает героя камнями до тех пор, пока его окровавленная голова не опускается на колени Назыма Хикмета.

Как в «Джиоконде и Си-яу», Назым Хикмет в этом романе вмешивается в действие, беседует с героями, спешит к ним на помощь, дает советы. Поэт летит в Калькутту, чтобы спасти Бенерджи.

Любовь Бенерджи оказывается его самым большим несчастьем. Он узнает, что его возлюбленная - агент британской полиции. Это она выдала его товарищей и вычеркнула самого Бенерджи из проскрипционных списков. Весь мир ему становится омерзителен.

Пожалуй, это единственное произведение Назыма Хикмета, где любовь не сила, а слабость. Борьба столь жестока, условия, поставленные врагом, столь бесчеловечны, что вынуждают героя отказаться от всех человеческих привязанностей, от своей собственной жизни: он должен быть твердым, неуязвимым, как камень, чтобы устоять.

В тот год, когда Назым Хикмет начал писать свой роман, он встретился со своей самой большой любовью. Ей было семнадцать лет. Она приехала из Франции. Мать ее была француженкой, а отец - родным дядей Назыма, братом его матери Джелиле-ханым. Девушку звали Мюневвер.

Через много лет в тюрьме города Бурса Назым Хикмет напишет:

О минувшем я не тоскую,
лишь о летней ночи одной.
И самый последний мой взгляд голубой
принесет тебе добрую весть о грядущем.

Он умел терять и не жалеть о потерянном. Но летняя звездная ночь, единственное исключение в его жизни - та самая, когда, распахнув ударом кулака окно, он глядел с любимой на звезды, - летняя ночь августа 1930 года в Каламыше на мысу Мода, которую он провел с Мюневвер, своей самой большой любовью и самым большим несчастьем.

Нет, она не была агентом полиции, как возлюбленная Бенерджи. Позднее, уже взрослой, зрелой женщиной, она стала единомышленницей поэта. Но в 1930 году он считал, что любовь в тех обстоятельствах, в которых он жил, - слабость, враги могут

попытаться ее использовать, чтобы его сломать. К тому же ей было всего семнадцать лет. А у него уже был горький опыт.

- Ты еще молода, - сказал он Мюневвер. - У тебя должны быть семья, дети, свой дом. Я тебе этого дать не могу - мне предстоят тюрьмы, годы преследований. Я не создан для нормальной семейной жизни.

Оттолкнув от себя той летней августовской ночью семнадцатилетнюю девушку, мог ли он себе представить, что через двадцать лет она станет матерью его единственного сына?

Я была ужасно оскорблена, - вспоминала Мюневвер Андач летом 1967 года. - Как?! Пренебречь моей любовью? Я сделала все, чтобы забыть его. Вышла замуж, родила дочь...

Мюневвер-ханым печально и снисходительно улыбалась себе семнадцатилетней, как улыбается мать наивной своей дочери...

ОТСТУПЛЕНИЕ

В том же самом 1930 году женился и Назым Хикмет. С точки зрения чистой логики в этом кроется неразрешимое противоречие: отказаться от любви, потому что ты-де не создан для семейной жизни, и тут же начать семейную жизнь с другой женщиной.

Но законы чистой логики не совпадают с логикой чувств. Любовь неотделима от бережного, уважительного отношения к личности любимой, заботы об ее интересах. В семнадцать лет личность еще не сформировалась и редко сознает самое себя. Быть может, то, что она принимает за любовь, - всего лишь юношеское увлечение? И вправе ли он подвергать ее таким испытаниям, которые предстоят жене Назыма Хикмета?

Иное дело - Пирайе. Это зрелая женщина, человек необычайной воли и самообладания. Если она, расставшись с первым мужем, решила связать свою жизнь и судьбу своих детей с «крамольным» поэтом, то знает, на что идет. К тому же она принадлежит к влиятельному и многочисленному роду Алтуни-заде, который дал свое имя целому кварталу в Стамбуле и в случае чего будет ей надежной опорой.

Брак Назыма Хикмета с Пирайей оказался самым продолжительным. Он сделал все, что в его силах, чтоб быть хорошим мужем, хорошим отцом своей падчерице и своему пасынку. И не его вина, что из двадцати лет их брака он тринадцать с лишним провел в тюрьме.

Вспоминает Орхан Кемаль

Пирайе-ханым приезжала в Бурсу дважды, самое большее трижды в году. Нужно было видеть Назыма Хикмета в такие дни!

Его охватывало необычайное возбуждение. Еще с вечера он утюжил свой костюм, доставал из-под койки темно-вишневые штиблеты, наводил на них блеск. Рано утром спускался к парикмахеру, стригся. Не успевал я подняться с койки, как он являлся нарядный, одетый с иголочки.

- Ну как, брат? Шикарно, не правда ли?

- Ого! Просто мистер Иден! Он улыбался в пшеничные усы:

- Конечно, конечно, чем я хуже мистера Идена?!

Прямо с вокзала, если у нее были деньги, Пирайе-ханым отправлялась в гостиницу, звонила оттуда по телефону в тюрьму. После завершения формальностей им разрешали свидание в кабинете начальника или в комнате старшего надзирателя.

Его отношения к ней не были похожи на обычную любовь мужа к жене. В них было прежде всего уважение, бесконечное уважение. В письмах язык Пирайе-ханым был похож на язык Назыма: простой, решительный язык женщины, сознающей, что она - жена великого поэта, что ее муж войдет в историю, но гордая и своим собственным достоинством, своей личностью. Назым тщательно хранил ее письма. Каждодневные бытовые истории, которые рассказывала в письмах жена, он считал материалом для «Человеческой панорамы».

Но рядом с женой, сдержанной, тщательно взвешивавшей каждое слово, каждый поступок, он казался, как бы это лучше сказать, - легкомысленным, ребячливым, что ли. Властная, серьезная, Пирайе-ханым обычно садилась напротив него. Назым, размахивая руками, вскакивая и вертясь на месте, говорил, говорил, говорил и не спускал с нее глаз. А она, высоко подняв голову, слушала его.

Мне кажется, между ними вполне возможен был такой, например, разговор:

- Послушай, Назым, сколько раз тебе говорить, опять ты запачкал одежду!

- Извини, женушка, больше не буду!

«Если бы хоть раз, один-единственный раз она назвала бы меня Назымушкой, чего бы я не отдал за это! Но не говорит, чертовка...»

Словом, казалось, будто его жена - это госпожа учительница, а он сам - провинившийся школьник, который, играя на улице, вывалялся в пыли и, раскрасневшийся, потный, едва утолив жажду, предстал перед ее глазами. Слушая жену, он, несомненно, был самым счастливым человеком в мире, и то, что она ему говорила, было для него всегда важней, оригинальней и интересней всего на свете...

...Живя в Москве, Назым часто испытывал неловкость от того, что турки вообще представляются нам многоженцами, хотя еще в султанской Турции интеллигентные люди обычно придерживались моногамии. Вспоминая свою жизнь, он как-то сказал:

- Что поделать? Первая жена хотела, чтоб я отказался от самого себя, Леля Юрченко умерла - тут нет моей вины. Единственная моя вина - Пирайе. Я вел себя подчас легкомысленно. Мы даже собирались разойтись, но тут меня посадили, и бедняжка оказалась в немыслимой ситуации - и продолжать отношения тяжко и бросить мужа в тюрьме невозможно...

Назым Хикмет был человеком бескомпромиссной искренности. И в жизни и в поэзии. Говорил то, что думал. Поступал, как чувствовал. И в любви тоже. Это было нелегко для окружающих, но в первую очередь для него самого. Иначе, однако, он не был бы Назымом Хикметом.

Из бурсской тюрьмы он писал жене:

Быть может, мы бы не любили так друг друга,
когда бы не были так далеки годами;
мы не были бы так близки, моя подруга,
когда б не вклинилась разлука между нами.

Но все это было еще впереди...

Роман «Почему Бенерджи покончил с собой?» от начала до конца пронизывает ожесточенная полемика с мещанским пониманием и ощущением мира. Отдыхая от бесчеловечной, убивающей совесть деловой арифметики, мещанин ощущает потребность расчувствоваться над произведением искусства. Быть растроганным ему просто необходимо, ибо, прослезившись над историей чахоточной девушки, умирающей от любви, он как бы получает отпущение грехов - «я, в сущности, тоже добрый человек» - и, утерев слезы умиления, со спокойной душой продолжает на слезах и страданиях других людей свои арифметические выкладки насчет карьеры и обеспечения благами жизни собственной персоны. Сентиментальность мещанина всего лишь оборотная сторона его цинизма.

«Сделайте нам красиво!» - требует мещанин всех времен и народов от художника. Но ему нужна не красота, а красивость. Истинная красота неотделима от добра. Красивость же - лицемерная дань, которую безобразие платит красоте, дабы скрыть свою сущность.

Назым Хикмет, чтобы выразить свое отношение к мещанским литературным красивостям, часто делает умышленный ложный ход. Рисуя восход солнца в Калькутте, он пишет:

Солнце поднималось, как будто
Огромная армия,
Огненная, алая,
Прогоняла черную тьму...
Впрочем, это нелепо.

Лучше так:
синее небо,
как синий цветок,
упало на руки утренней заре.

И тут же обнажает прием: «Нет, так не пойдет. Поэты, жившие до меня, давно взяли патенты на восходы и закаты, замусолили, оболгали и закаты и восходы. Мне об этом нечего сказать».

И потому он говорит:

Над крышами Калькутты
Поднималось солнце как солнце.

Реальность для буржуа, в сущности, отвратительно однообразна и безынтересна, и потому, как иной бедняк нуждается в водке, чтобы уйти от реальности, мещанин ищет в искусстве наркотического забвения - несуществующих в его жизни приключений и страстей.

Начиная рассказ о любви Бенерджи, Назым Хикмет делает вид, что готов ответить на требование покупателей литературы. Знакомство молодого индуса Бенерджи с английской мисс он изображает так, как его могли бы изобразить в детективно-экзотических американских фильмах: статуя Будды, белая женщина, которую приносят в жертву фанатики, выстрелы, молодой индус спасает прекрасную жертву и увозит ее со скоростью сто десять километров на машине последней марки.

- Не надо, ребята, не портьте роман в самом начале, - прерывает свой рассказ поэт. - Поверьте хоть раз Назыму Хикмету больше, чем американскому фильму.

В действительности Бенерджи встретился со своей возлюбленной впервые в трамвае. Потом - в кофейне, в третий раз - на улице.

Читая роман, видишь, как мещанская стихия одолевает поэта. Он с ожесточением отбивается от нее - в быту, в искусстве, в литературе, в политике. Но она повсюду, как отработанный, отравленный воздух, им дышат его друзья и единомышленники, отравляются им. И тогда является горечь отчаяния: «Не надо, ребята, поверьте хоть раз Назыму Хикмету больше, чем американскому фильму».

Назым Хикмет говорил, что его роман «написан против империализма и рассказывает о тех, кто посвятил свою жизнь потрясению самых его основ». В годы, когда в нашей критике были сильны нормативно-догматические взгляды, для которых произведения искусства лишь иллюстрации к заранее известным социологическим истинам (любимые термины такой критики - «показывает» и «отображает»), об этой книге Назыма Хикмета было написано: «Выбор темы романа - революционно-освободительное движение индийского народа - говорит об истинном замысле автора: показать на примере Индии основные пути революционного движения в капиталистически развитых колониях и зависимых странах, показать соглашательские позиции национальной буржуазии и сформулировать задачи коммунистов в зависимых странах...»

Иронизируя над подобными вульгарно-упрощенными взглядами на произведения искусства, Назым Хикмет говорил: «С точки зрения высокой теории, может быть, такие определения и верны. Но если вы хотите знать правду, то книга написана совсем по другому поводу. В то время на сцене стамбульского театра буржуазной публикой была освистана моя пьеса. Газеты подняли страшный вой. Фашисты на каждой афише наклеили свой плакат: «Обагрив руки по локоть в крови наших предков, агент красных Назым Хикмет издевается над нашей национальной честью». И в это же самое время сектанты - некоторые из них потом стали агентами охранки - объявили меня отступником и ревизионистом. Многие товарищи поверили и отвернулись от меня. Тогда-то я и написал роман «Почему Бенерджи покончил с собой?».

Пьеса, о которой вспоминал Назым Хикмет, называлась «Дом мертвеца». В ней Назым средствами театра сражался все с тем же врагом - мещанством. Поэт обрушивается на святая святых всеевропейских и всеазиатских мещан: таинство смерти, торжественный патетический момент похорон, дележка наследства выставлены в самом отвратительном и смешном виде. По старым мусульманским обычаям на гроб полагалось класть феску покойного. Но одна из реформ «культурной революции» - о ней шумели в те годы буржуазные газеты - строго-настрого запрещала ношение фесок. И вот наследники примеряют к гробу

ростовщика все виды европейских «цивилизованных» головных уборов, пока, наконец, не соглашаются: покойному больше всего к лицу котелок. Если вспомнить, что в народном театре «Карагёз» котелок был постоянным атрибутом «френка», хищного и придурковатого европейца, то можно оценить умение поэта извлечь из бытовой детали ее общественный смысл: буржуазный мир - это дом мертвеца, и смена фесок на котелки поможет не больше, чем мертвому припарки.

Спектакль, поставленный Эртугрулом Мухсином, вызвал взрыв бешенства у мещан, узнавших в героях пьесы самих себя. И фашисты не замедлили обвинить поэта в издевательстве и над национальными традициями и над революционными реформами одновременно.

От частого и неуместного употребления термин «мещанство» за последние десятилетия стерся и, утратив социальное содержание, превратился в одно из бранных слов, которое сами мещане любят адресовать своим противникам. И тут сказалась удивительная безликость, всеядность мещанина, его способность принимать, как вода, форму любого сосуда.

Что же все-таки за создание мещанин и, в частности, тот, с которым так тяжело воевал Назым Хикмет в начале тридцатых годов? Это человек, вышедший из народа, но больше всего на свете страшащийся вернуться в него. Можно даже сказать, что это сам народ, отказавшийся от себя и ставший чернью. Чернью, презирающей свое патриархальное прошлое, его представления о красоте, его мораль и любым путем мечтающей «выбиться в люди», то есть обрести благополучие и сытый покой.

В годы, последовавшие за победой национальной революции, которая всколыхнула веками неподвижные народные глубины и открыла простор для обуржуазивания страны, мещанин полез, как клоп, изо всех щелей. Было бы противоестественным, если бы не проник он и в молодое рабочее движение. Выучив с чужих слов несколько элементарных марксистских истин и уверовав в них, как в догму, он ждал от революции немедленных результатов, и прежде всего для себя. Когда же революционный подъем пошел на убыль, и не в одной только Турции, а старый мир обнаружил неожиданный запас прочности, то вместо того, чтобы перейти к иным формам борьбы, которые диктовала новая обстановка, мещанин отчаялся. А отчаявшись, утерял веру и решил перевернуть мир с помощью кучки заговорщиков. Догматизм и сектантство, стремившиеся выдать желаемое за сущее и уложить действительность в готовые схемы, оказались, таким образом, проявлением мещанской идеологии в рабочем движении. Нужно учесть также, что революционные организации в Турции были

загнаны чуть не с самого начала в глубокое подполье, а во всяком подполье, если оно долго не проветривается, рано или поздно заводится нечисть. Таковы были причины, по которым в руководстве Компартии Турции в годы наступления фашизма оказалось немало ультралевых сектантов, а то и просто агентов полиции.

Назым Хикмет, как всякий богато одаренный художник, раньше многих почувствовал приближение новых времен: предстояли долгие десятилетия прежде, чем отсталые, неграмотные массы народа дорогой ценой выработают классовое сознание. И он откровенно пытался объяснить свои предчувствия товарищам.

Но вместо того чтобы прислушаться к поэту, его объявили предателем-ревизионистом и исключили из партии.

Я крикнул толпе вослед:
- Бенерджи, мой сын, моя гордость.
Он не предатель, нет!
Я, чтоб увидеть его рождение,
столько раз не смыкал глаз!
Товарищи, отбросьте сомненья.
Он не предал вас!
Он не предал вас!..
Толпа удалялась, не слыша меня...

- Партия не частное именье, - ответил Назым Хикмет. - Я вступил в нее сам. И если меня гонят в дверь, я влетаю в окно...

На несколько лет Назым Хикмет остается один, как обложенный врагами волк. Разрыв с товарищами по партии потрясает его, и, хотя он чувствует, что правда на его стороне, он заново оценивает весь свой путь, значение своей личности и своего искусства для дела, которому принадлежат и его жизнь и его поэзия.

Трагизмом этих размышлений дышит каждая страница романа «Почему Бенерджи покончил с собой?».

Он написан Назымом Хикметом в тридцать лет, в возрасте, который Данте назвал «серединой жизненной дороги». И в нем поэт подбивает итоги молодости, рассчитывается с ее ошибками, увлечениями и заблуждениями.

Каждый эпизод книги, каждый образ бьют в одну цель - по ненавистному, трижды оплеванному, но грозному врагу. Но в прямолинейной целеустремленности романа заключена и его ограниченность. Даже глядя на солнце, Назым Хикмет прежде всего думает: как видит его мещанин?

Это означает, что он сам еще зависит от врага, пусть как борец зависит от противника, но зависит. Для того чтобы заново увидеть мир своими глазами, не заботясь о том, что думает и как видит его противник, враг должен быть побежден хотя бы в твоем собственном сознании.

Борьба Назыма Хикмета оказывается в этой книге и борьбой с самим собой, со своими собственными упрощенными представлениями об искусстве.

Через пять лет в интервью стамбульскому литературному журналу Назым Хикмет скажет: «Я стремлюсь в поэзии к реализму, который передавал бы реальность во всех деталях, в движении от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Но еще не достиг этого. Во многих моих работах реализм односторонен. Поэтому он несет на себе следы «крикливой пропаганды». Свою ошибку я понял. И не совершу ее в своих последующих произведениях. Изменилось не мое мировоззрение, а мои взгляды на то, как это мировоззрение должно выражаться в искусстве».

До начала тридцатых годов отношения художника с его партией представлялись Назыму Хикмету простыми и ясными, как день. Начавшийся в Турции исторический поворот обнаруживает диалектику этих отношений. Вот как сформулирует ее Назым Хикмет в 1957 году: «Я считаю коммунизм единственной возможностью счастья как для своего народа, так и для всех народов. Поскольку в победе коммунизма я признаю руководящую роль коммунистических партий, я предоставляю свое искусство в распоряжение моей коммунистической партии, и тем самым в распоряжение моего народа. Но я хочу объяснить, что я понимаю под «предоставлением» и «распоряжением». Прежде всего когда речь идет о народе и обо мне; - поэте, то здесь нет раздвоения. Я поэт, принадлежащий народу, и в первую очередь рабочему классу. Однако не следует думать, что народ - хозяин, а я слуга, получающий от него приказания. Я частица народа, и, когда я служу ему, я служу самому себе. Что касается моих отношений с партией, то нельзя думать, что партия - офицер, а я, поэт, - денщик. Я вступил в партию сознательно и добровольно, никто меня ко вступлению не принуждал. Это раз! Я пропагандирую среди народа цель партии и ее лозунги, выражающие требования, которые возникают на разных этапах нашего движения вперед. Но вместе с тем своим искусством я знакомлю партию с народом. И я хочу, чтобы моя партия... хорошо понимала литературу. Пассивная связь с партией, простая принадлежность к ней не может принести пользы. Нужно активное взаимодействие партии, народа и художника». И потому

мысли Назыма Хикмета, опирающиеся на опыт турецкого рабочего движения, при всей необычности формулировок, явственно перекликаются с истиной, неоднократно высказывавшейся советскими писателями: подлинная партийность писателя не в том, что он пишет по чьей-то указке, а в том, что все его помыслы, вся его страсть отданы его партии.

Это не умозрительные заключения о том, что должно было бы быть, а выстраданный личный опыт крупнейшего турецкого поэта-коммуниста.

...Бенерджи выжил, узнав, что любимая предала его. Не наложил на себя руки, когда друзья отреклись от него, обвинив в предательстве. Он знал, что он прав.

Но он решает казнить себя при одной мысли, что может, пусть даже против своей воли, нанести вред революции. Он принимает это решение, когда после пятнадцати лет тюрьмы выходит на волю и становится во главе движения.

«Роль личности в истории известна. Она не может изменить направление потока, а лишь ускорить или замедлить его течение... Для меня, для всех нас это вещи известные... Попробуем теперь приложить все это ко мне. Случилось так, что на определенном этапе движения я стал личностью, сыгравшей определенную роль. Но физиологически я уже сдал. Мысль моя потеряла эластичность. Если случатся крутые повороты, я не смогу повернуть - руки мои дрожат, им не удержать руля. Я могу скорей всего затормозить движение, не говоря уже о том, чтобы ускорить его. Сам того не зная, я буду совершать ошибки. Я понимаю - через несколько месяцев, через год движение вышвырнет меня, как балласт. Ты скажешь: тот, кто делает, кто идет вперед, тот ошибается, все дело в том, чтобы осознать ошибки. Но если ошибки становятся неизбежными для того, кто идет во главе каравана, и если он хоть на миг станет упорствовать, желая удержать за собой место во главе, то разве это не равносильно предательству? А я ни на секунду не могу быть предателем. Это противно моему существу...»

Так в 1932 году объяснял Бенерджи свое решение Назыму Хикмету.

Мы часто говорим, что искусство есть один из видов познания мира. Но, пожалуй, прежде всего это самопознание. Народа, класса, художника. Роман «Почему Бенерджи покончил с собой?» был актом самопознания передовой революционной части турецкой интеллигенции и рабочего класса в трагический переломный момент истории страны. И одновременно он был актом самопознания поэта по имени Назым Хикмет. Не будь у него возможности переплавить свои мысли и чувства в

произведение искусства, как знать, удалось ли бы ему пережить эти годы.

Пламя удельненских костров, на которых закалилось уменье Назыма Хикмета беспощадно оценивать свою собственную личность, - а пламя это обжигает, когда читаешь роман, - оказалось спасительным.

Слушая Бенерджи, поэт внутренне протестует против его решения. Не напрасно оно кажется ему слишком рационалистичным и потому узким, а быть может, и ошибочным. Но, не находя слов для выражения своего протеста - логика Бенерджи еще слишком близка к его собственной, - поэт в смятении бежит от своего героя. Психологически - это бегство поэта от мысли о самоубийстве. Но выстрел, прозвучавший в конце романа, когда его автор сбегает по лестнице, - точка, разделившая его жизнь на две части.

До сей поры Назыму казалось, что он может быть и профессиональным подпольщиком, политическим организатором и поэтом одновременно. В новой исторической обстановке он начинает сознавать, что это не так. Товарищи недаром обвиняли его в невыдержанности - он слишком импульсивен, слишком открыт, поддается первому порыву чувства. Если для подпольщика это недостаток, для поэта - достоинство. И в поэзии его, Назыма Хикмета, заменить не в состоянии никто.

В истории каждого общественного движения бывают моменты, когда после неудачной попытки осуществить свои цели оно возвращается к своим истокам. Практика как бы отделяется от идеологии, самопознание готовит новый подъем движения, которое примет иные формы.

В истории освободительного движения его страны Назыму Хикмету предстояло совершить подвиг, до сих пор не выпадавший на долю ни одного из поэтов. На три десятилетия его поэзия стала практически единственным настежь открытым окном из душного подполья в широкий мир народа. Написанный на середине жизненной дороги роман «Почему Бенерджи покончил с собой?» оказался устремленным не столько в прошлое, сколько в будущее.

Из монолога Роя Драната родится впоследствии неожиданная трактовка образа Дон-Кихота, «Вечного рыцаря юности, который, прислушавшись к разуму, бьющему в груди, в пятьдесят лет выходит на завоевание правды, справедливости, красоты», и пьеса «Чудак», славящая мудрость чудаков, которые, подобно Джордано Бруно, скорей дадут себя сжечь на костре, чем отступятся от себя, - «благодаря им, быть может, только и вертится Земля».

Из размышлений о роли личности в истории - она окажется

много хитрей, чем это представлялось Бенерджи и его создателю в начале тридцатых годов, - возникнет в пятидесятых годах замысел комедии «А был ли Иван Иванович?». В этой пьесе, созданной накануне XX съезда КПСС в Москве, поэт снова вспомнит народный театр «Карагёз» и даст волю своей ненависти к мещанскому самолюбованию. И эта ненависть, помноженная на зрелость мыслителя и художника, продиктует поэту сцены и ситуации, обнажающие превращение мещанства бытового в мещанство политическое, помогут нашему обществу в борьбе с явлениями недавнего прошлого.

Пятнадцать лет в каменном мешке тюрьмы собственной кровью меж строк казенной книги пишет Бенерджи «Историю Индии XX века». В определенный день и час человек с рабочей окраины приходит к стенам тюрьмы и подбирает выброшенный из тюремной камеры камень, вокруг которого обернуты страницы, написанные Бенерджи. Рабочий прячет их у себя на груди и уходит в ночь, чтобы вручить их людям.

«На самом деле, - говорит Назым Хикмет, - Бенерджи писал, конечно, не кровью, а чернилами. И переправлял написанное иным способом, не стану говорить каким, ибо даже в романе не желаю оказывать услуги британской полиции. Но если бы потребовалось, Бенерджи отдал бы всю свою кровь ради единой строки этой «Истории». И это не пустые слова. Те, кто полагает, будто подобные люди существуют лишь в романах XIX века, не знают безымянных, но великих героев, рожденных борьбой века XX».

То, что это не пустые слова, Назым Хикмет подтвердил собственной жизнью. И сейчас, когда мы знаем, как в течение долгих лет в каменном мешке бурсской тюрьмы создавалась его история XX века - «Человеческая панорама», эти сцены книги поражают провидением собственной судьбы. Подобно страницам, исписанным Бенерджи, товарищи Назыма Хикмета, прижимая к груди драгоценные страницы, по частям выносили его эпопею на волю, не будем говорить, каким способом проносили, ибо и в этой книге не нужно оказывать услуги полиции.

Переведенная на многие языки мира эпопея Назыма Хикмета, замысел и черновой набросок которой мы находим уже в романе «Почему Бенерджи покончил с собой?», стала одним из удивительнейших человеческих документов, рожденных борьбой XX века.

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы совершает подвиг любви

В Зеленой Бурсе, провинциальном городке в центре благословенного края, есть на что посмотреть приезжему человеку. Зеленым зовут этот город не потому лишь, что весь он стоит в зелени - оливковые и тутовые рощи в долине не теряют листвы и зимой. Бурса стала первой столицей молодого османского государства. А турки-османы вовсе не были только разрушителями и завоевателями, каковыми с нелегкой руки церковников до сих пор кое-кто представляет их на Западе, но и строителями, мастерами, художниками. Зеленая глазурь изразцов, покрывающих стены бурсских гробниц и мечетей, словно вечнозеленый сад, не знает себе подобных в мире - по сей день не раскрыт ее секрет. Да разве одна глазурь? И каменная вязь резьбы, и изысканно стройные мечети, и пышные дворцы, и очищающие душу залы термальных бань Ени Каплыджа, воздвигнутых великим турецким зодчим Синаном, свидетельствуют о творческой мощи создавшего их народа.

К этим свидетельствам XX век прибавил еще одно: невысокое зданье, обнесенное со всех сторон толстой стеною. И хоть оно не радует глаз красотой, оно вошло в историю турецкого искусства и в историю мировой лирики. Здесь, в этом здании, одиннадцать лет провел в заключении Назым Хикмет. Его ученик - художник Ибрагим Балабан изобразил это здание в одной из самых известных своих картин «У ворот тюрьмы». Вот как рассказывал об этой картине Назым Хикмет:

...Шестеро женщин с той стороны железных ворот.
Ноги их терпеливые, на руках печаль.
Восемь детей с той стороны ворот,
Как чертенята выглядывают из-за плеча...

Лошадь с той стороны железных ворот,
Вот-вот заплачет, такая в глазах тоска...

Шестеро женщин с той стороны железных ворот.
За решеткой пятьсот мужчин, госпожа моя.
Ни одна из шести этих женщин не ты.
Но один из пятисот мужчин за решеткой - я.

Впервые Назым Хикмет провел за этими стенами больше года после выхода в свет романа «Почему Бенерджи покончил с собой?». Его книги были найдены у бурсских ткачей, поэта обвинили в подстрекательстве к мятежу и оскорблении влиятельных лиц. Следствие и сам процесс тянулись долго. Прокурор требовал виселицы. Смерти требовали набиравшие силы фашистские организации.

Но власти колебались. И вместе с ними колебались чаши весов в руках «богини правосудия». Каждый новый поворот событий в стране и в мире мог повлиять на решение суда.

11 ноября 1933 года Назым Хикмет написал первое поэтическое письмо к жене из бурсской тюрьмы:

Труп на веревке качается.
Никак на такую смерть
сердце не соглашается...
Но, любимая,
твердо знай лишь одно:
когда рука,
похожая на волосатого паука,
затянет петлю на шее,
напрасно будут смотреть на поэта Назыма,
чтобы увидеть страх в его голубых глазах.
На рассвете последнего дня
я увижу друзей и тебя.
И боль, что песня моя не допета,
со мною вместе поглотит земля.

Он говорит в письме о том, о чем говорит близким каждый узник. Утешает: мол, есть такая примета, нужно думать о хорошем, и все будет хорошо. Просит прислать теплое белье, ибо разболелась нога, ушибленная когда-то во время игры в футбол на Петровском поле в Москве.

Жена моя, доброе сердце,
Золотая моя голова,
Пчела, чьи глаза слаще меда,
И как только пальцы мои написали,
Что требуют смерти моей!
Суд еще только в самом начале...
Если деньги есть у тебя,
пришли фланелевые кальсоны, -
Что-то болит нога.

И помни: думать должна
Лишь о хороших вещах
жена,
У которой муж - заключенный.

Назым Хикмет был осужден на пять лет тюрьмы. Но вышел через год по амнистии.

Вряд ли думал он тогда, что это стихотворное письмо через много лет литературоведы назовут «началом нового жанра в его лирике».

В 1945 году Назым Хикмет писал жене из бурсской тюрьмы:

«Послушай теперь, что я делаю: днем работаю над переводами, правлю и отделываю «Панораму». Так продолжается, до вечера. Но как только пробьет 21 час, я думаю о тебе. Не пойми меня так, будто в другое время я о тебе не вспоминаю. Но после 21 часа я ни о чем и ни о ком не думаю, кроме тебя, и до 22 пишу тебе стихи. В первые дни я так погружался в мысли о тебе, что не написал ни одной строки. За исключением этих двух вечеров, я писал каждый день. Это крохотные вещицы, они недостойны тебя, но будь уверена, что это самые искренние и безупречные мои созданьица... Когда-нибудь мы выпустим их отдельной книгой».

Прошло еще двадцать лет. И книга эта действительно вышла. Но Назыма Хикмета уже не было в живых. Издатель книга Мемед Фуад, сын Пирайе и пасынок поэта, назвал ее так, как хотел того автор: «Стихи, написанные Пирайе между 21 и 22 часами»...

...Отношение между мужчиной и женщиной, заметил Маркс, есть одновременно и самое непосредственное отношение к природе, показывающее, насколько природа человека стала истинно человеческой или насколько человечность стала его природой.

Опустился иа землю, на землю смотрю;
на травы смотрю,
на букашек смотрю,
смотрю на цветы голубые.
Ты, как земля весною, любимая,
я смотрю на тебя.
Лежу на спине, вижу небо,
ветки деревьев вижу,
пролетающих аистов вижу.
Ты, как небо весною, любимая,

я вижу тебя.
Ночью в поле зажег костер, прикасаюсь к огню.
К воде прикасаюсь,
к шелкам, к серебру.
Ты огонь, разожженный под звездами,
я прикасаюсь к тебе.
Я среди людей, я люблю людей,
я движенье люблю
и борьбу.
Ты в борьбе моей человек,
я тебя люблю.

В средние века бренная жизнь человечества текла словно под мрачными сводами подземелий - природа, сознание, надежда, будущее, отделенные от плоти, были отчуждены в пользу неба и бога. Когда во тьме под мрачными сводами впервые со времен античности забрезжил свет гармонии, возвращавший человека к природе, к самому себе, великие поэты Данте, Петрарка, Шекспир воспели индивидуальную любовь. Они воспели женщину, объявленную официальной идеологией «сосудом греха», и вознесли любовь на пьедестал нравственного подвига. Это время было названо Возрождением.

Буржуазные отношения в своем развитии вновь отчуждают человека от самого себя. Его естественные овеществленные силы и качества, так же как силы природы, становятся враждебными ему, лишаются своей действительной сущности, сводятся лишь к их товарной стоимости.

XX век на новом витке исторической спирали обнаруживает возможность новой гармонии. И лучшие его поэты запечатлевают новый характер отношений между мужчиной и женщиной.

Половина яблока мы,
половина - огромный мир.
Половина яблока мы,
половина другая - люди.
Половина яблока ты, дорогая,
я - половина другая.
Мы вдвоем.

Для Петрарки его Лаура была лишь объектом любви. Нам трудно определить ее человеческий характер, представить себе по

стихам ее самое как цельную личность. Да она могла и не быть ею - слишком низок был уровень развития женщины того времени. Не потому ли это любовь односторонняя, неосуществленная? Насколько мы можем судить, ни Лаура Петрарки, ни Беатриче Данте не намеревались разделить чувства обессмертивших их людей. Правда, невозможностью иного, жизненного воплощения их любви мы обязаны тем, что она целиком вылилась в произведения искусства, но односторонцость ее особенно ощутима в сравнении с лирикой человека Нового Возрождения, чей внутренний мир с такой полнотой выражен в стихах Назыма Хикмета.

Любимая - это его собственная вторая ипостась, может быть, более совершенная, чем первая: она и прекрасная женщина, и единомышленник, и товарищ в борьбе, и равная ему личность. Об уровне ее личности мы можем судить по мыслям и чувствам, которые разделяет с нею поэт: от сложнейших философских построений до самых неуловимых душевных движений, воплощенных в стихе с наготой живой, трепещущей плоти и с откровенностью, не всегда возможной даже наедине с самим собой.

...Мне позволено только с самим собой
разговаривать в этом краю.
Но так как это наскучило мне, любимая, я пою.
И мой голос, который ты знаешь,
противный, звучащий фальшиво,
проникает мне в сердце так глубоко,
что сердце мое разрывается.
И тогда, как сиротка из сказки слезливой,
что идет босиком по дорогам в мороз,
мое сердце готово заплакать,
вытирая свои голубые глаза и малюсенький нос...
Да, заплакать,
не затем, чтобы всадник на алом коне поспешил бы
к нему,
не затем, чтоб не слышать крика черных птиц,
что уставились на него,
Плакать, не требуя ничего, не жалуясь никому,
Плакать совсем одиноко, просто так - для себя...

Мелькают дни, текут месяцы, уходят годы. Чередою следуют друг за другом весны и зимы, сменяются картины природы. Демонстрируя неповторимость повторения, изменяется мир. А

Назым Хикмет за желтыми стенами тюрьмы в городе Бурса, - будто корабль на якоре, груженный свинцовой тоской. И, накапливаясь, как заряд в грозовой туче, его любовь достигает грандиозных размеров, вмещая в себя природу и родную землю, свободу и самое жизнь.

Любить для него означает быть человеком.

Этой ночью, осенью поздней,
я полон твоими словами,
вечными, как материя и как время,
как глаза нагими, как руки тяжелыми
и как звезды сверкающими словами.
Твои слова пришли ко мне
от сердца твоего, от разума, от плоти.
И привели твои слова тебя,
И были они матерью,
и женщиной,
и другом,
слова твои,
печальными и горестными, радостными, полными надежды
геройскими людьми.

«Любить, - говорил Экзюпери, - не значит глядеть друг друг другу в глаза, а вместе в одном направлении», Любовь для Назыма Хикмета - это творчество.

Когда рогов моих быков рассвет коснется,
я с терпеливой гордостью пашу,
и на моих босых ногах сырая теплая земля…
После полудня собираю я маслины.
Я - свет, весь с головы до ног, лицо, глаза, одежда.
А ночью в море по колено я сеть тащу,
смешались звезды, рыбы...
И спрос с меня теперь за всю планету,
за человека, землю, свет и тьму.
Ты видишь, дела у меня по горло.
Не занимай меня, о роза, разговором.
Я занят тем, что я тебя люблю.

Всякий перевод поэтического произведения похож на

оригинал в лучшем случае, как оборотная сторона ковра на лицевую. Но передать изощренное и вместе с тем непринужденное мастерство лирических писем Иазыма Хикмета из бурсской тюрьмы на ином языке кажется почти невозможным. Рифмы, то упрятанные в глубине строки, приглушенные, будто смутное далекое воспоминание, то гремящие, яростные, то просветленные, полнозвучные, мужественные; торжественные повторы, интонации - задыхающиеся, умиротворенные сознанием исполненного долга; нагнетание режущих, как нож, шипящих или плавный перелив гласных, как песня, спетая про себя, - все здесь неотделимо от смысла. Это само движение живого чувства. Форма тут не кожура, облегающая плод, не сосуд, в который налито содержимое, она сама содержательна, стоит ее разрушить, попытаться разделить, как содержание становится формальным, безжизненным, словно разъятое ножом тело, это новый синтез формы н содержания - свободный и вместе с тем предельно строгий, соответствующий Новому Возрождению цельного, неделимого Человека.

Человечество, несомненно, дарует бессмертие маленьким шедеврам Назыма Хикмета и имени той, которой они посвящены, - Пирайе.

К сожалению, все на свете имеет свою цену, в том числе и бессмертие, - за него обычно платят жизнью.

Десятилетний подвиг любви, совершенный Назымом Хикметом в бурсской тюрьме, обратил несчастье в свою противоположность, «и самая страшная мука - мука разлуки» родила стихи, по которым не одно поколение будет познавать себя, постигать чудо любви как высшей формы отношений между людьми и с гордостью сознавать себя человеком.

Искусство, конечно, отражает жизнь. Но его отношения с действительностью много сложней, чем отношения объекта и его отражения в зеркале. Не для искусства, для реальной человеческой жизни и любви, - а она, как все в мире, имеет начало, развитие и конец, десять лет - срок огромный. И любовь живых, конкретных людей по имени Назым и Пирайе, разделенных тюремными стенами, не имея возможности иного воплощения, вся до капли осуществилась, исчерпала себя и умерла в поэзии.

На одиннадцатом году заключения Назым Хикмет задумывает драматическую поэму «О Ферхаде, Ширин, Мехмене Вану и воде Железной Горы», - эта пьеса известна больше под именем «Легенды о любви». Переосмысливая древнюю легенду о Ферхаде и Ширин, он воплотит свои мысли о диалектике любви, ее отношениях к искусству, мысли, выстраданные собственной

жизнью, в характерах своих героев.

Десять лет прорубает Ферхад палицей Железную Гору, чтобы получить Ширин и пустить в город воду, подобно тому, как сам Назым десять лет прорубался стихом сквозь тюремные стены к своей любви, добывая для людей свободу, справедливость и красоту. Пьеса должна была кончиться так: государыня Мехмене Балу - она поставила Ферхаду условие прорубить гору, чтобы получить Ширин, - умерла. Нет больше препятствий для того, чтобы любящие соединились. Но Ферхад уже не может бросить свой труд, он должен во что бы то ни стало бго закончить. И когда вода, наконец, начинает бить из фонтанов города, старый, больной Ферхад умирает на руках Ширин.

Первоначальный замысел был изменен поэтом. Он писал жене:

«Ширин и Ферхад так похожи на нас с тобой, что я не решился кончить пьесу его смертью - мне показалось, что, умри мой Ферхад на руках у Ширин, я убью себя самого в тот миг, когда мы соединимся. Да и по смыслу пьеса должна была кончиться иначе: ведь вода еще не потекла из источников и люди все еще с восхищением слушают грохот Ферхадовой палицы... Не могу тебе передать, как глубоко я чувствую эту тему. Писал я пьесу чуть не со страхом. Все мне не нравилось... Помнишь, Ферхад в одном месте говорит: «Мы только тысячную долю своей тоски можем уместить в тюльпане». И я мучился тем, что не могу выразить и тысячной доли того, что чувствую. Я и сейчас, конечно, не выразил всего, но, кажется, по крайней мере одну тысячную передать удалось».

«Ну может ли прекраснейший рисунок с лицом Ширин сравниться?!» - думает Ферхад.

Искусство не может заменить жизни, сравниться с нею. Но оно учит людей понимать жизнь. Искусство научило Ферхада понимать язык жизни, язык природы. Он разговаривает с волками, ожидающими зимы, змеями, влюбленными в человеческое тело, маленьким тополем, мерзнущим на ветру, с утренней звездой, с Железной Горой. В сущности, это разговор с самим собой, а голоса природы, отвечающие ему, - все те же внутренние голоса, которые звучат из потаенных глубин человеческого существа.

Умудренный опытом труда человек не только хозяин природы и преобразователь ее, он ее сын. И земля не служанка ему, не батрачка, а мать.

И оживают в пьесе поэтические образы детства Назыма Хикмета - плачущая айва, смеющийся гранат.

Утренняя звезда спрашивает:

- Неужто ты забыл Ширин?

- Не то чтобы забыл, нет, тут другое. Не помню очертанья глаз ее, бровей и губ... Как ни стараюсь, не могу вообразить лицо Ширин. Оно во мне осталось, кан белое сиянье, как твой свет - далекий, ясный... Оно во всем - в тебе, в чинаре этой, и в палице моей, и в шуме ветра, и в лицах людей, которые ко мне приходят! Оно везде, во всем!

Любовь Ферхада вобрала в себя весь мир.

- Народ верит тебе, - говорит Ферхаду отец. - Народ обмануть нельзя. Он давно забыл, что ты начал рубить Железную Гору, чтоб получить Ширин.

- И я забыл.

- Ширин?

- Нет, разве можно ее забыть?.. Но я уж сам не знаю, почему я прорубаю эти скалы, - для того, чтоб соединить себя с Ширин или народ с водой...

Государыня Мехмене Бану ставит новое условие - Ферхад может получить Ширин, если откажется от своей работы. Но это значит для него отказаться от себя, изменить своей любви к родному городу Арзену. «Арзен ты любишь больше, чем меня!» - с горечью восклицает Ширин. «Но разве ты не из Арзена? - спрашивает ее Ферхад. - В то время, когда люди мрут, как мухи, ну можем ли с тобой мы во дворце быть счастливы, пить из серебряных кувшинов воду?» Он говорит ей о воде, которую он пустит в город, которая забьет из мраморных фонтанов, живая, как ее дыханье... И Ширин понимает любимого: «В этой сказке каждый хоть что-нибудь да сделал... Я тоже сделаю - я буду ждать тебя, как узника - жена, как мать - солдата...»

Женщины приносят своих детей, чтобы они посмотрели на Ферхада. Матери хотят, чтоб их сыновья стали такими же богатырями, как он. Но Ферхад не богатырь, не пророк, не гений, не ангел и не дэв. «Пусть сын твой лучше станет, чем я!» - с тоской и надеждой отвечает он.

И в финале голоса людей сливаются в стихотворный народный хор, зовущий Ферхада к борьбе: «Бей Черную скалу, Ферхад, бей! Вода Железной Горы, брызни скорей! В наши кувшины лейся полней! Бей, Ферхад, бей!»

Зимой 1965 года мы стояли с Ибрагимом Балабаном у бурсской тюрьмы. Город был окутан туманной пеленой. С деревьев медленно, как слезы, падали тяжелые капли. Балабан обернулся на запад.

- Вон там, видите, где облака касаются гор, - моя деревня.

С холмов открывался далекий вид на черепичные крыши,

среди которых, словно часовые в папахах, стоят минареты, на кипарисовые рощи, оливковые плантации, сады.

Мы молчали. За железными тюремными воротами не было видно никого. Ни звука не долетало из-за желтых каменных стен,

- Знаете, - сказал Балабан, - несколько лет наши камеры с отцом были расположены в одном коридоре, наискосок Друг от друга. Как-то, посмотрев мои картины, он сказал: «В твоей камере, Ибрагим, когда-нибудь будет музей!» Мне это показалось невероятным до дикости. Я ответил: «В твоей камере, отец, будет музей турецкой поэзии!..» Как вы думаете, в самом деле будет?..

Ни в одном городе на земле нет пока улицы его имени, нет и мемориальной доски ни на одном из домов, где он жил. Но в Бурсе у Ибрагима Балабана растут сыновья - Назым и Хикмет. И живут на многих языках земли стихи, написанные за этими стенами...

...В 1934 году, впервые выйдя из этих ворот, Назым Хикмет не думал о том, что войдет в них снова через шесть лет. На воле его ждала Пирайе, ждали борьба, жизнь и новые стихи. Каждый свободный день, который власти любезно предоставляли поэту в тюрьме, он использовал для самообразования. За год, проведенный в Бурсе, он заново перечитал «Сказки тысячи и одной ночи». Работал над историческими исследованиями о турецком средневековье, занимался историей искусств. Заготовки и до конца продуманные в тюрьме замыслы позволили ему сразу же после выхода на волю выступить с новыми книгами.

Когда Назым снова очутился в Стамбуле, коричневая рубашка фашизма была надета на многие страны Европы. Вслед за изысканно элегантными земельными магнатами Италии добропорядочные немецкие дельцы передали огромную полицейскую государственную машину в руки серых мещан, озверевших от сознания собственной неполноценности и жажды жрать и властвовать над другими людьми.

В 1935 году Муссолини начал первую военную кампанию фашизма - колониальную войну против народа Абиссинии.

В 1935 году Назым Хикмет выпустил в свет поэму «Письма к Таранта Бабу».

Как обычно, Назым Хикмет и в этой поэме дает слово своим героям. Абиссинскому юноше, приехавшему в Италию заниматься живописью, - его письма к жене Таранта Бабу составляют стихотворную часть поэмы. И итальянскому антифашисту, который «с увлечением занимался языками Азии и Африки потому, что не имел возможности пользоваться у себя на родине родным языком так, как бы хотел».

Для Назыма и его героев фашизм - крайнее проявление тенденций отчуждения человеческой личности, попытка свести ее к функции, превратить в спусковой крючок винтовки. «Фашизм презирает мирную жизнь, - писал Муссолини. - Для фашизма - все в государстве. Вне государства ничего морального и человеческого. Все остальное лишено цены».

И потому фашизм - сила, по своей сути античеловечная, враждебная любви, искусству, самой жизни.

Этот мир очень странное место:
он умирает от урожая,
от голода он живет.
Здесь нет молока, чтоб поить детей,
в то время, как рыбы пьют кофе,
здесь словами кормят людей,
а свиньям дают картофель.

Напрасно ищет абиссинский юноша в Италии дуче - Италию великих мыслителей, художников, поэтов:

Ни песен Данте,
ни Беатриче прекраснейшего лица,
Ни золотых рук Леонардо да Винчи...
Микеланджело сослан на каторгу
в темень музея,
Закрывает собою стенную щель.
На сводах собора за бледную шею
Повешен девственный Рафаэль.

Для фашизма и сам человек и высшие проявления его духа - лишь средство, чтоб закрыть щель.

Пожалуй, ни в одном из прежних произведений поэта не звучала такая страстная, всеобъемлющая любовь к жизни. Выйдя из тюрьмы, он с особой силой ощущает радость бытия: краски, запахи, мякоть плодов и могущество рук человеческих. Он поет братство людей в бесконечном, бескрайнем, свободном мире, где «каждую ночь могут все, растянувшись рядом на теплом песке, ловить подземный гул воды и песне звездной внимать».

Видеть, чувствовать, мыслить, быть с людьми,
говорить, бежать, осязать, любить...
Э-гей, Таранта Бабу, черт возьми,
прекрасная штука жить!

«Прекрасная штука жить!» - впервые произнесено именно в этой его поэме. И слова эти станут названием его последней автобиографической книги: «Прекрасная штука - жизнь, браток!»

Лирические строки абиссинского юноши, полные тоски по голосу любимой, «прохладному, как голубой Нил, глубокому, как глаза раненой львицы», обрывает газетная информация: «Военные действия итальянских войск в Абиссинии отложены до наступления весны».

Из этой деловой телеграфной фразы вырастает образ, обнажающий циничный смысл колониальной войны.

Что за странное дело, Таранта Бабу!
Чтоб убить нас на нашей земле,
они дожидаются нашей весны...
Значит, смерть войдет в нашу дверь,
на свой колониальный шлем нацепив
весенний цветок.

Гимн жизни заканчивается в поэме на трагической ноте:

Идут, Таранта Бабу, идут.
Тебя, Таранта Бабу, убьют.
Идут, Таранта Бабу, спешат.
Идут стрелять, резать, сжигать
И коз твоих у костра сожрать.

Это механический, бездушный ритм автоматизированной смерти, давно сменившей архаическую косу на бритвы авиаплоскостей.

Примитивный, но цельный человек Африки оказывается ближе к родовой сущности человека, чем цивилизованные европейские дикари.

Поэма посвящена памяти Анри Барбюса. Ненависть к войне, питавшая творчество французского писателя, вдохновляла в эти годы художников самых разных стран: Гарсиа Лорку и Николу Вапцарова, Юлиуса Фучика, Мате Залку и Пабло Неруду, Ярослава Галана, Илью Эренбурга и Михаила Кольцова. Писатели эти часто даже не знали друг о друге. Но именно они выразили чувства и мысли поколения антифашистов тридцатых годов - французского народного фронта, испанских интербригад, венских щуцбундовцев, поколения, которое, пусть на короткий

исторический миг, воплотило мечту о единении людей в борьбе против обесчеловечивания. «Письма к Таранта Бабу» поставили Назыма Хикмета в один ряд с лучшими писателями-гуманистами нашего времени.

Через пятнадцать лет он встретится с теми из них, кто останется в живых после самой страшной и тяжелой войны, которую когда-либо переживало человечество, на пробитой миллионами ног дороге движения сторонников мира. Назым Хикмет будет вместе с Фучиком и Робсоном награжден первой премией Совета Мира. Неруда и Эренбург, Арагон, Леви, Броневский, Жолио-Кюри, Амаду станут его друзьями. И Поль Элюар скажет; «Странное дело, когда я читаю стихи Назыма Хикмета, мне кажется, что я сам об этом думал, сам хотел это написать».

Народ Италии, на одной из своих прославленных площадей повесивший вверх ногами Муссолини, чтобы получить возможность свободно пользоваться родным языком, прочтет на родном языке и поэму «Письма к Таранта Бабу». Книги Назыма Хикмета, запрещенные на его родине, будут изданы в Италии тщательней и полней, чем где бы то ни было в мире. Их будут иллюстрировать Ренато Гуттузо и старый друг поэта Абидин Дино, переводить лучшие поэты страны. К голосу Назыма Хикмета - он не раз побывает в Риме - будут прислушиваться и рафинированные интеллектуалы и рядовые активисты Коммунистической партии Италии, одной из самых творческих партий международного рабочего движения. Но дожить до этого - все равно что умереть и родиться заново...

После выхода «Писем к Таранта Бабу» их автор вынужден был скрываться. Назым Хикмет не ушел в подполье. Он жил вместе со своей семьей - Пирайей и двумя ее детьми - в квартале Джихангир. Но, гонимый полицией и цензурой, пантюркистами и нуждой, редко мог пользоваться своим языком так, как хотел. Чтоб заработать на жизнь, поэт должен был сочинять авантюрные романы, высмеянные им в книге о Бенерджи, оперетки по бродвейскому образцу, киносценарии и фельетоны.

И хотя он нигде не изменил себе, он не считал тем не менее возможным подписывать своим именем литературные поделки. Так появился на свет Орхан Селим.

О мой жалкий, мой хилый Орхан Селим!
Ты не око мое, не рука ты и не мудрая голова ты.

Не обессудь - пусть истина горька,
Но тем не менее
Нет у тебя строки, достойной чтения!

Назым Хикмет был несправедлив к своему двойнику. Враги ценили его гораздо выше.

И подняли в атаку
глаза и уши,
кулаки и сапоги,
дворцы, доходные дома, отели, банки,
станков печатных танки,
полки страниц газетных и журнальных,
доносчиков, подручных и квартальных.

Не было, пожалуй, такого реакционного публициста, газеты или журнала, которые не пытались бы облить грязью поэта и его тень - «до глупости смелого Орхана Селима», первого и последнего человека, чьим трудом жил Назым Хикмет.

Когда предоставлялась возможность нанести удар в полную силу, поэт выходил из-за спины своего бледного детища. В 1935 году такая возможность представилась еще дважды. Назым Хикмет выпустил книгу стихов «Портреты», в которой собрал сатирические и полемические портреты фашиствующих литераторов, и опубликовал пьесу «Забытый человек», В этой пьесе поэт, по его собственным словам, использовал драматургический опыт М. Горького для изобличения мещанства, претендующего на звание интеллигенции.

В следующем, 1936 году вышла последняя в Турции поэтическая книга Назыма Хикмета. Это «Дестан о шейхе Бедреддине, сыне кадия города Симавне».

В бурсской тюрьме Назым Хикмет среди книг по истории турецкого средневековья прочел и брошюру профессора богословия Шерафэддина о восстании крестьян под водительством шейха Бедреддина Симави. С историей восстания поэт был знаком и раньше. В 1929 году он писал;

Нам в наследство оставлен
тот нож, что в крови и пыли
пал на голову шейха Бедреддина Симави.

В бурсской тюрьме одновременно с Назымом и его

товарищами сидели осужденные на смерть крестьяне-повстанцы. «С того дождливого дня, - писал Назым Хикмет, - когда они вернулись после приговора в тюрьму, каждую ночь звенели над нами кандалы. Когда днем нас выводили на прогулку, я смотрел на окна их камеры. Двое сидели у правого окна, один - у окна слева. Тот, кто сидел один, был арестован первым и выдал своих товарищей. Хотя из их камеры хорошо были видны горы, все трое, обхватив руками решетки, все время смотрели вниз - на нас, на людей... И мы знали: если на рассвете вдруг замолкнут кандалы, которые каждую ночь до утра вели свой беспрерывный разговор в камере над нами, то, значит, на одной из самых людных площадей города закачались на веревках три белые длинные рубахи с бирками на груди...»

Пока Назым читал брошюру профессора, в его ушах беспрерывно звучал этот кандальный звон. И он вдруг почувствовал, что если не может спасти крестьян-повстанцев, то должен спасти Бедреддина, их первого предшественника в турецкой истории, от вычурного арабского почерка, тростниковых перьев и песка, спасти от клеветы и фальсификации.

Восстание Бедреддина вылилось в настоящую крестьянскую войну и охватило огромные территории - от Анатолии до нынешних Болгарии и Румынии. То было начало XV века - один из самых трагических периодов турецкой истории. Орды Тимура разбили османскую армию, пленили султана Баязида Молниеносного. Началась междоусобная война за престол. Стране грозило иноземное порабощение.

Шейх, то есть духовный наставник, Бедреддин, сын кадия - духовного судьи из города Симавне, образованнейший человек своего времени, был близок к атеизму и материализму. Его трактаты «Облегчение» и «Поступление» были уничтожены духовенством, до наших дней дошли лишь цитаты. Дука, один из последних летописцев Византии, писал: «Бедреддин обратился с проповедью и увещеваниями к туркам и советовал им все съестные припасы, одеяния, земли и тому подобное, все, за исключением женщин, сделать достоянием всех», Бедреддин утверждал: «Силой науки познает труженик единство вселенной. Законы наций и вер мы уничтожим».

Словом, говоря языком современным, то была одна из первых попыток осуществить идеи крестьянского утопического социализма.

Судьба крестьянских парней, казненных в Бурсе за то, что они расправились с ростовщиком и ушли в горы, сопоставленная с опытом истории, родила поэму Назыма Хикмета «Дестан о шейхе Бедреддине, сыне кадия города Симавне».

Вместе с поэтом читатель присутствует при возникновении «Дестана». Вот Назым в камере читает брошюру Шерафэддина. «В голове у меня Бедреддин и его сподвижник Бёрклюдже Мустафа. Кажется, стоило бы мне сделать еще одно усилие, и через сотни лет я смог бы увидеть их лица, как два исполненные надежды слова, прогремевшие среди бряцанья мечей, лошадиного ржанья, свиста кнутов, плача женщин и детей».

Происходит чудо. В камере раздается голос одного из дервишей Бедреддина, и вместе с ним поэт покидает тюрьму. Начинается фантастическое путешествие в глубь веков, в котором каждая картина, каждая деталь достоверны.

«Все, что я видел, - пишет поэт, - картины, звуки, краски, события, образы, - я по привычке записал короткими и длинными строчками». Краски, картины, звуки названы не для красного словца. Читая поэму, невольно вспоминаешь то средневековые турецкие миниатюры, то натюрморты голландских мастеров.

«Они подошли к дереву, на котором висел Бедреддин. Тот, что был слева, снял башмаки. Взобрался на дерево. Те, что остались внизу, ждали, расставив руки. Человек на дереве стал резать узел мокрой, намыленной веревки, которая, как змея, обвилась под длинной седой бородой вокруг тонкой шеи Бедреддина. Нож вдруг соскользнул с веревки и вонзился в вытянутую шею мертвеца. Крови не было. Парень, который резал веревку, стал белым как снег. Склонился, поцеловал рану. Выпрямился, отбросил нож, развязал надрезанный узел и передал тело Бедреддина в руки тех, что ждали внизу, как передает отец в руки матери спящего ребенка».

Позднее, уже в Москве, когда мы с поэтом работали над переводом «Дестана», он признался, что, обдумывая сцену, в которой крестьяне тайком увозят тело казненного вождя, все время видел перед собой картины великих европейских художников на тему «Снятие с креста» и хотел найти свое решение этой темы.

Центральная часть «Дестана», где речь идет о решающем сражении повстанцев с войсками султана, может служить образцом полифонического стиха. Вначале, в картинах природы, которую поэт видит глазами восставших, звучит мелодия ожидания.

Там
всех нежней, всех грубей, всех скупей, всех щедрей,
всех родней -
великая, прекрасная жена!
Земля!

Она
родить была должна,
была должна.

Постепенно ожидание перерастает в ощущение предгрозья. Все чаще звучит мотив испепеляющей жары, готовой разразиться грозы.

Жара была.
Жара,
Тупым клинком с кровавым черенком - была жара…
Тучнели тучи.
И капля первая должна была вот-вот
упасть, как слово доброе, с высот.

И вдруг явственно слышится мелодия смерти, которая приближается «на крыльях птицы». Похожая сначала на посвист заклинателя змей, она рассыпается скрежещущим грохотом аллитераций.

Там,
сожаленью и пощаде чуждый,
сшибая, словно огненные маки, детей головки взмахами меча
шел по полям пожар пятибунчужный,
вслед за собою голый стон влача.

Но вот гроза разразилась, и -

как потоки с круч,
как дождь из туч,
как травы из земли,
как лучшие плоды земли Айдына,
навстречу армии Мурадовой пошли
богатыри, джигиты Бедреддина.

Смятение боя прерывает короткая фраза летописи: «Случилось великое побоище». Отделенная двумя паузами, она передает момент равновесия сил, когда еще непонятно, на чью сторону склонится победа. А затем героическая мелодия, возвышаясь до хватающей за душу ноты, постепенно затихает и,

как бы обессиленная, обрывается. Вступают траурные маршевые ритмы.

Враг победил,
и вытер кровь с мечей
о белые одежды побежденных,
Враг победил.
И тяжкие копыта
коней отборных из султанских стойл
ту землю растоптали,
что накрыта была,
как общий братский стол!

Неожиданно в эту траурную мелодию врывается голос самого Назыма Хикмета. Поэт знает, что поражение его героев «результат условий социальных, экономических и прочее». Но сердце не желает с этим примириться. И по его сердцу, ступая босиком, по одному и сразу все в одно мгновенье, проходят в трагическом шествии поверженные повстанцы с багровыми рубцами от кнутов на спинах и суровых лицах.

Восстание Бедреддина разбито. А сам он выдан предателем и казнен. Темная историческая ночь снова нависает над Турцией.

В камере занимается рассвет. И то, что поэту привиделось за решеткой - тень дервиша Бедреддинова, оказывается рубашкой одного из его товарищей по заключению, токаря Шевфика, - он вывесил ее на просушку после стирки.

«Дестан» кончается «Рассказом Ахмеда». Крестьянин Ахмед, узнав о путешествии, которое совершил поэт к повстанцам Бедреддина, рассказывает легенду, которую его дед слышал в Болгарии, в Делиормане, где по сию пору есть последователи шейха.

«Болтают, что труп пророка Иисуса должен воскреснуть во плоти, с костями и бородой. Это ложь. Бедреддин оживет без своих костей, без бороды и усов. Он воскреснет, как взгляд из глаз, как слово из уст, как дыхание из груди... Мы, воины Бедреддина, не верим в воскресение из мертвых, не верим в конец света, и если мы говорим, что Бедреддин снова придет, то мы говорим, что оживут среди нас его слово, взгляд и дыхание». Работая над «Дестаном», Назым Хикмет очень торопился, словно чувствовал - это одна из последних возможностей высказаться. Не все задуманное удалось ему воплотить до конца.

Это не помешало, однако, «Дестану о Бедреддине» стать одной из самых высоких вершин, взятых поэтом на долгом и трудном пути к совершенству. Если роман «Почему Бенерджи

покончил с собой?» поражает буйством нерастраченных сил, неожиданностью и многообразием приемов, то «Дестан о шейхе Бедреддине» покоряет законченностью каждой мысли, филигранной отделкой каждой строки. В нем поэт показал, с каким совершенством владеет он и классическим стихом - арузом, и народным песенным стихом хедже, и стихом свободным, и белым, и рифмованным.

Родителям все дети одинаково дороги. Но это детище до конца дней было любимейшим для Назыма Хикмета, Когда в 1951 году он вырвался из Турции, в сотнях телеграмм люди со всех концов Земли приветствовали его освобождение. Но из всех поздравлений, полученных им, признался Назым, больше всего радости доставила ему телеграмма из Москвы, подписанная неизвестными поэту «читателями «Дестана о Бедреддине».

«Дестан о шейхе Бедреддине» доказал даже врагам, что в лице Назыма Хикмета страна обрела своего национального поэта. И может, именно поэтому «Дестан» оказался последней книгой Назыма Хикмета, вышедшей при его жизни на его родине.

Поэт по-прежнему жил в Стамбуле. По-прежнему ради хлеба насущного занимался литературной поденщиной.

Каждый год под первое мая и седьмое ноября к нему являлись полицейские и просили пожаловать на недельку в тюрьму - фашистская система «превентивных арестов», так сказать арестов на всякий случай, широко применялась в те годы в Турции.

Наступил страшный 1937 год. В Испании шла схватка с международным фашизмом, от ее исхода зависели судьбы мира. Назым Хикмет всем сердцем мечтал принять в ней участие.

Поэт становится организатором Комитета помощи республиканской Испании. Назыму Хикмету не удалось послать защитникам Мадрида «ни ящика патронов, ни ящика яиц, ни пары шерстяных чулок». Но он посылает все, что у него есть, - свою любовь.

В конце 1937 года появляется в печати стихотворение Назыма Хикмета «У ворот Мадрида», по цензурным соображениям названное «Ночью идет снег».

Я знаю, в эту стужу
твои босые ноги
там, у ворот Мадрида,
как два младенца, мерзнут на ветру.
Я знаю, все, что есть на этом свете
великого, прекрасного,

и все, что будет создано людьми...
чего я жду с такой тоскою в сердце,
все это есть в твоих глазах, мой часовой,
стоящий ночью у ворот Мадрида.
И ни сегодня, ни вчера, ни завтра
я делать ничего другого не могу,
как думать о тебе, любить тебя...

Последние строки, последние слова, которые вышли в Турции при жизни поэта за его подписью...

Наступает последний день 1937 года. Под вечер Назым собирается уходить - он договорился с двоюродным братом Джелялэддином Эзине, тоже поэтом, обсудить возможность издания журнала. Вернется к полуночи, чтобы вместе с женой встретить новый, 1938 год.

На Стамбул падают крупные влажные хлопья снега. Тают в мутных водах Золотого Рога, шапками ложатся на свинцовые купола мечетей, на ветви деревьев. Редкостное зрелище - снег веселит праздничную спешащую толпу. Быстро темнеет.

Когда он является к брату, у того уже сидит Хильми Улькен, доцент университета, публицист и романист. Он-то и собирается издавать журнал.

Назым предлагает назвать журнал «Человек». Лучшего названия не придумать сейчас, когда все человеческое подвергается поруганию... Человек...

В наружную дверь стучат. В большинстве турецких домов тех лет на дверях вместо звонка было железное кольцо. Хильми Улькен бледнеет. Руки, ноги у него трясутся. «Попались! Попались!» - шепчет он побелевшими губами.

Тщательно вытерев ноги и отряхнувшись, входит вежливый, улыбающийся молодой человек. Просит извинения у хозяев за беспокойство, все-таки сегодня новогодний вечер. Но ему необходимо видеть Назыма-бея.

- Это я! В чем дело?

- Вас просят пожаловать в управление безопасности!

Поэт не спрашивает зачем. Знает, что не получит ответа. Надевает пальто.

- Я хотел бы прежде зайти домой, взять вещи!

- В этом нет необходимости! Ваша супруга в курсе... Назым пожимает плечами. «Что еще взбрело им в голову?!»

Он оборачивается к Джелялэддину:

- На днях увидимся, аби!..

Через девять лет Назым напишет в бурсской тюрьме:

Однажды ночью, когда падал снег,
я был поднят из-за стола,
посажен в полицейскую машину,
отправлен поездом
и заперт.
Так началась моя история.
Три дня назад минуло девять лет,
В коридоре на циновке человек, -
на удлинившемся лице печаль решеток, -
лежит с раскрытым ртом и умирает.
Я вспоминаю одиночество
такое полное и мерзкое,
как одиночество безумных или мертвых.
Первые семьдесят шесть дней в безмолвной вражде замкнутых дверей,
потом семь недель в корабельном железном трюме.
Но нас не смогли победить.
Вторым человеком со мною была
моя голова...
Вот он, город без улиц и без домов,
Тонны надежды.
И тонны печали.
Из четвероногих одни только кошки -
повсюду -
в камере,
во дворе,
в подвале.
Я в мире запретов.
Приложиться щекою к любимой щеке -
запрет.
Обедать с детьми за одним столом -
запрет.
Запечатать конверт -
запрет.
На ночь гасить свет -
запрет.
В кости играть -
запрет.
Но одно, хоть это и запрещено,
не отнимут,
сердце нельзя обыскать, -

это думать, любить, понимать.
В коридоре умер человек.
Унесли.
Больше нет ни надежды и ни печали,
ни тюрьмы, ни свободы,
ни воды, ни хлеба,
ни тоски по женщинам, ни надзирателей,
ни клопов.
Все кончено.
Но для нас продолжается.
Думать, любить, понимать продолжает моя голова,
продолжается ярость, что ты не можешь сражаться,
и с утра продолжает печень болеть...

Не на несколько дней, не на девять лет. На двенадцать с половиной лет ушел он на свой подвиг, чтобы выйти из тюремных стен, обретя бессмертие»

Смерть и воскресение

...Я встретил себя девятнадцатилетнего...

У меня не осталось его фотографии,

у него не могло быть моей фотографии.

Но мы сразу узнали друг друга.

Не удивились, протянули друг другу руки.

Но рукопожатье не состоялось

из-за расстояния в сорок лет.

Оно замерзло, как море безбрежное северное.

И на площадь Пушкина - для него еще Страстную - начал

падать снег.

Я замерз - особенно руки и ноги,

хоть был в меховых перчатках, носках шерстяных и ботинках,

а он стоял с голыми руками.

Вкус мира во рту у него был как вкус зеленого яблока,

в ладонях его - упругость девичьей груди.

Ему казалось: рост песни - километр.

Ему казалось: рост смерти - вершок.

Он не знал ни о чем из того, что с ним будет потом.

Это знал только я, потому что

все, во что верил он, я поверил,

всех женщин, которых полюбит он, я полюбил,

все стихи, что напишет он, я написал,

во всех тюрьмах, где он будет сидеть, я сидел,

все страны, где он побывает, я прошел,

все, чем он заболеет, я

переболел,

все сны, что ему приснятся, я досмотрел,

все, что он потеряет, я потерял...

НАЗЫМ ХИКМЕТ

Глава, в которой заключенного бурсской тюрьмы судят военным трибуналом и выводят расстреливать на палубу корабля

Ночь. Тополя во дворе уже голые. Ветер стих. Но тени ветвей, переплетаясь с тенями решеток, еще колышутся на белом потолке, и от этого изученные до отвращения два желтых потека на штукатурке принимают неузнаваемее очертания - то волка, то мефистофельского профиля, то зайца, свернувшегося, как на полной луне.

Минула цепь подземных глухих превращений, и вот-вот с минуты на минуту кончится осень. На Улудаге выпал снег. Медведи на яйлах, должно быть, зарываются поглубже в жухлую каштановую листву, готовясь к спячке. Забылась до утра и тюрьма. А он все лежит и глядит в потолок. Часы на гвозде показывают два.

В машинке незаконченное письмо:

«Я в странном одиночестве. Не в абсолютном, не в полном одиночестве; одиночество полное и абсолютное намного ужасней. Как полное и абсолютное рабство. Или что-то вроде полной и абсолютной слепоты... Я одинок наполовину. Какой-то частью своей - я вместе с людьми, ощущаю прямо перед своим лицом кипящее столпотворение природы от букашек в травах до звезд на небе, вижу людей, снующих во всех концах Земли. Я среди них... Но какой-то частью своего «я» - я совершенно одинок. Так одинок, что ощущаю это впервые в жизни. Бывает, я задыхаюсь от печали. Что-то во мне задыхается, капая-то часть меня, но задыхается. Я должен это победить, это одиночество, эту проклятую печаль. Для этого есть только один способ. Отныне у меня не будет больше личной жизни - не пойми меня превратно, я не жалуюсь - ведь и до сих пор я мало жил для себя! Да, принять и согласиться с тем, что больше не будет у меня моей жизни, даже такой, какая была до сих пор. И осуществить это...»

...Он не дописал. Лег на койку и вот уже два часа, не меньше, глядит в потолок, где, словно на экране «Карагёза», тени решеток и ветвей разыгрывают какое-то странное мрачное действие... Не только в природе, в человеке тоже идет незримая подземная работа, тянется цепь глухих превращений, и вдруг что-то случается, когда, казалось бы, ничего не случилось... Вот-вот начнется его двенадцатая тюремная зима. Двенадцать раз Земля обернулась вокруг Солнца, для нее это мгновенье, как двенадцать ударов сердца. Но дети, зачатые той ночью, когда падал снег, а

его посадили в полицейскую машину и отправили поездом в Анкару, - эти дети скоро кончат школу. Жеребчики той поры, едва стоявшие на дрожащих ножках, превратились в кляч... Убийца Осман отсидел срок, успел за неуплату налогов снова попасть сюда и снова выйти, пишет, что женился, стал отцом. Мемед Фуад, его приемный сын, кончил лицей, сам стал писателем. И год уже не приезжала к нему сюда Пирайе... Минула страшная война, разбит фашизм. Миллионы мертвецов, как зерна, легли в землю. Мир снялся с якорей. Явились новые надежды. И новые бои - в Китае, в Греции... А он будто созревший плод в леднике - среди этих стен... И вот сегодня что-то совершилось. Сегодня он уже не корабль на якоре, нагруженный тоской, а камень на морском дне. Как в жутком сне, видна отсюда поверхность моря и днища кораблей, что движутся беззвучно и недостижимо...

Да, целый год прошел, как он не видел Пирайе. После приговора он написал ей, что она свободна: он не имел права ни на что ни про что, как осудили его, осудить и ее, Пирайе, на пятнадцать лет одиночества... «Что ты придумал, - ответила она. - Знай, если даже тебя осудят не на пятнадцать, на сто лет, я буду все равно с тобой... Куда бы тебя ни отправили, я поеду вслед, буду шить, зарабатывать на жизнь, кормить тебя...» Все вышло по-другому. И если бы она приехала сейчас, он не был бы ей рад. «Мы снова не увидимся годами... Морщины на лбу моем опустятся до глаз... потом до губ... все ниже... я состарюсь. И наконец, когда с тобой мы сможем соединиться, ты с жалостью посмотришь на меня!..»

Как он был счастлив, когда она отвергла его предложение развестись! Стояла весна. Он сидел вместе с курсантами - чудесные ребята! - в анкарской военной тюрьме. Не прочитал, проглотил ее письмо. Не в силах удержаться, показал его мальчикам. Как он гордился ею! И по праву: она дала ему и мужество и терпенье в самые страшные, трудные дни. Тогда он думал; «Ну, если не пятнадцать лет, то семь я выдержу...» Ребята закатили праздничный обед, на радостях сварили крепкий-крепкий кофе...

Он выдержал двенадцать лет, не семь. И вот теперь он думал, что не имел тогда права соглашаться, должен был настоять на разводе. И радость того дня ему казалась эгоистичной...

Но виноват был не он и не она, а время. Кто может себе представить - не рассудком, а всем существом своим, - что будет с ним через двенадцать лет, когда замкнется цепь глухих подземных превращений?..

Сегодня цепь действительно замкнулась. И одиночество, которого он не испытывал еще, а может быть, болезнь - к болям в

печени прибавились сердечные припадки - не позволяли ему ни уснуть, ни снова сесть за старую машинку с непробивающейся буквой «о». И перед широко раскрытыми глазами, в игре теней на потолке, сменялись друг за другом картины двенадцатилетней давности с такой мучительной яркостью, как будто какой-то кинооператор заснял их скрытой камерой и до утра крутил свой бесстрастно-беспощадный фильм...

Первый допрос по прибытии в Анкару: «Что за военный к вам приходил? Откуда его знаете? О чем говорили?..» Военный? Так и есть...

Осенью, кажется в сентябре, он отправился с Пирайе в кино на Бейоглу. После сеанса к ним подошел молодой человек в форме. Назвался любителем поэзии. Таких любителей он перевидал достаточно. Вежливо отделался от него и, придя домой, в ярости позвонил в первый отдел управления безопасности: «Когда, наконец, вы прекратите меня преследовать? Я тружусь, живу, зарабатываю на хлеб, а вы постоянно подсылаете своих людей, да еще в военной форме?..» - «Простите, в форме? Ничего об этом не слышали... Не волнуйтесь, мы разберемся. Как его зовут? Кто такой?..» - «Об этом я его не спрашивал!» Он с треском повесил трубку.

Прошло два месяца. Как-то под вечер он возвратился с Пирайе домой, и что же? Опять этот парень. Теща впустила: записку, мол, хотел оставить. У парня два вопроса: как растолковать такое-то место в книге Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» и что будет с Турцией?.. «Вот что, сынок, не ходи ты за нами, ничего, кроме беды, от этого не будет. А читать - читайте, разберитесь сначала, что такое принципы Ататюрка, что такое демократия, и растолкуйте это другим. Всего хорошего».

Хоть и странно показалось, что парень читал «Людвига Фейербаха», - полиция до этого еще не додумывалась, - а все же подозрительным он был по-прежнему.

Когда парень ушел, Назым набросился на тещу.

- Послушай, Назым! - вступилась Пирайе. - Ты даже не предложил мальчику сесть. Нехорошо, как-никак гость!

- Оставьте вы, ради бога, ваши нежности! И на порог таких типов не пускайте. Потом беды не оберешься!

Так оно и вышло...

...Один-единственный допрос. И семьдесят шесть дней в анкарской военной тюрьме: четыре стены, окошко под потолком, деревянные нары, стул, параша. Больше ничего и не влезло бы. И ни пары белья - в чем привезли, в том и пожалуйте сидеть...

Семьдесят шесть утр, дней, вечеров. Семьдесят шесть ночей. И ни одного человеческого лица - только надзиратели. Ни человеческого голоса - надзиратели и те молчат, как безъязыкие. Им разговаривать запрещено. То ли боятся, что он заразит их опасной «коммунистической заразой», то ли нарочно хотят свести с ума - знают его ненависть к одиночеству.

Да и как не сойти с ума?! Хоть бы знать, в чем его обвиняют!.. Как бы ни были справедливы или несправедливы нынешние законы, он их за последние годы не преступал ни на йоту. Ни за что ни про что сидеть семьдесят шесть дней! А у него договор на двенадцать сценариев, к марту надо закончить. Роман в газете «Харекет» оборван на середине. Черт бы их побрал! Чем будет жить Пирайе с детьми? Ведь рано или поздно выяснится, что он ничего не совершил. Если бы не письма Пирайе, он, наверное, и вправду рехнулся бы... Он хранит до сих пор эти письма. А она сохранила ли его письма или сожгла?..

...Пирайе-ханым сохранила письма Назыма Хикмета.

28 января 1938. Пятница

Женушка моя! Я здоров. Страшно по тебе соскучился. Рано или поздно моя невиновность выяснится, и я снова буду с вами. Единственная моя забота - ты. Не расстраивайся. Если можно, вышли денег. Сообщи о своем здоровье... Тоска по тебе как пламя в моей груди. Мой адрес: Центральная военная тюрьма. Заключенному Назыму Хикмету. Анкара.

Суббота, 19 февраля 1938. Анкара

...Ваши фото - у меня на сердце. То и дело достаю их и гляжу на вас. Что поделать, кроме тебя, у меня никого нет... В этот раз несчастье потрясло меня. И вот первый результат потрясения: я со всей ясностью понял, что безумно влюблен в тебя. Если я вылезу из этой ямы, то возьму тебя и детей, поселюсь в тихом уголке Стамбула, вдали от всех и посвящу остаток своих дней тебе и литературе. Быть всегда рядом с тобой, слышать твой голос, читать, писать и когда-нибудь рядом с тобой умереть. Долгими, беззвучными ночами я строю мечты об этой жизни...

1938. 1 марта. Анкара

...Я не понимаю, что мне вменяется в вину и доказательств этой вины. Но, во всяком случае, все должно выясниться: я или буду освобожден до суда, или на суде оправдан... Сделать тебя счастливой, веселой будет для меня бесконечной радостью. До сих пор я столько тебя огорчал! Когда ты была рядом со мной

источником счастья, я, порой был настолько слеп, что не видел этого. Прошу тебя, прости мою неуживчивость, несправедливость, ссоры. И в тот день, когда мы увидимся, я уверен, ты примешь меня чистым и безгрешным, как новорожденного ребенка...

5. 3. 1938

Назымушка! Не думай так скверно, ты до сих пор меня ничем не огорчал. Не знаю, смогу ли я быть веселой, но рядом с тобой я была и буду самой счастливой женщиной в мире. Ты отдал мне свои самые прекрасные годы, посвятил мне самые прекрасные любовные стихи, рядом со мной написал свои самые прекрасные вещи, во всех твоих творениях есть и моя частица. И потом, разве на твоем лице нет нескольких морщин, которые легли из-за меня, Назым?.. Посылаю тебе десять лир и ботинки...

1938. 8 марта. Вторник

...Сегодня пятидесятый день нашей разлуки. На воле снова началась зима. Небо тяжелое, как свинец. Я сижу в камере один, прочел твое письмо, еще раз прочел, еще раз, и сейчас, когда пишу, оно у меня перед глазами... Я страшно печален и невероятно спокоен. Никогда не предполагал, что печаль и спокойная радость могут уместиться в одном сердце. Эти пятьдесят дней вдали от всех людей, от людских голосов и людских лиц, пятьдесят дней наедине с самим собой привели меня в иной, новый мир. Я слушал себя, видел только свое лицо, слышал только свой голос. Во мне - одна ты. Мое лицо только на твое лицо похоже. И я без тебя - пустая оболочка... Словом, я страшно печален и страшно спокоен, женушка моя...

14 марта 1938. Анкара

Женушка моя! В пятницу я получил обвинительное заключение. Сегодня понедельник. Завтра, во вторник 15 марта - суд. Я прочел обвинение и поразился. Никогда не думал, что с такими доказательствами (?!) можно предавать человека суду. Я уверен, что в этих условиях даже слепцу видна моя невиновность, при столь бездоказательном обвинении справедливость юстиции, во всяком случае, должна восторжествовать, и я буду оправдан, но в то же время я никак не могу понять, отчего сижу 56 дней и должен буду сидеть до конца суда, почему меня вообще предают суду. И это, что врать, наводит меня порой на мрачные мысли... Ничего не поделаешь. Будем надеяться на лучшее, женушка моя, любимая моя, единственная моя. По всем стосковался, всем - большим и маленьким - привет...

...Через день после того, как ему вручили обвинительное заключение, его впервые вывели на прогулку в тюремный двор. Он опьянел от солнца, от весеннего неба, бездонного, синего, и от надежды.

Сегодня воскресение.
Сегодня меня впервые вывели на солнце.
И я впервые в жизни поразился:
как небо от меня далеко,
как широко,
как сине,
как глубоко,
и, постояв мгновенье неподвижно,
я с уважением на землю опустился,
к стене спиною прислонился.
И в этот миг не стало ни мечтаний, ни свободы,
не стало ни борьбы и ни жены моей:
я, солнце и земля.
Как счастлив я!

А в это время на другом конце Анкары никому не ведомые мальчики, запертые в комендантском помещении Анкарского военного училища, сидя на койках, в последний раз собирались с мыслями. Их было двадцать один. Восемнадцати-двадцатилетние курсанты. Их обвиняли в попытке военного мятежа. А они были уверены, что это недоразумение. Быть может, они нарушили дисциплину, но не законы - к законам республики эти юноши, готовые отдать жизнь за Турцию, питали огромное уважение. Быть может, они нарушили традиции - в Анкарском военном училище выписывать газету правящей партии «Улус» и то считалось вольнодумством, а они позволили себе читать Гёте, Гончарова, Тургенева, Горького, штудировать книги по философии и истории, наизусть запомнили стихи турецких поэтов - Яхьи Кемаля, Мехмеда Акифа, Сабахаттина Али. Но разве это государственное преступление? Четверо из них, прочтя «Письма к Таранта Бабу» и «Дестан о шейхе Бедреддине», решили, что их автор - величайший из живущих поэтов Турции. Но разве это военный мятеж? Один из них, Омер Дениз, во время побывки в Стамбуле увидел в фойе кинотеатра «Ипек» Назыма Хикмета и подошел к нему, чтоб похвастать перед товарищами знакомством с поэтом. Месяца через два Омер удрал на праздники в самоволку, приехал в Стамбул, чтоб повидаться с любимой девушкой. Желая поразить приятелей, зашел к Назыму домой. Тот

его чуть не взашей выгнал. А теперь утверждают, что Назым Хикмет давал им «директивы»!

К делу подшили даже телеграмму самого старшего из них - ему шел двадцать второй год - Шади Алкылыча: «Верьте, что Хикмет и мама мне одинаково дороги». Волей-неволей вынужден был признаться бедняга Шади, что Хикмет - это имя его жены. Да, он нарушил устав, курсант не может жениться. И его, отца двоих детей, выставят из училища. Он готов к этому.

Проверка подтвердила его слова. Не помогло...

...Шади Алкылыч впоследствии действительно станет социалистом - немалую роль сыграет здесь предстоящий процесс. В 1963 году за одну из газетных статей его осудят на шесть лет тюрьмы. И правые газеты вспомнят старую басню: «Еще в 1938 году он послал телеграмму, в которой клялся в любви к Хикмету». «Я горжусь, - ответит Шади, - тем, что сижу в тюрьме за социалистические идеи...»

Но сейчас, в 1938 году, ни Шади, никто из них не имеет понятия ни о социализме, ни о коммунизме. Они верят своим отцам-командирам, которые учили их быть правдивыми, любить родину пуще жизни. И убеждены, что вскоре все выяснится.

Но вот их на рассвете начинают по одному выводить в поле. Ставят перед отделением солдат. Солдаты вскидывают винтовки, имитируя расстрел... Затем их снова допрашивает следователь Шериф Будак - на суде он будет обвинителем. Этот человек в офицерских погонах обещает им прощенье, если они подпишут ложные показания, оклевещут товарищей.

Мальчики, наивные, чистые, честные мальчики, не сдаются.

Лишь Омер Дениз, тот самый, чья похвальба довела их до беды, на мгновенье теряется. Да еще один, по прозвищу Рыба, соглашается доносить по начальству, о чем говорят между собой товарищи.

Рыбу изобличают. И это, как ни странно, придает остальным решимости. Мальчики опасный народ...

Да, их арестовали, их мучают и запугивают напрасно. Но они еще верили, что старшие офицеры делают все это, чтоб выяснить истину. Случай с Рыбой прикончил эту веру. Лишить парня человеческого достоинства, заставить наушничать на товарищей, обещать ему свободу в обмен на подлость! И все только потому, что они хотели знать правду, читали книги, учились понимать жизнь. Это низость! А раз так, пусть дают им какой угодно срок, пусть расстреляют. Они будут стоять до конца. И умрут людьми.

И все же этим мальчикам в курсантской форме еще не приходит в голову, что их любимые офицеры, не дрогнувшие под пулями, могут пожертвовать их будущим, их жизнью, жизнью

двадцати одного честного парня, лишь потому, что кто-то отдал приказ: во что бы то ни стало расправиться с Назымом Хикметом.

Такой приказ отдали министр внутренних дел Шюкрю Кая и маршал Февзи Чакмак: так они думали завоевать доверие немецкого генерального штаба. Но об этом еще не знал и Назым Хикмет...

...Через несколько дней в перерыве между судебными заседаниями к одному из обвиняемых курсантов подойдет его преподаватель, член суда майор Фуад-бей, один из самых мужественных, самых красивых офицеров училища. Он печален, но пытается скрыть это.

- Я знаю, что дело пустое, - скажет он. - Но что поделать, будьте готовы. Сверху спущен приказ. Мы вас осудим, сынок!

- Спасибо, мой майор!..

Заседания военного трибунала проходили в училище, Сдвинули столы и скамьи, отгородили их рядом стульев - вот и место для подсудимых. Кроме курсантов, здесь и штатские - железнодорожный чиновник, продавец газет, фельдшер, лицеист, студент, рабочий военного завода. Впереди и сзади подсудимых - офицеры с расстегнутыми кобурами. У дверей - суд был закрытый - солдаты с примкнутыми штыками.

Когда ввели Назыма, все подсудимые уже расселись по местам. Шум прошел по рядам. Кроме Омера Дениза, никто из них не видел живого Назыма Хикмета, разве что на фотографиях. Всем хотелось его получше разглядеть.

Он остановился на мгновенье - статный, красивый, тридцатишестилетний. На нем было видавшее виды пальто, в руках широкополая фетровая шляпа.

Потом быстрым шагом пошел к ним, широко улыбаясь и переводя на ходу взгляд с одного лица на другое, с каждым здороваясь кивком. Сел на стул в первом ряду. Откинулся на спинку. И стал крутить в пальцах мягкие каштановые усы.

Вошли адвокаты, сели справа от подсудимых.

За ними - судьи. Их пять. Но только один профессиональный юрист. Остальные, в том числе председатель, - офицеры училища. Прокурор - тот самый Шериф Будак, который и вел следствие.

Не успели судьи усесться, как за окнами раздался сигнал трубы, возвещавший конец занятий. Сотни курсантов высыпали во двор. Стены задрожали от крика:

«Ю-у-х! Ю-у-х! Позор! Позор!»

Подсудимые разом вскочили с мест. Первым опомнился Назым:

- Что это значит? Прикажите прекратить!

Курсанты демонстрировали презрение к «предателям родины».

Явно довольный произведенным впечатлением, прокурор с разрешения председателя приказал закрыть ставни. Шум прекратился...

Обвинительное заключение утверждало: курсанты Анкарского военного училища - обвиняемые Омер Дениз, Абдулькадир Меричбою, Орхан Алкая и Неджати Челик создали тайную группу. Собираясь вне стен училища, они привлекли свою группу железнодорожного служащего Мустафу Эркина, а через него и остальных обвиняемых гражданских лиц. Через знакомого газетчика стали доставать и распространять литературу. Организация в училище росла и пыталась установить связи с такими же организациями во всей стране. На собраниях речь шла о создании народного рабоче-крестьянского режима. Через Омера Дениза группа установила связь с известным коммунистом Назымом Хикметом, получила от него директивы о том, как распространить в армии коммунизм, но, к счастью, была обезврежена. В противном случае, став офицерами разных родов войск, они создали бы во всей турецкой армии сеть своих групп и в один прекрасный день непременно подняли бы мятеж в целях захвата власти...

Самое любопытное в обвинительном заключении - это «бы».

Переходят к допросу обвиняемых. Назым Хикмет подтверждает, что о существовании всех здесь присутствующих он до сего часа не имел и понятия, за исключением одного Дениза, которому никаких директив не давал, иначе не стал бы сам звонить в управление безопасности.

Читают показания Дениза: «Назым сказал мне: «Самая большая опасность для Турции - фашизм... Вы сейчас не суйте свои головы в огонь. Напрасно погибнете. В будущем вы составите костяк армии. Став офицерами, внушите солдатам-крестьянам идеи республиканизма, а затем и коммунизма».

- Я ничего подобного не говорил! - вскакивает Назым.

- Садись! Садись!

Председатель оборачивается к Омеру Денизу.

- Отвечай, это твои показания?

Все глаза устремлены сейчас на этого невысокого черноволосого парня с резкими нервными чертами лица. Он встает, опускает голову и в наступившей тишине отчетливо произносит:

- Назым Хикмет мне этого не говорил.

- Значит, ты отказываешься от своих показаний?

- Да.

- Отчего же ты на допросе говорил другое?

- На меня оказывали давление...

Лица судей он совсем забыл. А ведь столько дней подряд глядел на них по многу часов. В памяти почему-то остался только очень тонкий, очень длинный нос. Одна забота была у них - казаться величественными, внушающими страх, Но ни страшного, ни величественного в них не было ни на грош. Они больше, чем на людей, походили на вещи. Спесивые и глупые, как стенные часы, заведенные чьей-то рукой, громким боем возвещающие о раз и навсегда установленном распорядке, унылые и подлые, как наручники, сковавшие кисти... Тонкий и длинный нос, помещавшийся рядом с председателем, был постоянно обращен в его сторону, точно нацеленный в глаз коготь. Видно, его обладатель был донельзя зол, что приходится еще выслушивать речи какого-то писателишки, И в раздражении все время перебирал четки.

Следя за ходом процесса, Назым то и дело машинально покручивал усы. И обладатель длинного носа не выдержал.

- Этот тип в присутствии суда все время играет усами, показывает свое молодечество. Это оскорбление суда, мой полковник.

- Прекратить играть усами! - приказал председатель. Назым хотел было возразить, но вовремя вспомнил наставления адвокатов: держаться как можно вежливей.

- Прошу извинения, эфенди…

...Прежде чем вынести приговор, подсудимым было предоставлено последнее слово. Высказавшись, Назым умолк.

- Вы кончили? - спросил председатель, готовясь дать знак протоколисту.

- Еще одно небольшое замечание. Я и здесь буду краток. На одном из прошлых заседаний бей-эфенди, - он поклонился в сторону носа, - изволил заметить, что я кручу усы. Это я делал машинально, решительно не имея намерения оскорбить суд. Но я вижу, что бей-эфенди, - снова поклон в сторону носа, - с первого заседания, да, с самого первого заседания, перебирает четки. Если крутить усы, как утверждает бей-эфенди, оскорбление суда, то и перебирать четки тоже неуважение к нему.

Обладатель носа в растерянности переложил четки из правой руки в левую, снова вернул их в правую и, смешавшись, спрятал в карман...

Назым расхохотался. И тут же смолк. Странный это был смех - словно не его, Будто смеялся кто-то другой, а сам он по-

прежнему лежал, вытянувшись на койке и глядя в потолок, печальный и недвижимый, как мертвец... Он посмотрел на часы. Три ночи. Прислушался.

Чуть слышно поскрипывал фонарь за стеной, Где-то в городе далеко-далеко пропел петух. Кажется, в соседних камерах никто не проснулся, а то снова напугаются... С ним это бывало - кричал иногда во сне и никак не мог проснуться. Впервые это случилось в анкарской военной тюрьме после приговора...

Кроме Назыма Хикмета, были признаны виновными и осуждены на различные сроки четверо курсантов. Остальных, хоть и освободили из-под стражи за отсутствием состава преступления или за отсутствием улик, секретным приказом военных властей объявили неблагонадежными, отчислили из училища, отправили сержантами в части «для прохождения полного срока действительной службы». После армии их ждали негласный надзор, административные ссылки, безработица, нищета. Но четверо осужденных курсантов еще не знали этого и, ожидая решения кассационного суда, утешались тем, что хоть товарищи на свободе.

Как-то среди ночи их разбудил крик. Не понимая спросонья, что случилось, они уселись на койках. Крик повторился!

- Разбудите меня! Разбудите!

Голос был глухой, сдавленный.

- Да это же голос Назыма!

Камеры на ночь здесь не запирались. Пулей выскочили ребята в коридор. Вбежали к Назыму. Включили свет.

Он лежал на спине. С открытыми глазами. Одеяло валялось на полу.

В испуге глядели они друг на друга.

- А?.. Что случилось?

- Мы здесь, агабей! Что это с тобой?

(Тогда его еще звали агабей, а не Отец, как здесь, в Бурсе.)

Он медленно приходил в себя. Ломило поясницу, боли отдавались в грудь, в плечо. Над ним склонились четыре юных лица.

- Не знаю, ребята! Что-то плохо... Дайте-ка сигарету!

Они приподняли его, посадили. Положили под спину подушку. Принесли воду. Дали сигарету.

- Только не кури сейчас, агабей.

В их глазах были любовь и тревога. Он улыбнулся через силу.

- Ничего... Обойдется! Это тюрьмы сделали меня таким. И мое кровавое ремесло... Быть поэтом - значит есть свое сердце и давать отведать другим.

Теперь-то он думал, что это был первый приступ его болезни,

которую тюремные врачи называли ангиной пекторис, то есть грудной жабой.

В ту ночь в анкарской тюрьме ребята просидели с ним до рассвета. Не думал он, что в военных школах может быть такая прекрасная молодежь. Но и то сказать - они были из лучших...

Как только их перевели из училища в тюрьму, поглядеть на страшных коммунистов-бунтовщиков приехал сам военный комендант столицы, славившийся своей строгостью. Увидев их детские лица, генерал опешил:

- Аллах, аллах! Это они и есть? Да ведь это дети?!

Он изумленно поглядел на начальника тюрьмы.

- Аллах! Аллах!.. А где ж их учитель?

- На другой половине, эфенди.

Тюрьма была разделена стеной на две части. В одной сидели солдаты, в другой - офицеры. Назыма сперва посадили в офицерское отделение, курсантов - в солдатское. И строго предупредили, что всякая попытка общения с ним будет караться.

- А ну-ка позовите его сюда! - приказал комендант.

Курсанты по-прежнему стояли по стойке «смирно» и не спускали глаз с генерала. Лицо его смягчилось. Он с любопытством разглядывал мальчиков.

- По вашему приказанию прибыл, эфенди, - Назым, щелкнув каблуками, присоединился к строю. И тут все вспомнили, что поэт как-никак окончил военно-морское училище.

- Чего это тебе взбрело в голову? Где нацизм, а где Турция? Это у нас не пройдет... Но что будет теперь с этими ребятами? А? Тебе вот дядюшка-паша прислал перину, а они, погляди, на досках да на соломе валяются. Это ваше хваленое равенство? А?

- Вы правы, эфенди. Но мы требуем равенства не в нищете, а в благосостоянии. Наша цель - избавить равенство от соломенных тюфяков!

Генерал расхохотался. Все его огромное тело затряслось, хлопая себя руками по выпирающему из-под пояса животу, он проговорил:

- Вот это здорово! Ох-хо-хо! Молодец! Сразу видно умного человека! Здорово! Здорово!

Он вдруг перестал смеяться.

- Жизнь этих мальчиков покалечена. Что они будут теперь делать на гражданке? Ты позанимайся с ними здесь, научи их чему-нибудь. Может, пригодится, когда выйдут в жизнь…

Генерал обернулся к начальнику тюрьмы.

- Мальчишек перевести на офицерскую половину. В отдельную камеру. Пусть занимаются делом.

И, тяжело вздыхая и покачивая головой, удалился. Занятия

начались с французского.

- Вот что, ребята, - заявил Назым. - Грамматику побоку. Я и в турецкой грамматике едва разбираюсь, но, с вашего позволения, пишу по-турецки неплохо.

В книжном магазине «Ашет», неподалеку от площади Улус, заказали романы Альфонса Доде, Мопассана. Стали под руководством Назыма переводить абзац за абзацем на турецкий. За французским настал черед политэкономии. Устроившись поудобней на нарах, положив рядом пачку сигарет, Назым начинал лекцию: капитал, товар, цена, прибавочная стоимость.

По вечерам после кофе сочиняли стихи, пели песни. То был первый тюремный университет профессора Назыма Хикмета. А сколько их было потом за двенадцать лет!

Как-то Назым решил дать курсантам для перевода стихи. Продиктовал наизусть бодлеровский «Балкон» - пригодились ночные бдения в Болу. Лучше всех перевод получился у Абдулькадира. В этом парне сидел незаурядный талант. Назым стал заниматься с ним отдельно - разбирал его первые прозаические и поэтические опыты. Диктовал ему свой роман, который думал напечатать в газете по выходе на волю.

Так, благодаря чистой случайности - а впрочем, случайность ли доброе сердце старого турецкого вояки? - этот курсант открыл длинный список тюремных подмастерьев Назыма-уста...

Перед его глазами возникла худенькая фигурка в курсантской форме, остриженная голова с торчащими ушами. Природа недолго трудилась над отделкой этого лица - слепила как придется и пустила в мир. Сойдет, мол, не принц. Но как говорил на суде этот простецкий на вид парень!.. Что, дескать, вы хотите, чтоб я читал? Вырос без отца. Летом на каникулах бегал в мальчиках у хозяина кофейни, торговал с лотка, сортировал на ярмарке арбузы, чтобы заработать на тетрадки и учебники. И видел, как живут дети богатых. «От бедности пошел я в военную школу, а не то стал бы врачом или инженером. Вы хотите, чтоб я читал Яхью Кемаля да Орхана Сейфи? Но я хочу знать жизнь, знать правду. И конечно, буду читать Горького и Назыма Хикмета. Какая здесь связь с мятежом? Кто я такой, чтоб решиться на подобное дело? Мне это и во сне не снилось». В его квартале жила богатая семья. Как-то прислали от них угощение - кусок встал поперек горла. Еда была кислая. «За людей не считали нас, бессовестные, оттого что мы бедняки. С тех пор я не люблю богатых. По-вашему, это коммунизм? Я спрашиваю, коммунизм это? Если не любить богатых, сочувствовать беднякам, читать стихи Назыма Хикмета - коммунизм, то можете считать меня коммунистом. И делайте со мной что хотите!..»

Нет, он не ошибся в этом мальчике. Минули годы, и вот Абдулькадир сам стал мастером - пишет отличные стихи, даже книгу сумел выпустить... Давно печатается и Рашид. Еще полгода, год - выйдет на свободу Балабан и взорвется как бомба: в турецкой живописи такого еще не было. Художник-крестьянин. Что ж, пусть больше ни одна строка его собственных стихов не увидит света. Он может умереть - его ученики доскажут за него. Он сделал все что мог для турецкой культуры. Он может умереть. Ничто больше не привязывает его к жизни. Ни любовь... Ни дети... Своих так и не завел, а приемные выросли. Только горе приносил он всем, кто был ему дорог. И больше всего матери. Скоро ему стукнет пятьдесят - все она ему помогает, все она ему, а не он ей. Слепнет, и единственный сын ей не опора. А Пирайе? И не вдова и не жена. Двенадцать лет всегда двенадцать лет. Но для женщины еще страшнее этот срок, чем для мужчины. Она права - ей больше нечего здесь делать...

Недавно мать писала: Мюневвер, его кузина, узнав, что он болеет, просила разрешения приехать в Бурсу. Мюневвер... Ему в лицо пахнуло влажным ветром моря. Он увидел ее семнадцатилетней, свою кузину, той самой ночью в Каламыше, когда они сидели, свесив ноги в темноту, и молча глядели на звезды, крупные-крупные, на огни судов, выходящих из Босфора, на светящийся муравейник Стамбула... Ее тонкий профиль и губы, теплые, полуоткрытые... Ощущение, будто время остановилось, но не так, как теперь, когда он одинок, словно труп, а по-другому, когда время и вокруг тебя и в тебе неотделимо от песчинки каждой, от каждой капли в море, и от этих кораблей, огней и звезд, и мир огромен, вечен так же, как вы, вы оба...

Далеким эхом отозвалось это чувство в его могильном одиночестве, в его застывшем времени сейчас. Как хорошо, что он тогда нашел в себе силы оттолкнуть ее. Ей было бы всего двадцать четыре, когда она осталась бы вдовой при нем, еще живом... Что нужно ей теперь?

Он правильно ответил: пускай не смеет приезжать, он не желает. Но сейчас ей тридцать пять... Неужто?

Так пусть она его не видит стариком, зачем ей этот живой мертвец? Пусть хоть у одной женщины на свете останутся о нем одни счастливые воспоминания. Пусть помнит лишь ту ночь. Ничто не должно его привязывать сейчас, когда он может умереть... Двенадцать лет не прошли даром. Аб-дулькадир, Рашид, Ибрагим, ученики, любовь, стихи - все это было. Сейчас он может умереть.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Зимой 1958 года в своей московской квартире Назым Хикмет читал друзьям турецкие стихи. Изредка поглядывал из-под очков на слушателей: какое, мол, впечатление они производят?

Потом захлопнул книгу.

- Великолепно, не правда ли? Впервые заговорил по-турецки - и как заговорил! - великий Джелялэддин Руми... А знаете, перевел его мой ученик!

Я глянул на обложку: «А. Кадир». Под этим именем вступил в литературу бывший курсант Анкарского военного училища Абдулькадир Меричбою. За годы, прошедшие с того дня, когда Назым дал ему для перевода «Балкон» Бодлера, А. Кадир сделал достоянием турецкой культуры «Илиаду» Гомера, четверостишия Омара Хайама, поэзию Поля Элюара. Опубликовал три сборника стихов. В 1966 году он выпустил книгу, в которой поднял завесу тайны, окутывавшей процесс 1938 года в Анкарском военном училище. И эта книга стала событием в жизни страны. Публицист Четин Алтан писал в стамбульской газете «Акшам»: «Прочтя эту книгу, вы еще ясней осознаете, в каком порочном кругу держали Турцию жалкие ничтожества, рабы приказов; как пугало, не менее страшное, чем инквизиция, десятилетиями держало в страхе людей нашей страны. Она не сама отстала. Ее умышленно держали в отсталости. Те, кто сейчас похваляется патриотизмом, в сущности, лишь юридические убийцы. Прочесть эту книгу и продолжать молчать, словно в рот воды набравши, значит разделить ответственность за черную страницу в истории турецкой юстиции, которая была вписана в нее 28 лет назад. Скольких погубил этот злосчастный заговор, сколько потеряла Турция!..»

Рассказывает А. Кадир

Никто из подсудимых не признал своей вины. Никто ни на кого не валил вины. Друзья доказали в эти трудные дни, что готовы к общей участи, как бы тяжела она ни была.

- Я марксист, - начал свое последнее слово Назым Хикмет. - Я один из двух поэтов, чьи стихи вошли в антологии, изданные за границей. В марксизме есть два течения: социализм и коммунизм. Я - коммунист.

- Прошу приказания запретить! - рванулся с моста прокурор. - Он и здесь занимается коммунистической пропагандой.

- О социализме и коммунизме - опустите! - приказал председатель.

- Я коммунист, а не социалист, - продолжал Назым, - Это мои взгляды, мои убеждения... Я никого не подстрекал к военному

мятежу. Так коммунизм в нашей стране не победит. Сагитировав кучку курсантов, нельзя прийти к коммунизму...

Он обернулся в нашу сторону. Оглядел нас, потом снова обратился к суду, указывая на нас рукой.

- Жаль этих мальчиков, очень жаль! Не губите их, они ни в чем не виноваты. Не виновен и я... Это заговор против меня.

Губы у него задрожали: так ему было жаль нас. А мы забыли о себе. Лишь бы он был свободен. Мы-то отчасти чувствовали себя виноватыми: как-никак нарушали дисциплину. А он был совсем ни в чем не повинен. К тому же у него была молодая жена, дети. Это было бы слишком несправедливо... Но что бы он ни говорил - все было бесполезно...

25 марта 1938. Анкара

Женушка моя! Быть может, это последнее письмо, которое я пишу тебе отсюда, а может быть, первое из множества новых, что будут полны тоски по тебе. Во вторник в девять часов утра суд вынесет приговор. Вчера 24 марта мы произнесли свои защитительные речи... По совести, уму и закону во вторник должен быть зачитан оправдательный приговор... Если во вторник я выйду, то приеду немедленно. Пусть Джеляль позвонит после обеда часов в 15 по телефону 16-04 в Анкару, узнает результат у адвокатов и тотчас же сообщит тебе.

Вторник, 29 [марта 1938]

Женушка моя! Не огорчайся. Что поделать? Не было еще па сеете более неправедного суда. Я тотчас же опротестовал приговор, В кассационном суде справедливость, во всяком случае, должна быть восстановлена. Ты, наверное, уже слышала, я осужден на 15 лет. Сообщи эту черную весть матери сама. Пусть она не горюет. Мое единственное утешение - твои письма. Позднее напишу подробнее. Пришли мне твое большое фото...

1 апреля 1938

Женушка моя! Я так спокоен и тверд, что ты себе и представить не можешь, если только спокойствие и твердость могут что-либо решить. Удар был мгновенен. Словно я открыл и закрыл глава, и все минуло. И теперь я чувствую себя так, будто встал после долгой болезни. Тело мое разбито, но я доволен и весел. Пою песни, пишу стихи и в беспробудном сне наяву вижу твое лицо. Черты лица в тумане, но волосы пылают языками пламени... И я и мои адвокаты отлично провели защиту. Да и защищаться было не от чего. Чтобы не увидеть мою непричастность ко всему делу и осудить меня на 15 лет, нужно

быть, мягко выражаясь, слепым... Господа, сидящие на судейской скамье, просто-напросто решили, что Назым Хикмет должен быть погребен заживо... Говорят, что военный кассационный суд прекрасное учреждение, не позволяющее нарушать закон. Посмотрим - в течение трех месяцев выяснится, справедливо ли это утверждение. Я не питаю надежды, но и не теряю ее. Я буду защищаться до последней возможности, предоставляемой законом каждому гражданину. До тех пор, пока смогу. О результатах не гадаю. Все предположения, основанные на законе и логике, на первом суде оказались столь далеки от истины, что трудно предположить, как все может обернуться... Единственная моя забота - ты. Что с тобой будет? Как я хотел бы сделать тебя счастливой, моя женушка! И какой несчастной ты стала из-за меня. Я погубил твою молодость, твое будущее. Отчего я не умер раньше?.. Скорбь по умершим - известно - длится недолго. Я не упрекаю никого, не пойми меня превратно, милая моя женушка. Просто, думая, что будет с тобой, я хочу умереть... Если это возможно, приезжай... Приезжай, хорошо?.. Приезжай...

Ожидая решения кассационного суда, мы провели с Назымом в анкарской военной тюрьме больше трех месяцев, - продолжает А. Кадир. - Жили в складчину. У нас скопилось курсантское жалованье. А у него денег почти не было. Готовили обед мы, ужин тоже, на его долю приходился завтрак.

Как-то он получил двадцать лир от своей тетушки.

И признался: «Говоря откровенно, ни медяка не осталось. Эти двадцать лир как с неба свалились».

Он аккуратно сложил бумажку, поместил ее в коричневый кошелечек. Как только нужно было расплачиваться, он тотчас его вынимал. Но мы между собой подумали: «А вдруг приговор утвердят, он-то глава семьи, у него на руках дети». И стали устраивать так, чтоб он не тратил свои деньги. «Вы мне ни за что не даете расплачиваться, ребята, - сказал он однажды, - Ну что же, считайте, что я у вас в долгу. Верну потом, мир тесен».

Через шесть лет, в 1944 году, когда я был в ссылке, кой-какие мои стихи попались ему на глаза. Назым сидел тогда уже в Бурсе. А я голодал. И конечно, все мои стихи были о голоде. «Ох-ох! Дайте-ка мне скорей его адрес, - сказал Назым товарищам. - Кажется, он там вот-вот умрет от голода!» И правда, я чуть не умер. Никто не давал мне работы.

Назым прислал деньги и письмо: «Я тут занялся ткацким делом. Деньги у меня есть. Начинаю выплачивать тебе долг по анкарской военной тюрьме». Назым был прав, этот мир тесней тесного. Но что с того, если я не смог вернуть ему и часть своих

долгов...

...Три месяца родные Назыма Хикмета стучались во все двери. Мать и жена поэта написали обращение к меджлису. Показали его дяде Назыма Хикмета, заслуженному генералу, герою национально-освободительной войны, депутату меджлиса Али Фуаду Джебесою. Тот ознакомил с обращением большинство депутатов. И передал одному из адъютантов президента Ататюрка: «Непременно прочти паше!»

Первый президент Турции был болен раком печени, через полгода его не стало. Тем не менее адъютант прочел ему письмо матери и жены Назыма Хикмета. «Ты видишь, что со мной?! - ответил Ататюрк. - Такими делами я заниматься не в состоянии».

Пирайе с большим трудом удалось через знакомых передать письмо дочери маршала Чакмака. Она прочитала его отцу. Маршал рассвирепел: «Проси у меня чего хочешь, но не этого. Он виновен!»

Назым не знал об этом. Родные были уверены, что он запретит им использовать личные связи. Он был невиновен и не желал для себя никаких привилегий. Он требовал только справедливости.

Члены военного кассационного суда не решаются утвердить приговор: уж слишком явно он смахивает на расправу. Судьи не желают пачкать свое имя. Выясняется, что большинство в кассационном суде против утверждения приговора. Али Фуад-паша на радостях сообщает об этом Назыму.

Но радость была преждевременной. Перед последним заседанием суда каждому из его членов в отдельности разъясняют, что дело, мол, идет о высших интересах страны и тут колебания не уместны. Этой разъяснительной работы оказалось достаточно, чтобы члены трибунала заставили замолчать свою совесть: они как-никак люди военные, приказ есть приказ. Те, кто считал, что высшие интересы страны неотделимы от справедливости и законности, остались в меньшинстве. 28 мая 1938 года приговор утверждается. Назыма Хикмета переводят сначала в анкарскую гражданскую тюрьму, а затем отправляют в Стамбул...

1938. 28 мая

...Женушка моя! Наконец дело закончено. Приговор утвержден. Мы осуждены на пятнадцать лет. Не стоит огорчаться. Дело не в осуждении, а в том, что нужно было уничтожить Назыма Хикмета... Но я, несмотря ни на что, хочу жить. Жить прежде всего ради тебя...

...«Самые лучшие мужчины - это женщины», - сказал русский поэт Евтушенко. Кроме двух женщин, Джелиле-ханым и Пирайе, никто в Турции не осмелился протестовать против расправы над национальным поэтом страны. Ни одна газета ни строкой не обмолвилась о том, что происходило в военном трибунале Анкарского училища и в кассационном суде.

После смерти Ататюрка правительство Турции сменило ориентацию. Вначале оно еще вынуждено было маскировать свои симпатии к фашизму. Но через четыре года, когда, казалось, победа фашизма была близка, премьер-министр Турции Шюкрю Сараджоглу заявил германскому послу фон Папену, что он, Сараджоглу, «страстно желает уничтожения России» и что «русская проблема может быть решена... только если будет убита по меньшей мере половина всех русских, живущих в России». Была достигнута тайная договоренность, что Турция вступит в войну на стороне держав фашистской оси, как только падет Сталинград.

Но Сталинград не пал.

Неизбежный разгром фашизма заставил тогдашних правителей Турции срочно искать новых патронов. За несколько недель до конца войны они объявили войну Германии и подписали устав ООН.

По совету США в Турции была ликвидирована однопартийная система. Чтобы направить по безопасному для режима руслу недовольство масс, поднявшихся после разгрома фашизма на борьбу за свободу, была создана Демократическая партия. Точь-в-точь как в Америке - республиканцы и демократы.

США согласились предоставить турецкому правительству военную и экономическую помощь. Началась эпоха «доктрины Трумэна» и «холодной войны».

Сколь ни карманной была оппозиционность Демократической партии, она выступала против ненавистного массам однопартийного правления. И на первых порах в нее устремились многие люди, желавшие коренных изменений в стране. Среди требований оппозиции одним из главных была амнистия всем политическим заключенным.

И вот тогда, в преддверии выборов, назначенных на весну 1950 года, во время которых избиратели впервые в истории Турции получили возможность не только отдавать свои голоса единственному правительственному кандидату, но и выбирать между кандидатами, сколь ни иллюзорным был бы этот выбор, выплыло из одиннадцатилетнего забвения имя Назыма Хикмета. Один за другим «друзья» и «почитатели» поэта, все эти годы

хранившие молчание, стали вспоминать о нем если не в печати, то по крайней мере в частных разговорах.

В печати первым назвал имя узника бурсской тюрьмы Ахмед Эмин Ялман. Он не был человеком прогрессивных убеждений, напротив, его газета «Ватан» похвалялась антикоммунизмом и привязанностью к Америке. Посетив поэта в тюрьме, Ялман напечатал статью, смысл которой состоял примерно в следующем: Назым Хикмет действительно великий поэт, осужден несправедливо и должен быть освобожден, потому что за годы заключения исправился: из антипатриота-коммуниста стал турецким националистом, очень болен и очень несчастен.

Это был хитрый ход, рассчитанный по лучшим образцам американской демократии. Зная, что Назым Хикмет не может ответить публично, Ялман пытался ввести в заблуждение его единомышленников, а если все же придется освободить поэта, помочь властям сохранить приличную мину.

«Мы живем в историческую эпоху, породившую массовый героизм, - ответил Ялману поэт. - Люди принимают смерть за свою страну и свои убеждения так же просто, как стакан воды. И поэтому моя болезнь в тюрьме, выплаканные глаза моей матери и тому подобное не имеют большого значения. Я не прошу снисхождения и ни в чем не раскаиваюсь. Как гражданин, я требую прекращения беззакония, направленного против меня лично и против конституции моей страны».

Этого письма Ялман, естественно, не опубликовал.

Назым писал жене:

«Читая статьи, появившиеся обо мне в газетах, я остался совершенно равнодушным. Как всякий честный человек, знаю, что люблю свою страну и свой народ, и если клеветники - на то они и клеветники - изрыгают ложь, мне плевать. Через двадцать, через пятьдесят лет турецкий народ забудет самые их имена, но до тех пор, пока существует турецкая нация, пока звучит па земле мой турецкий язык, я буду жить как человек, писавший самые честные стихи на этом языке и об этом народе».

И все же мысль, что кое-кто может поверить Ялману, - была непереносима. Двенадцать лет сидеть в тюрьме за свои убеждения и снова быть оклеветанным... По словам поэта, то были самые тяжкие дни его заключения.

И тогда на весь мир раздался по Московскому радио голос его старого друга И. Вилена. Они не виделись почти двадцать лет: тюрьмы и эмиграция, подполье и охранка стояли между ними. Но Билен знал одно - Назым ни на секунду не может изменить себе. «Пять минут, которые спасли мне жизнь», - сказал Назым в своих стихах об этом коротком пятиминутном выступлении друга.

«Ватан» - по-турецки значит «родина». И через несколько дней мальчишки-газетчики кричали по всему Стамбулу: «Ялман продает «Ватан» за десять курушей!..»

Удар, однако, не прошел мимо цели. Не от болезней - от огорчений умирают поэты. Надорванное тюрьмой и трудом сердце уложило Назыма на койку.

Общественный резонанс оказался совсем не тот, на который рассчитывал Ялман. После его статей адвокат Мехмед Себюк впервые получил доступ к досье Назыма Хикмета. Это был честный и беспристрастный законник. Ознакомившись с делом, он опубликовал серию статей и доказал:

1. Статья закона, по которой был осужден Назым Хикмет, не имеет отношения к предъявленному ему обвинению. Поскольку в то время уголовным кодексом не каралась пропаганда коммунистических идей, поэт был осужден по 94-й статье военно-уголовного кодекса «за подстрекательство военных к мятежу». Статья гласила: «Подстрекательство более двух военнослужащих к неповиновению непосредственному или высшему воинскому начальнику... карается тюремным заключением от 5 до 15 лет». Между тем единственным пунктом, предъявленным обвинителем в качестве доказательства, был разговор с одним-единственным военнослужащим - Омером Денизом.

2. Обвинение, предъявленное Назыму, бездоказательно. Показание Дениза, от которого он на суде отказался, даже если считать его достоверным, не является доказательством, ибо не подтверждено ни одним свидетелем.

3. Мера наказания установлена с нарушением закона. Высшая мера по данной статье требует указания отягчающих обстоятельств. Таковые суд даже не потрудился придумать.

До сей поры даже друзья поэта полагали, что он осужден все же за какое-то нарушение закона. Неграмотные крестьяне, заключенные в бурсской тюрьме, не могли себе представить, что такой человек, как отец, может быть осужден безвинно. И сколько ни стыдил их Назым, в глубине души верили в неизвестно кем придуманную легенду: Назым Хикмет намеревался, дескать, угнать к русским крейсер «Явуз».

Теперь всей стране стала известна правда, считавшаяся государственной тайной.

Нет ничего тайного, что бы рано или поздно не стало явным. Об этой мудрости стоило бы помнить преступникам, какое бы положение они ни занимали. Но преступники, как все преступники, пытаясь скрыть одно преступление, обычно совершают другое...

Июльской ночью 1938 года в стамбульскую тюрьму явились офицер флота, два унтера и три матроса. Вошли в камеру к поэту, не говоря ни слова, надели ему наручники, вывели из тюрьмы и доставили к Галатскому мосту. Здесь Назыма посадили в моторку и повезли в Мраморное море. Через несколько часов моторка пришвартовалась к борту базы подводных лодок «Эркин», стоявшей на рейде у анатолийского берега возле порта Эрдек...

Назым Хикмет никогда не рассказывал о расправе над ним. Это был гордый человек.

Он был очень прост в общении. С каждым, кем бы тот ни был - мировой знаменитостью или безвестным крестьянином, писателем или шофером такси, - держался по меньшей мере как с равным себе. Высокий, сильный, красивый, непрестанно излучавший чуть ли не физически ощутимую духовную энергию, он, если б понадобилось представить человека перед разумными существами иных миров в самом выгодном свете, в его возможностях, был бы лучшим из послов. Всякий, кому выпало счастье общаться с ним, кто попадал в поле его энергии, уносил от него заряд необыкновенной силы - все задуманное казалось возможным, достижимым - и чувство гордости за принадлежность свою к той же породе существ, что и он, породе, имя которой - Человечество.

И в то же время он был очень турок. Это сквозило и в его галантности с женщинами, и в несколько патриархальной утонченной вежливости с гостем, и в его скромности.

Он никогда не хвастал ни своим авторитетом, ни своей славой, не ставил себя в пример всем, не полагал, что все свое лучше чужого, не дрожал над своими творениями - писал он их в одном экземпляре и часто терял, не собирал архива для потомства. Словом, был скромен не той скромностью уязвленного самолюбия, о которой верно сказано, что она паче гордости, а скромностью подлинно великого человека.

В скромности - нравственная мощь и чистота народа, в самохвальстве - его слабоумие и ничтожество.

Назым Хикмет знал себе цену, как знает всякий настоящий художник. И был горд этим. Стоило иному незадачливому посетителю принять его демократизм за примитивную простоту, как в Назыме просыпался такой истинно стамбульский аристократ, что рука, готовая похлопать его по плечу, застывала в воздухе. Его простота была демократизмом настоящего аристократа, которому нет нужды выставлять это напоказ - достаточно быть им.

Это был очень гордый человек. Он никогда не говорил о том,

как с ним расправлялись. Унизительно, когда не ты делаешь, а с тобой делают, и то, что с тобой делают, - мерзко, а ты бессилен. Эта гордость тоже очень национальная черта. Самый последний турецкий шовинист предпочтет рассказывать не о том, как «резали турок», а «как турки резали». Не потому ли, зная все подробности о зверствах турецких шовинистов, мы очень мало знаем о зверствах шовинистов греческих в годы национально-освободительной войны в Турции, зверствах болгарских монархофашистов по отношению к турецкому национальному меньшинству в Болгарии, склонны забывать, что турецкие зверства так же гнусны, как испанские в эпоху колонизации Латинской Америки, английские - в Индии, французские - в Алжире, итальянские - в Абиссинии, русские - во время царских погромов в Одессе, немецкие - во всей Европе, европейские - в Африке, американские - в негритянских гетто, японские - в Корее, китайские - в Тибете, несть им числа. Шовинизм - турецкий он или армянский, еврейский или русский - всегда зверство.

Назым Хикмет, всю жизнь сражавшийся со зверством шовинизма, и в первую голову шовинизма турецкого, никогда не говорил о зверствах, которые испытал на себе.

Лишь перед смертью в последней своей книге он рассказал, и то очень скупо, что происходило на базе подводных лодок «Эркин». Но то, что он рассказал в романе, происходит не с ним, а с его героем по имени Исмаил.

«...На корабле «Эркин» его бросили в матросский гальюн. Иллюминаторы в гальюне задраены. На полу по щиколотку моча. Такая вонь! Да еще жарища. Некоторое время он стоял, посвистывая, и не решался сесть. В дверном иллюминаторе что-то мелькнуло. Голова офицера. Исчезла. Показалась другая. «Смотрят, что я буду делать, мерзавцы». Он присел прямо в мочу. Закурил сигарету. И запел песню. А в голове одна и та же мысль: «Зачем меня сюда привезли?»

Это было специально придумано - раз ты поэт, тонкая душа - посиди в моче. Думали унизить Назыма, а показали лишь собственную низость.

К вечеру поэта вывели в коридор и в сопровождении унтеров и вооруженных матросов повели вниз по множеству извилистых и узких трапов - он сосчитал: всего сто одна ступень. Открыв металлическую дверь, втолкнули в темноту и заперли. На ощупь попробовал выяснить, где он, - канаты, блоки, инструмент. Очевидно, такелажный трюм. Жара невыносимая - градусов пятьдесят. Снял пиджак, рубаху, снял брюки. Остался в одних кальсонах. Все равно пот лил градом. Он сел на кусок каната. Прикорнул.

«Его ослепил луч карманного фонаря, направленный прямо в лицо.

- Вставай, одевайся!

Фонарь держал в руках офицер в белой форме. Позади два матроса с винтовками. Ночь или день - непонятно. В коридоре лампочки горели и тогда, когда его сюда привели. Он оделся.

- Выходи!

Он вышел первым, матросы и офицер за ним. Начали подниматься по узким железным трапам. Судно вздрогнуло от заработавших двигателей. «Снялись!»

- Налево!

Они были на узкой площадке, устланной железными решетками и опутанной трубами и кабелями... «На допрос, что ли, ведут? Что им, мерзавцам, от меня надо?»

Вышли на палубу. В ночь. Свежий морской воздух ударил в голову.

- Прямо! Не оглядывайся!

Впереди никого - звездная ночь. Палуба пустынна. Шум двигателей молотит море. Вода без конца и без края, в темноте едва различимы белые барашки волн. Корабль идет самым малым. «Никто не знает, что я здесь. Но когда меня брали из тюрьмы, они, наверное, подписывали бумаги? Куда меня ведут? Боишься? Пока еще нет».

- Иди. Не оглядывайся!

Идти осталось немного. Через два шага обрывается в воду борт.

- Стой!

Он остановился. Услышал за спиной щелканье затворов. И вдруг вспомнил Мустафу Субхи и его товарищей. «Значит, пристрелят в спину и бросят за борт. Но почему? Если эти сволочи решили меня прикончить, давно могли бы это сделать. Но почему, почему именно меня?» Все это мгновенно пронеслось в его голове, но не по порядку, а в какой-то мелькающей путанице. «Надо повернуться и кинуться на эту сволочь». Он обернулся. Прямо на него глядели два винтовочных ствола с примкнутыми штыками. Рядом белел офицер. Как раз в этот миг около него появился другой, что-то прошептал ему на ухо.

- Круго-ом! Марш!

Его провели по тем же трапам. Втолкнули в трюмный отсек. Он разделся. Лег на канаты».

«...Женушка моя! Я даже не знаю, как назвать то, что со мной происходит. Мое единственное утешение, что рано или поздно моя невиновность будет выяснена. Будем терпеливо ждать этого дня.

Прошу, как только получишь мое письмо, немедленно напиши ответ, немедленно. Мой адрес: Назым Хикмет, корабль «Эркин». Через полицейское бюро Силиври».

Еще две ночи подряд выводили Назыма на палубу. Ставили у борта под нацеленными винтовками. Наконец привели в офицерский салон к военному следователю. Знакомое лицо - все тот же Шериф Будак, выступавший прокурором на суде в Анкаре. Из разговоров с ним выяснилось, что книги Назыма Хикмета были обнаружены в тумбочках унтер-офицеров флота. Книги эти свободно продавались в магазинах. Он ничего не мог сообщить следователю. Да тот и не нуждался в его показаниях.

«Ковыряя остро отточенным карандашом в очень белых зубах, Шериф-бей сказал:

- Ты заметил, что я тебя ни разу не спросил, организовал ли ты ячейку? Я давно убедился, что ты ничего не организовывал. Но дело не в этом. Нам предстоит воевать на стороне немцев, отобрать у англичан Мосул, у французов - Алеппо, у русских - Батум. Надо произвести чистку. Мы начнем с вас, а кончим теми, кто настроен проанглийски...

- А зачем меня гоняли по ночам по палубе? Делали вид, что застрелят и бросят в море?

- Начальник штаба флота прочитал в какой-то немецкой книжке о психологическом воздействии. Ты на это не клюнул. Как только я узнал об этом, сразу сказал, чтоб отставили. У нас в этом нет никакой необходимости».

Вспоминает Кемаль Тахир

Нас было арестовано около тридцати человек, среди них две женщины. Поскольку нас держали на «Эркине» в отдельных каютах, мы не знали, кто еще привлекается по нашему делу. Мне и в голову не приходило, что Назым тоже находится на этом судне. Как-то раз, проходя под охраной в гальюн, я увидел, что одна из кают открыта и в ней - пальто и шляпа Назыма. Я понял, что он здесь и вызван на допрос. Под каким-то предлогом я вскоре снова выпросился в коридор и, делая вид, что говорю с охранником, стал громко называть имена арестованных, чтоб Назым узнал об этом. Увиделись же мы с ним только через двадцать-тридцать дней, когда было закончено следствие...

16 [августа 1938]. Вторник

Женушка моя! Мы стали на якорь в виду Хайдарпаши (район Стамбула на азиатском берегу. - Р. Ф.). Перед моими глазами места, где мы бродили вдвоем с тобой. Сердце мое в печали, сердце мое - в радости...

29 августа 1938 года, несмотря на праздничный день, трибунал военно-морского флота продолжал свои заседания, происходившие в офицерском салоне базы подводных лодок «Эркин», и после полудня вынес приговор:

«За подстрекательство к мятежу на флоте» 18 человек, среди них две женщины, были осуждены на 5, 10, 15 лет тюрьмы. Вся их вина состояла в том, что они были противниками фашизма.

Назым Хикмет получил 20 лет. Высший кассационный суд свел оба срока - 15 и 20 лет - в один и со скрупулезной точностью - она должна была продемонстрировать беспристрастность и справедливость наказания - определил: 28 лет 4 месяца и 14 дней тюрьмы. Такова была награда, которой удостоили поэта Турции те, кто пуще всего кичился своим патриотизмом.

11 шюля 1939 года

Стамбульский арестный дом

Женушка моя! Впервые в жизни я из-за решетки видел твои слезы. И потому у меня не поворачивается язык сказать тебе: «Будь твердой». В моменты нашей жизни, когда нужна была твердость, это всегда говорила мне ты. Как странно, в этот раз и твои слезы придали мне твердость железа. Я полагаю, что наше горе достигло высшей степени. Ничто, кроме вести о смерти, не может теперь меня потрясти. Высшая степень горя, превратившись в свою противоположность, должна обернуться счастьем. Мы еще будем счастливы, женушка моя! Я чую в себе силы Залоглу Рюстема (богатырь народных легенд. - Р.Ф.), чтоб сделать тебя счастливой, даже сидя за решеткой. Я люблю тебя. И, веруя в любовь, как в самую мощную силу, влюблен в тебя, единственная моя...

Кончался двенадцатый год заключения. В 1949 году правда стала, наконец, известной всей стране. Гигантским трудом, всей силой своего вдохновения превращал Назым Хикмет все эти годы свое горе в людское счастье. Он обессмертил имя Пирайе, свое собственное, его голос зазвучал на весь мир как голос народа Турции.

Но, кроме закона единства противоположностей, есть закон отрицания отрицания. Годы вместе с любовью поглотили и его богатырские силы.

Никогда еще Назым Хикмет не был так близок к смерти.

Глава последняя. Заключенный выходит из тюрьмы

Все ближе разлука,
для всех - непременная.
Прощай же, земля моя!
Здравствуй, вселенная!
Назым Хикмет

В этот раз он не поднимался почти три месяца. И снова мать даровала ему жизнь.

Она приехала в Бурсу в октябре 1949 года. И привезла живительные вести: в Китае победила революция.

Перед его глазами встал тот далекий день в Москве, когда вместе с Эми Сяо и сотнями других китайских товарищей он шел, к Красной площади, держа в руке руку Лели Юрченко... Вот и встретились они снова с Эми Сяо! Какое ликование, наверное, сейчас на улицах Шанхая! Миллионы людей скачут, словно дети, от радости. Счастливец Эми Сяо - дожил... Если он дожил, то и я могу? Что значит могу - должен! Он должен жить назло врагам, назло Ялману и компании. Как знать, быть может, он еще увидит лицо Эми Сяо?..

Шел двенадцатый год моего заключения,
третий месяц, как я был живым мертвецом.
Я - мертвый лежал на полу без движения,
я - живой глядел на него с отвращением,
наблюдая за мертвым, неподвижным лицом,
Ничего другого я сделать не мог...
А мертвец истязал сам себя
и был одинок, как все мертвецы.
Звякнул замок: старая женщина
вошла и встала в дверях. Моя мать...
Мать и сын подняли труп,
я за ноги взял, за плечи она,
раскачали и бросили в реку Янцзы.
А с севера китайской земли
сверкающие армии текли...

Они встретятся с Эми Сяо в 1951 году на Конгрессе мира в Вене. И все будет так, как виделось ему в тюрьме. Эми Сяо даже

не постареет, словно десятилетия пронеслись, не задев его. И взгляд его, полный мудрой печали в моменты счастья, и его чуткая собранность - все останется прежним.

В 1952 году Назым приедет в Китай. Вместе с Эми Сяо будет узнавать в Пекине свою молодость. Будет присутствовать на праздновании третьей годовщины революции, стоя на трибуне площади Тяньаньмынь.

Через Тяньаньмынь в Пекине
люди, сияя, текли.
Стал плодородным бы с этой рекою
каждый клочок земли.

...Пройдет еще пятнадцать лет. И они снова окажутся вместе с Эми Сяо. В ходе борьбы за власть, издевательски названной культурной революцией, маоисты вместе с сокровищами китайской и мировой культуры, вместе с книгами Горького, Шекспира, Толстого, Роллана уничтожат и книги Эми Сяо и стихи Назыма Хикмета о китайской революции, о единстве человечества, о бессмертии Джиоконды. Словно «проклятый колокольчик, подвешенный к шее сердца», ненависть к подлинному искусству всегда выдает тех, кто нуждается для достижения своих целей в обесчеловечивании человека.

Ночь.
Блеск луны.
Томится Джиоконда
в наручниках.
Удвоен караул.
Ее ведут, построившись повзводно.
звели курки.
Сухой огонь сверкнул,
Сейчас огонь над облаком взовьется,
багряными лохмотьями струясь.
А Джиоконда все-таки смеется.
Она горит смеясь...

Второй радостной вестью, с которой поспешила к сыну Джелиле-ханым, было сообщение, что его поэма «Зоя» увидела свет, напечатана во Франции.

Об этой русской девушке, которая была схвачена немцами в

деревне Петрищево в ту самую зиму, когда, осмеянные всей тюрьмой, они вместе с Рашидом в отчаянии следили по самодельной карте, как гитлеровцы приближаются к Москве, - об этой девушке он узнал, когда бои шли уже под Берлином.

В феврале 1945 года к нему приехала мать. Как всегда, подвела его ближе к свету: «Не вижу, хочу тебя получше разглядеть». Что-то вспомнив, стала рыться в сумке и протянула вырезку из французской газеты: «Ты должен знать об этом!» И пока он читал заметку и разглядывал фотографию девушки с веревкой на тонкой белой шее, мать не спускала с него глаз: «Каково должно быть ее матери!» Той же ночью он начал писать.

Зоей звали ее,
но им назвалась она Таней.
Таня,
в бурсской тюрьме предо мной твой портрет.
Может, ты никогда не слыхала имени Бурсы -
это мягкий, зеленый край...
Я товарищей подозвал,
смотрят на твой портрет:
- Таня, у меня дочь твоих лет!..
- Таня, у меня сестра твоих лет!
- Таня, в твоих годах моя милая!
- Таня, ты умерла...
Сколько убито честных людей,
сколько еще убивают.
А я - мне стыдно об этом сказать, -
я семь лет не рискую жизнью в борьбе,
и хотя я в тюрьме, но живу...

Джелиле-ханым выучила поэму наизусть. И, вернувшись в Стамбул, продиктовала друзьям - писать она уже не могла...

«Что должна чувствовать ее мать?..» Когда Назым в стамбульской больнице Джеррахпаша с каждым днем будет снова приближаться к смерти, его мать выйдет на Галатский мост, с которого ее сын так любил глядеть на рыбацкие лодки, грузовые шлюпы, пассажирские пароходы и катера, снующие по Золотому Рогу и Босфору, слушать шум толпы, перезвон трамваев. На этом самом мосту зазвучит ее звонкий молодой голос, полный отчаяния и надежды, и, перекрывая шум, заставит остановиться прохожих, оторваться от лесок удильщиков, стеной стоящих вдоль перил. Протягивая людям листовки, требующие освобождения поэта, Джелиле-ханым будет взывать:

- Не забывайте Назыма Хикмета! Спасите моего сына!

И в эти дни прозвучит в эфире голос матери Зои Космодемьянской. Она будет говорить о любви, которая делает человека человеком, о поэте, сидящем двенадцать лет в тюрьме за то, что он любит свою страну, как любили свою страну ее дети. Со словами надежды обратится она к Джелиле-ханым: «Ваш сын, - скажет мать Зои, - будет жить».

Не столь уж часто желаемое становится действительностью. Даже если того страстно желают тысячи людей. Но слова русской женщины сбудутся.

29 июня 1951 года в пылающем летнем небе Москвы покажется маленькая точка - самолет из Бухареста. Когда он приземлится и на трап выйдет человек, за освобождение которого боролся весь мир, со всех сторон потекут к нему цветы. Их уже не удержать в руках, они будут падать к его ногам, а он, не в силах вымолвить ни слова, будет стоять, окруженный счастливыми, смеющимися лицами, и слезы навернутся на его глаза... Пусть среди этих лиц не будет ни одного знакомого: почти всех его прежних московских друзей унесла война, время и жизнь, которые текли за стенами его тюрьмы, - об этих людях он думал, был вместе с ними, когда слушал в тюрьме по радио симфонию Шостаковича.

Он еще много раз будет прилетать на Внуковский аэродром из разных стран, но этот день не изгладится в его памяти. У самолета к нему подойдет седая высокая женщина и скажет: «Большое вам спасибо за прекрасные стихи! Спасибо, что не забыли Зою, мою дочь!»

И он снова услышит голос Джелиле-ханым: «Назым, ты должен знать об этом!» И тогда он склонится над морщинистой, будто старый пергамент, рукой русской женщины. И, поцеловав, приложит эту руку ко лбу, как, по обычаю его народа, в знак почтения и любви прикладывал к своему лбу руку Джелиле-ханым, материнскую руку...

Он делал только то, что должен был делать, и ничего не ожидал взамен. Быть может, потому смущался, читая любовь на обращенных к нему лицах.

А его любили тысячи людей во всех концах Земли. Не полководца, не вождя, не наставника, не героя, не борца за мир, не министра и не поэта даже. Его, Назыма Хикмета, таким, каков он был. В нем обретала плоть древняя, как людской род, надежда на братство, предчувствие грядущего единства человечества...

Он был счастлив в тот день на Внуковском аэродроме Москвы. Но в счастье этом была и немалая доля удачи - он дожил. А сколько людей погибло, замучено, не дожило?!

К нему подносят микрофон. Он должен говорить. Но как все

это высказать? «Лишь тысячную долю своей тоски мы можем уместить в рисунке». И в слове...

Он скажет: «Я так волнуюсь. Мне трудно говорить. Счастье дышать одним воздухом с вами, счастье видеть ваши глаза... Своей жизнью, свободой, любовью ко всему прекрасному я обязан великому городу Жизни и Мира - Москве. Прекрасный, сердечный прием, который вы мне оказали, я отношу к своему народу и благодарю вас от его имени...»

И он поедет по Москве середины XX века. Медленно разворачиваясь, проплывет первое здание на Ленинских горах - университет... В день его похорон Мемед, его двенадцатилетний сын, не проронивший весь день ни слова, при виде этого здания скажет: «Я здесь буду учиться. Здесь учился отец...» Но пока до смерти еще далеко. Широкие асфальтированные проспекты, потоки машин, яркие платья женщин, шумная, летняя, радостная Москва, среди которой, как островки прошлого, как воспоминания юности, - знакомые здания. А рядом с ним поэты Николай Тихонов, Константин Симонов - он еще не запомнил их трудные для турецкого уха имена. Вскоре они станут его друзьями - Коля и Костя произносить куда легче. Он ослеплен, словно вышел на солнце из подземелья. Все вокруг покажется ему сверкающим, блистательным, светлым. Тени появятся позднее. И тогда, закатав рукава, он вместе с советскими друзьями примется за дело, чтобы их стало как можно меньше - разве что в парках, под деревьями... В первые же дни по приезде в Москву начнут приходить к нему сотни людей - студенты и поэты, пионеры и рабочие. И с этих дней до самой смерти не прекратится его беседа с советскими людьми. Им он будет говорить о своем народе, его жизни и горестях, его гордости и несчастьях, как в Турции рассказывал о людях нашэй страны, о их подвигах...

Снега в долине не было. Поглядывая на укутанную в дымку седую голову Улудага, он медленно мерял шагами двор, сперва из угла в угол, потом вдоль длинной стены, снова наискось - из угла в угол. Тюрьма гудела - был день свиданий. Но он не прислушивался - сегодня он никого не ждал. Сквозь шум голосов в медленном ритме шага пробивался какой-то смутный гул. Часть души твоей в камере может остаться... часть души... Снова поворот и снова наискосок через двор. Часть души, одинокая, как камень на дне колодца, но только часть... Поворот, проход вдоль стены... Другая часть с суетою мира должна смешаться...

У стены на корточках сидел парень и неотрывно смотрел в землю. Он вспомнил этого парня - вот уже больше месяца из его деревни не приходило известий. То ли дороги занесло в горах, то

ли еще что... Знай, петь печальные песни или, уставившись в потолок, ждать письма - опасно. Опасно, но сладко.

Гул - предвестник стихов - он знал это... Давно уже он не писал ничего. И хромающие, неточные строки, мелькающие в гуле ритма, радовали его, как зеленый лист на засохшей ветви.

- Назым Хикмет! Посетители!

Ему показалось, что голос майданщика прозвучал у него над ухом.

Кто бы это мог быть? Он никого не ждал. И, еще не веря, - а может, ослышался? - направился к коридору свиданий. Майданщик перехватил его и, указывая на кабинет начальника, с ухмылкой протянул раскрытую ладонь.

- С тебя бакшиш, отец! Ханым-эфенди - и красивая!

В кабинете Тахсина-бея сидела Мюневвер.

- Здравствуй, Назым! Да будет твоя болезнь в прошлом!

- Здравствуй!

Приехала, несмотря на его запрет... Волосы пышные, каштановые... Тонкие, словно рисованные, брови... Глаза карие... Зачем приехала?.. Сейчас она еще прекрасней, чем в юности, - зрелый, налитой плод, нет, не плод - прекрасный человек...

Тахсин-бей окинул их взглядом и вышел. Не в пример начальнику тюрьмы в Чанкыры - тот не оставлял его наедине даже с Пирайе.

- Ты хочешь знать, зачем я приехала? Слушай! Когда я узнала, что ты болен, что я могу тебя потерять и на этот раз - совсем, я поняла, что любила и люблю тебя. Да, знаю, но теперь я сама распоряжаюсь своей судьбой. Насколько я поняла от тети, ты свободен. Пирайе больше не приезжает. Буду я! Нет, не ездить, буду жить в Бурсе. Я ушла от мужа, Я буду делать, что бы ты ни говорил, все, что может сделать любящая женщина... Не надо, не говори ничего...

Он, если бы и хотел, не мог говорить. Темная вода, дремавшая в глубине его, вдруг хлынула, как кровь горлом. Он задыхался... Как был он глуп, что оттолкнул ее тогда. Правда, что идеалом женщины для мужчины всегда бывает мать. Мюневвер была так похожа на его мать в молодости. И не похожа одновременно. Все, что было с ним двадцать лет назад на берегу залива Каламыш, ожило, нет, оно всегда было живо - сейчас он это понял, сейчас он еще сильней любил Мюневвер... Он был не в силах ее прогнать...

...А если б знал, что ждет их впереди, прогнал, чего бы это ни стоило. Мужчины, в сущности, всегда трусы, когда надо взять на себя ответственность за женскую судьбу,

Мюневвер сняла с него эту ответственность, сама за него

решила - и он был счастлив... Когда он выйдет из тюрьмы, они поселятся в старом деревянном доме Джелиле-ханым. Потом подыщут квартиру - в сыром полуподвале, но все же свою квартиру - в том самом районе, где прошло их детство, на азиатском берегу Босфора. Там он будет всему учиться сначала - ходить по улицам без охраны, держать под руку любимую, станет отцом. Пусть под чужой фамилией - не привыкать - он снова будет писать сценарии, переводить, а она помогать ему. Когда их будущий сын изменит ее фигуру, он возьмет на себя хозяйственные заботы, будет носить продукты, мыть полы и даже варить обеды - он научился этому в тюрьме. За работой по дому хорошо отдыхает голова. А с какой радостью будет выбирать коляску и крохотные вещички - распашонки, одеяло, да, радостью, несмотря на долги, в которые он залезет, несмотря на шпиков, что будут ходить по пятам.

Час ночи. Мы не гасим огня.
Рядом со мной жена.
Она беременна. Это
пятый месяц, знаем я и она.
Но мне все еще не верится,
и вот
я кладу руку на ее живот,
И слушаю, как ребенок шевелится и шевелится.
Листок на ветви деревца,
рыба в струе ручья,
ребенок во чреве.
Мой ребенок!..
Час ночи, мы не гасили огня.
Я прислушиваюсь.
Может, через минуту,
а может, под утро они выберут миг,
ворвутся в мой дом и уведут меня
в храброй компании моих книг.
И в кругу полицейских, готовых ринуться,
все-таки я повернусь и увижу с дороги,
как колышется платье ее и лицо ее светится.
И как в ее животе, тяжелом от материнства,
мой ребенок шевелится и шевелится...

Они назовут его Мемедом. Светящимся шаром весом в три кило он будет лежать в голубых пеленках. А на другом конце земли шестнадцать тысяч мемедов, одетых в униформу, вместе с

американцами будут убивать корейских детей. Когда Мемеду не исполнится еще трех месяцев, его отца вызовут в казармы Селимие, признают здоровым - при его-то сердце - и потребуют, чтоб он явился с котелком и вещами для прохождения действительной службы. Не будут приняты во внимание ни то, что он окончил военно-морское училище, ни двенадцать лет его тюремной «службы». Это могло означать лишь одно:. его отправят куда-нибудь в глушь и там расправятся - предлог выдумать легко, - на сей раз без всякого суда.

Прекрасным июньским утром он простится на пороге с Мюневвер - если б не Мемед, она пошла бы за ним, - простится, чтобы встретиться через десять лет...

...Если б он мог знать об этом - о двенадцати месяцах жизни и десяти годах разлуки с нею, с его самой большой любовью, с будущей матерью его сына, он, наверное, снова оттолкнул бы ее. Но сейчас он стоял и смотрел на нее, просто смотрел и не мог наглядеться, не мог вымолвить ни слова.

Она уехала в Стамбул, чтобы вскоре вернуться. И тогда пришли слова:

Добро пожаловать, госпожа моя, добро пожаловать!
Ты устала, наверное.
Как вымыть мне твои ноженьки?
Нет у меня ни розовой воды, ни серебряного таза.
Тебя мучит жажда, наверное.
Нет у меня шербета со льдом, чтоб тебя угостить.
Ты проголодалась, наверное.
Не могу накрыть тебе стол белой скатертью.
Как отечество наше, бедна и в плену моя камера.
Добро пожаловать, госпожа моя, добро пожаловать.
Ты ступила -
и столетний бетон превратился в зеленый луг.
Улыбнулась -
и розы расцвели на решетках.
Ты заплакала -
и жемчуга покатились в ладони мои.
И богата, как сердце мое, как свобода светла моя камера.
Добро пожаловать, госпожа моя, добро пожаловать!

И, слушая, как он говорил эти слова Мюневвер, плакали заключенные, плакали надзиратели.

Он не ошибся, веруя в любовь, как в самую могучую силу на

земле. Мюневвер стала его женой. Половину времени жила в Бурсе, стирала белье, носила передачи, а остальное время в Стамбуле с Ренан, дочерью от первого брака. И ее любовь раздула в яркое пламя едва тепливший в нем, колеблющийся огонек новой нарождающейся души...

Потом в Москве он скажет: «Мы почти ничего не знаем о той подземной глухой работе, которая идет в человеке, о диалектике его духовного развития, этапах и сроках этого развития. Когда и почему в нем умирает одна душа и появляется новая? Для меня этот срок составлял десять лег, а для других? Самое страшное, когда одна душа умирает, а новая еще не родилась... Если поэзия вообще что-то может, она обязана исследовать эти закономерности». Тогда, в начале шестидесятых годов, в Москве и Праге, в Гаване и Танганьике он напишет стихи, в которых одновременно будут присутствовать и прошлое, и настоящее, и будущее, словно демонстрируя относительность времени. В человеке время никуда не уходит и не течет, а накапливается; покуда жив сам человек, в нем сразу живет прошлое, то есть его опыт, память, настоящее - его мысли и ощущения, и будущее - планы, мечты, расчеты. И тогда Назым Хикмет сможет, наконец, дать утвердительный ответ - по крайней мере для себя - на вопрос, что такое поэзия, если она не отличается от прозы ни формой, ни содержанием. Поэзия - это метод. Сопоставления несопоставимого. Для открытия новых связей и сущностей.

Растет во мне дерево - вы тоже могли бы увидеть его, -
оно происходит от солнца и к солнцу стремится,
качаются листья его, словно рыбы в огне,
щебечут плоды, как веселые птицы.
На звезду, что плывет по орбите во мне,
давно опустились ракеты и их экипаж,
говорящий на том языке, что нам снится во сне, -
нет на нем ни мольбы, ни приказа, ни похвальбы.
……
Время во мне стоит, как вода,
будто роза раскрытая благоухает,
И плевать я хотел - нынче пятница или среда,
и что меньшее - впереди, а большее - миновало.

Сама поэзия Назыма Хикмета до конца выявит тогда свою революционную сущность как выражение нового этапа душевной жизни личности, впервые начинающей ощущать себя прежде всего родовым существом - Человеком Человечества. От того,

станет ли и как скоро это ощущение осознанным для миллионов, зависит ныне само существование людского рода. И поэзия Назыма Хикмета, его жизнь, борьба и самая смерть будут звать:

«Жить, как деревья в лесу - отдельно, свободно, но все вместе по-братски - вот наша тоска!..»

С 1946 года стихи Назыма Хикмета, вынесенные разными способами из бурсской тюрьмы, стали изредка появляться в печати. Но сначала не в Турции, не на том языке, на котором они были рождены, а во Франции - после войны там оказалось много турецких студентов. А затем в переводах с французского и в других странах - Италии, Латинской Америке, Соединенных Штатах, Советском Союзе. Лишь немногие из них были опубликованы в прогрессивных турецких журналах «Йыгын» и «Гюн» с купюрами и под псевдонимами.

Стихи Назыма Хикмета вызвали тысячи откликов во всем мире. В 1949 году - в этот год рождалось всемирное движение сторонников мира - в Париже был создан Комитет в защиту Назыма Хикмета. Комитет опубликовал воззвание, требующее освобождения поэта из тюрьмы, и обратился за поддержкой к мировому общественному мнению. К этому воззванию присоединились Поль Элюар, Жолио-Кюри, Халлдор Лакснес, Жоржи Амаду, Пабло Неруда, Жан-Поль Сартр, Пабло Пикассо, Иорис Ивенс, Бертольт Брехт и многие, многие другие писатели, художники, музыканты, ученые - цвет мировой культуры XX века. Международный союз студентов, Всемирная федерация демократической молодежи, Международная ассоциация юристов-демократов, Комитеты защиты мира разных стран - от Польши до Японии, от Швеции до Чили, писательские организации направили письма протеста турецкому правительству.

В самой Турции в университетах, лицеях, колледжах, среди рабочих и интеллигенции разных городов организовались комитеты действия. В сотни адресов направлялись открытки с портретом поэта. Под портретом были помещены четыре его строки и призыв «Спасите Назыма Хикмета!».

Орган Турецкого комитета сторонников мира журнал «Барыш» («Мир») писал: «Впервые в истории нашей страны объединились тысячи людей независимо от их политических убеждений - от профессора университета до студента, от редактора газеты до репортера, деятели искусства и литературы, люди умственного и физического труда приняли одно решение, предъявили одно требование: «Назым Хикмет должен быть освобожден!..» Сегодня борьба за освобождение Назыма Хикмета

стала частью общенародной борьбы за мир и свободу». Добиться освобождения Назыма Хикмета значило освободить тысячи политических заключенных, многие из которых, как он сам, сидели по десять, а то и по восемнадцать лет в тюрьме. Добиться освобождения Назыма Хикмета означало изменить политический климат в стране...

А Назым Хикмет продолжал сидеть в бурсской тюрьме. Он писал друзьям:

«В тюрьме узнаешь цену людям. Существо, зовущееся человеком, самое интересное, самое привлекательное на земле. Что его не фраза, не пустые слова, понимаешь, когда остаешься без людей или вынужден жить в очень узком кругу...»

«...Я думаю о мире так, будто никогда не умру. То есть я допускаю, что долгие годы еще смогу выдержать здесь, и в соответствии с этим распределяю свои возможности и силы... С каждым днем я все сильней влюбляюсь в мою страну, в людей, в наш мир... Мне кажется, что жить, не будучи влюбленным в одного человека, в сотни миллионов людей, в одно дерево, во все леса, в одну мысль, в идею, во множество мыслей и идей, все равно что вообще не жить...»

- Поглядите, да ведь это Ибрагим Балабан! Какими судьбами!

Мастер и ученик обнялись и долго стояли так, обнявшись. Назым решил, что Ибрагим пришел его проведать. Он уже несколько лет был на острове Имралы в Мраморном море. Там все арестанты работают, а тем, кто работает, сокращается срок. Балабан как раз в эти дни должен был оказаться на воле.

- Нет, меня выслали...

- За что? Как так! Рассказывай!..

Заметив, что землисто-бледное лицо мастера покраснело от негодования, Ибрагим помялся.

- А тебя, отец, за что держат здесь двенадцать лет? Вот и меня за то же... Не беда, со мной мои картины...

Через несколько дней они стояли перед новой, почти законченной картиной «Преступление». Балабан работал, Назым смотрел из-за его спины. Он гордился своим учеником, его талантом, трудолюбием и ревниво прислушивался, что говорят о картине гулявшие по двору арестанты... Ибрагим становился мастером. Но для молодого художника важно сохранить критическое отношение к себе. И уметь прислушиваться к мнению других, чтобы сделать по-своему...

Он усмехнулся. Вспомнил, как недавно два новеньких арестанта решили, что Ибрагим рисует план тюрьмы для побега или для передачи его русским: ведь Ибрагима, как вашего

покорного слугу, тоже объявили теперь русским агентом.

Назым так разъярился, что вопреки обыкновению наорал на темных, неграмотных парней. Не оттого, что они приняли рисунок за план - это им растолковать было легко, - а потому, что они стали смеяться, когда услыхали, что Ибрагим рисует их жизнь, их самих. Кто, мол, они такие, чтобы их рисовать? Осман-паша, Барбаросса Хайреддин? Или важные господа?.. Попробуй тут не взбеситься! Простофили, себя за людей не считают, думают, что рисовать мордастых генералов с медалями - дело, а их жизнь - безделица... Ибрагим должен рисовать так, чтобы они узнали самих себя и перестали считать себя ничтожеством.

После того как Назым накричал на парней, тюрьма стала относиться к работе Ибрагима с уважением.

Балабан обычно во время работы высовывал язык от старания. Но сегодня челюсти его были сомкнуты, ножом не раскроешь. Видно, дело было в картине.

На арбе плашмя лежал умирающий крестьянин. Старуха зажимала рукой рану в его груди, кровь сочилась меж ее пальцев. Другая женщина, помоложе, в отчаянии обхватила колесо арбы. Домочадцы, взрослые и дети, обступили умирающего. Плачут.

- Ах, мамочка моя, погляди-ка на наши дела! - раздался голос за спиной у Назыма. Он оглянулся - убийца Зекерия с братом.

Зекерия был бледен. Не отрывая глаз от картины, он пробормотал:

- Значит, так оно бывает. Когда мы убили его, так же на арбу положили... Если б раньше показали мне это зеркало...

-Не зеркало это, а картина...

- Если бы раньше показали мне эту картину, я бы не убил... Ей-ей, клянусь аллахом, не убил...

Зекерия отошел, понурив голову,

Назым толкнул Балабана, как всегда ничего не слышавшего за работой.

- Ну, Ибрагим, больше я тебе не учитель! Ты теперь сам мастер!..

Зима подошла к концу. На носу март месяц, его тринадцатая весна в тюрьме. На воле движение за амнистию все ширилось, и голоса его перелетали через тюремные стены.

Мюневвер привезла из Стамбула газету. Она называлась «Назым Хикмет». Под заголовком стояло: «Ты научил нас любить людей, поэтому мы боремся за твое освобождение».

Он держал газету, словно она могла упасть и разбиться на куски, как стекло. Он не слыхал еще, чтоб при жизни какого-либо поэта его именем была бы названа газета. Глаза его заволокли

слезы. Он не стыдился их - слава богу, он может еще плакать. Он стыдился того, что сидит здесь как пень, а мальчики, издававшие эту газету, снова мальчики, не страшась ничего, по велению сердца готовы сложить свои головы. А он сидит здесь как пень, обросший мхом, и чего-то ждет. Чего?..

Он вышел на майдан. Солнце слепило глаза. Но арестанты не грелись, как всегда, у стены в его лучах, а стояли кучками, злые, как перец, напряженные, словно телеграфные провода на морозе. Лишь один Балабан работал: заканчивал новую картину... Что же случилось?

- Амнистия! Слыхал, амнистия!.. Перед выборами Исмет-паша решил выпустить нас на волю...

Он был многоопытным арестантом, чтобы сразу поверить в амнистию. Сколько слухов оказались ложными, как говорят в тюрьме, «парашами», сколько надежд лопнуло, будто пузырь, за эти двенадцать лет!

Как ни в чем не бывало подошел он к картине, встал за спиной Балабана. На полотне давно уже была весна, всем веснам весна. Лишь тот, кто годами не ступал по траве босиком, не вдыхал запаха распаханной земли, не видел над головой ночного неба, мог написать такую весну... В ней была тоска, но и надежда. И он ощутил потребность добавить к этой надежде свою.

Он поднялся к себе в камеру. Вышел в коридор, забормотал. Он был сейчас орудием, гончарным кругом во власти стихии, именуемой поэзия, и бесформенная глина слов принимала законченную форму в беспрестанном многочасовом вращении.

Когда Балабан кончил картину и позвал учителя посмотреть работу, Назым сел на складной стул, набил трубку и, глядя на полыхавшую на полотне весну, прочел собравшимся на майдане арестантам:

Вот глядите, глаза мои, на мастерство Балабана.
Вот мы в месяце мае на ранней заре.
Вот вам свет - мудрый, храбрый, чистый, живой, беспощадный.
Вот вам облако - словно пласты творога.
Вот вам горы - прохладные, голубые.
Вот лисицы вышли на утреннюю прогулку,
на длинных хвостах сиянье, на острых носах тревога.
Вот глядите, глаза мои, - брюхо поджато, шерсть дыбом, пасть красная, -
волк на вершине горы одинокий.
Ты когда-нибудь ощущал в себе ярость голодного волка ранним утром?

…….
Вот луга, - эй, смелей, мои ноги босые, войдите в луга!
Нюхай, нюхай, мой нос, - это мята, а это чабрец.
Мои слюни, теките! Вот мальва и конский щавель.
Мои руки, руки мои, мните, трогайте, гладьте, растирайте в горсти!
Вот они: молоко моей матери, тело жены, смех ребенка, распаханная земля.
Вот глядите, мои глаза, вот человек.
Он хозяин этих гор и лесов, этих птиц и зверей.
Вот лапти его, вот заплаты на шароварах, вот соха.
Вот быки его с вечными страшными ямами на боках...

Слухи об амнистии подтвердились. Правящая партия перед тем, как пойти на выборы, хотела приобрести хоть какой-нибудь капитал.

Мюневвер уехала в Стамбул. Надо было сделать все, чтобы надежда стала действительностью.

Назым писал письмо Вале Нуреддину. Он больше на него не сердился - годы и тюрьмы сделали его мудрей и терпимей. Валя не был врагом. Напротив, в последние годы старался чем мог помочь. А если он не выдержал, сдался, что же, каждый делает столько, сколько у него сил. Требовать, чтобы всякий был способен взойти на костер за свои убеждения, - по меньшей мере бесчеловечно. Нет, он не злился больше на Валю за то, что тот не Джордано Бруно. Но как печальна бывает порой мудрость!..

Он писал:

«Сегодня суббота, благословенное восемнадцатое число благословенного марта месяца 1950 года. В следующий понедельник, а может, во вторник или в среду все решится. Как говорят в деревне, будет ясно - с хвостом теленок или без. Мы увидим в зеркале судьбы, какого цвета у нас борода - черная или белая. Насчет цвета моей бороды я не слишком оптимистичен, но и не слишком пессимистичен. Давай, однако, считать, что я выйду. Слушайте меня хорошенько: каждый вечер в десять часов анкарское радио передает «Час меджлиса». Как только получите это письмо, слушайте, пожалуйста, каждый вечер в десять часов эту передачу. Если закон будет принят, вы узнаете о нем черев четыре часа после принятия...»

По сообщениям газет, проект был обсужден в законодательной комиссии и со дня на день должен быть передан на утверждение меджлису. Дни текли, все меньше оставалось до конца сессии, атмосфера в тюрьме, во всех тюрьмах страны

насыщалась электричеством.

Особенно тяжелы были ночи. Камеры закрывались в девять. И ждать новостей приходилось до утра. Три недели продолжалась эта пытка надеждой.

Настала последняя ночь. Никто в тюрьме не сомкнул глаз. И когда распахнулись двери камер, им сообщили черную весть: меджлис, так и не приняв закона об амнистии, закончил свои заседания...

Он снова лежал на койке, глядя в потолок. Он ждал двенадцать лет. Ждал, только ждал. Он должен теперь что-то сделать... Он больше не мог ждать. Сделать, чтобы вышли на волю тысячи людей. Но что он мог?.. Чем он располагал? Только жизнью... Он должен поставить на карту свою жизнь... Верно. Свобода или смерть! Спасибо Мюневвер, она дала ему силы - он или умрет, или обретет ее, не на бумаге, не в стихах, живую, как дыханье... Свобода или смерть!..

Он вскочил с койки, открыл дверь в коридор и крикнул лазаретному повару Якубу:

- Позови ко мне Ибрагима!

Когда Ибрагим вошел, он снова лежал на койке. «Люди, сколько их на земле... Прекрасен мир... Что с того?.. Одним будет меньше...»

- Что с тобой, отец? Ты болен?

- Нет. Я умираю, сынок.

Ибрагим опешил.

- Но что случилось? Что с тобой? Еще вчера ты ходил. Еще сегодня утром...

Назым сел.

- Послушай, Ибрагим, это слишком серьезно. Перестань плакать. Садись и слушай. Сотни людей стараются меня освободить, а я сижу здесь, как ягненок. Хватит! Свобода или смерть! Я напишу письмо... Министру юстиции... После того, как всем стало ясно, что я сижу безвинно и осужден незаконно, прошло пять месяцев. Больше я не желаю гнить заживо в этой могиле. Если меня не освободят через пять дней, я покончу с собой...

Он обернулся, вынул из-под подушки коробочку:

- Вот снотворные пилюли...

Ибрагим не знал, что сказать. В раздумье, в отчаянии, в печали, в надежде ходил по камере. Назым сел за машинку. Он был в ярости, словно сидел за пулеметом.

- Готово. И письмо. И заявление. Письмо я отправлю сам. А заявление - ты, по адресу, который я тебе скажу. Но только, когда умру. Не отправляй, пока не убедишься хорошенько. Лекарство

может не подействовать или меня станет тошнить. Если я останусь в живых, а ты это отправишь, я буду опозорен, понял?

- Как скажешь, отец.

- Заявление нужно потому, что они письмо это скроют. И к лучшему. Из письма можно понять, что я умираю только за себя. А в заявлении сказано все: я приму смерть через пять дней в знак протеста против издевательств над всеми нами, над страной, над ее людьми... И если умру, то не напрасно... Они ответят за то, что сделали двенадцать лет назад... Может, моя смерть на что-то сгодится...

Назым понизил голос:

- Давай теперь подумаем, как это заявление спрятать...

Сколько ни думали, ничего путного придумать не могли. Попробовали сложить полотно в два слоя, а между ними вклеить заявление. Потом Балабан нарисовал бы на полотне картину... Но в том месте, где была бумага, торчал бугор - непременно найдут. И тогда ему пришла мысль: есть на свете место, где никто не может найти спрятанное. Ибрагим, его ученик Ибрагим Балабан должен выучить заявление наизусть... Но подпись? Ибрагим - художник. Он повторит его подпись - комар носу не подточит. Решено!

Они уселись друг против друга. И фраза за фразой, словно клятву или молитву, повторили последние слова Назыма Хикмета, которые он хотел сказать людям.

Вспоминает Ибрагим Балабан

Эти слова навсегда засели в моей памяти... «Я поднял это оружие в защиту людей труда, в защиту подвергающейся преследованию интеллигенции, в защиту правды, справедливости и красоты. Не осуждайте меня, люди, за то, что я прибегнул к оружию безоружных. Мне не остается ничего другого, как сделать своим оружием смерть, а себя самого - патроном. Я знаю, в бою это самое простое. Но это последнее средство протеста и сопротивления...»

Я повторял их про себя несколько часов подряд. И когда убедился, что знаю наизусть слово в слово, взял написанную отцом бумагу и приложил ее ко лбу: «Спрятано. Никто, кроме меня, не найдет!..»

Назым закурил трубку. Зашагал из угла в угол. Все было правильно. Он готов. Только бы Ибрагим ничего не перепутал...

- То, что ты выучил наизусть, Ибрагим, ты уже не забудешь, правда?

- Разве забудешь суры корана?!

Назым усмехнулся. Странный народ эти крестьяне.

- Ты много молился, Ибрагим?

- Как все дети в деревне. С восьми лет стал творить намаз и блюсти пост...

Он вдруг подумал, что никогда, в сущности, не постился. Голодать голодал, но это другое - добровольно отказаться от пищи. Дед не заставлял их поститься, а потом он перестал верить. Говорят, в посте есть удовлетворение. Человек очищается, что ли... Вот, мол, я тоже знаю, что такое голод. Сытый голодного не разумеет. Я теперь хоть и живу сытно, но разумею своих младших братьев... Так сказать, социализм навыворот - опуститься до голодного, вместо того чтобы накормить его. Но ведь пост есть у всех народов. Может быть, без самоограничения нет морального здоровья. У наших крестьян пост вроде праздника голода.

Он вдруг зашагал так быстро, словно отправился в далекий путь. Но через два шага уткнулся в стену. «Ох, стены пошли на меня!» В самом деле, что, если выбрать это? Как-никак борьба? А может, просто еще одна пустая надежда остаться в живых? Нет, уж лучше сразу... Слишком медленная смерть. Каждый день понемногу съедать самого себя. Каждый день будешь съеживаться. Останется скелет, обтянутый кожей. Глядеть голубыми глазами из обтянутого кожей черепа на своих мучителей. И в конце концов все равно смерть...

Он провел рукой по лбу. Рука стала влажной от пота. Он снова задымил трубкой. Беспомощно обвел глазами камеру, словно ища, с кем бы поделиться своими мыслями. Но, кроме Ибрагима, в камере не было никого. А тот сидел на койке, свесив руки и глядя в пол, - молча оплакивал его смерть.

Смерть. Он был давно готов к ней. Думал, что готов, пока она была далеко. В молодости нет ничего дешевле собственной жизни. Теперь же, когда жизнь была так дорога - в сущности, он жил так мало, - он должен был сам выбрать себе смерть. Конечно, принять таблетки легче и проще. Уснуть и - не проснуться...

Он помотал головой, словно отгоняя эту мысль. Вот она уже и надела самые мягкие одежды, соблазняла его нежной песней о великом покое... Шалишь, старуха, если уж возьмешь меня, то с бою.

- Верно, Ибрагим, снаряд должен быть замедленного действия?

Ибрагим очнулся, поглядел на него в тревоге.

- Я говорю, голодовка хоть и трудней, но зато не то что самоубийство...

- Верно, отец, - обрадовался Ибрагим. - И в конце еще есть надежда.

Он обнял его за плечи:

- Ах ты, мой Кельоглан! Надежды, что освободят меня, слишком мало...

- Но ведь все требуют твоего освобождения. Ты им должен отсюда помочь!

- Ладно! Решено. Будем жить каждый лишний день назло врагам... А письмо перепишем: если через пять дней меня не освободят, начнем голодовку...

Он повеселел, точно свалил мешок с плеч. Дело сделано. Он решил самую трудную задачу, и, кажется, решил верно. Вот так-то!..

Он решил идти до конца и был готов умереть, Но он и не предполагал, что смерть будет его неотступным спутником целых тринадцать лет подряд. Ровно через год его призовут в солдаты, чтобы расправиться уже без суда и следствия. И он снова предпочтет пойти ей навстречу, чем ждать. Попрощается с Мюневвер на пороге и, когда ее теплая тонкая рука выскользнет из его ладони, ощутит не облегчение, как сейчас, а щемящую печаль: «Что будет с нею?». С этой печалью в сердце он спустится к пристани Хайдарпаша и, убедившись, что за ним нет «хвоста», сядет на пароход, идущий по Босфору в сторону Черного моря...

Любит ли он море? Он даже не мог бы, пожалуй, ответить на этот вопрос. Это все равно, что спросить: любишь ли ты воздух? Видеть море, жить с ним рядом для стамбульца так же естественно, как дышать. Оно здесь повсюду: в него упираются улицы, Золотым Рогом входит оно в город, отражается в стеклах домов, на людских лицах. Иногда, в Москве или в Анкаре, когда он еще мог уехать куда хотел, на него нападала странная тоска. В двадцать пять лет он впервые распознал ее.

К морю хочу возвратиться,
в зеркале вод голубых весь я хочу отразиться.
К морю хочу возвратиться.
Плывут корабли, в серебристые дали плывут и плывут.
Быть может, и я на корабль однажды взойду,
а так как написана каждому смерть на роду,
хочу я в волнах на просторе погаснуть, подобно лучу,
в море хочу я вернуться,
в море вернуться хочу!

Здесь, на Босфоре, он вырос, в Мраморном море служил курсантом. Черное море доставило его в Анатолию, потом в Москву и в 1924 году возвратило на родину. Это было просто:

сошел с советского торгового парохода вместе с командой, громко разговаривая по-русски, зашел домой к матери, переоделся. Так началось его первое подполье... На заливе Каламыш провел он свою лучшую ночь в жизни вместе с Мюневвер. И вот теперь опять море, оно одно дарует ему свободу или смерть.

Он сойдет с парохода на последней остановке Анадолукавак. Оглядится. В этот утренний час пристань пустынна.

Верный товарищ ждет его в лодке. Как только он перешагнет через банки и положит на слани свой чемоданчик, мотор затарахтит и вынесет их навстречу течению на самую середину широкого в этом месте пролива.

Маяки и погранзаставу они минуют благополучно, утлая рыбацкая моторка не привлечет внимания. Они сделают обманный ход - из Босфора свернут на восток. И лишь когда берег станет полоской на горизонте, круто возьмут на север.

До полудня всё шло как по писаному. Ударяясь днищем о волны, моторка ходко продвигалась вперед, и вскоре берега исчезли из вида. После полудня ветер зашел на северо-восток, посвежел. На волнах появились пенные взводни. И главное, они стали бить в борт. Изо всех сил пришлось вычерпывать воду. Так прошли еще три часа. Солнце начало заметно клониться к западу. А море, Черное море раскачивалось все сильней и сильней, соль разъедала руки, щипала глаза. Они вымокли с головы до ног... Если ветер не стихнет, до цели не меньше двух суток. Это бы еще ничего. А если перейдет в штормовой?

Высокий пенный гребень обвалился на корму. Что-то произошло, он не сразу понял что: то ли ветер вдруг припустил, то ли волны стали выше... Случилось худшее: заглох мотор. Неуправляемая шлюпка заплясала на волнах. Он схватился за весла: надо хоть удержать лодку носом на волну, пока товарищ разберется, что стряслось с мотором... И тут он подумал, что все это уже видел давно, и, как многое, что с ним случится впоследствии, рассказал в своих стихах... Исмаил из Архави, лазский матрос, погибший в Черном море на утлой лодчонке, доставляя оружие к повстанцам Мустафы Кемаля. Герой «Дестана о войне за независимость». Вот так же понял он, что все кончено, когда обломались весла. Но испугался не смерти, а мысли о том, что может вне борьбы оказаться. Этот страх охватил Назыма, когда они поняли, что мотор не заглох - отказал... Какая глупая смерть - на пороге свободы, гоз-за какой-то свечи в моторе!.. Впрочем, смерть, она почти всегда глупая, даже когда к ней заранее готовятся... Неужели конец?

Они будут бороться до последнего, заливаемые водой и

быстро сносимые назад, к турецкому берегу.

И когда под вечер им покажется, что никакой надежды не осталось, она появится - корабль, идущий из Босфора. Товарищ выстрелит из ракетницы. Назым сорвет с головы кепку и, пытаясь удержаться на ногах в пляшущей лодке, крикнет по-французски: «Остановитесь! Я - турецкий поэт Назым Хикмет!» Корабль, быстро приближаясь, подойдет вплотную. Матрос на палубе, глянув на них, пожмет плечами: ничего не понял... Чей же это пароход?

- Капитана! Капитана позовите! - Он крикнет теперь по-русски. - Я - турецкий поэт Назым Хикмет!

А судно... судно пройдет мимо. Вот уже видна корма. На ней румынский флаг.

Отойдя на кабельтов, корма начнет медленно разворачиваться. Сделав циркуляцию, судно прикроет их от ветра своим корпусом. С высокого борта развернется веревочный штормтрап. И по этой лестнице, держа в зубах чемоданчик с парой белья, газетами и рукописями, он, а вслед за ним товарищ подымутся на палубу, чтобы следующим утром увидеть иной мир...

Но это будет через год после того, как он решил сделать смерть своим оружием. А пока в апреле 1950 года он готовился к первой схватке с нею в бурсской тюрьме.

5 апреля 1950. Бурса

...Голодовку, которую я объявляю 8 апреля, я начинаю с надеждой. Не с печалью, не с отчаянием. Если я умру, то до последнего дыхания буду жить надеждой. И вы тоже, несмотря ни на что, не теряйте надежды. Особенно ты, мой Валюшенъка, не волнуйся, не убивайся... Я полон светлой радости, которую приносит борьба за справедливость. Правда, если даже я умру, все равно восторжествует. Эта мысль, эта вера, эта уверенность делают меня счастливым. Помни, я не кончаю самоубийством. Я никого не шантажирую. У меня просто нет другого средства, как поставить на карту свою жизнь. Вот так-то, братцы! С тоской обнимаю вас и еще раз повторяю, несмотря ни на что, я уверен, мы встретимся, ибо я полагаюсь на совесть моей страны... Когда вам позвонит мать и сестричка Самие, утешьте их. Мюневвер одна-одинешенька, поддержите ее. Дайте ей силу. Особенно в эти дни...

В эти дни... Нет, в эти годы. Если б он знал, что принесут они Мюневвер, то, думая о ней, наверное, предпочел бы умереть так же, как, думая о Пирайе, хотел умереть в анкарской тюрьме.

Когда всему миру станет известно, что он в Москве,

Мюневвер отправится в Анкару требовать заграничного паспорта. На выборах победят «демократы». Ее примет заместитель нового премьер-министра Самет Агаоглу. Не предложив ей сесть, встанет из-за стола и заорет:

- Мы раздавим головы таким, как вы! Паспорта вы не получите. Назым будет лишен гражданства. Вы будете нищенствовать. Но никуда не уедете!

- Стыдитесь, - скажет Мюневвер, - разве турецкий мужчина может так разговаривать с женщиной? Султаны сажали моих дедов в крепость, но не воевали с женами. Запомните, Назыма Хикмета никто не может лишить родины. Он будет жить, когда от вашего имени и слуха не останется. Политика - дело такое, как знать, может, завтра придется сидеть в тюрьме вам, а коммунистическая партия у нас будет легальной, как во Франции или в Италии!

Мюневвер, женщина их семьи, их породы, смелая, гордая Мюневвер!..

Десять лет подряд днем и ночью полицейский «джип» с двумя чинами будет ездить за ней, куда бы она ни пошла: за молоком для сына, в парк, в гости. По ночам полицейские будут трястись от холода у ее дверей. У нее не будет работы - разве найдется такой храбрец, который бы взял на работу женщину, чей муж объявлен вне закона? Но у нее появится множество незнакомых ей друзей. Мемед вырастет, пойдет в школу, будет переходить из класса в класс. А полицейские, все те же три смены полицейских, будут преследовать его мать. Ребенок привыкнет к ним, станет звать их «наши дяденьки полицейские», играть с ними. Но в восемь лет он узнает, почему растет без отца, прибежит из школы и крикнет им: «Верните моего отца! Верните отца!» И больше не скажет им ни слова. Мемед вырастет гордым, смелым мальчиком... Все дети будут расти на глазах у отцов изо дня в день. Его Мемед из года в год - на фотографиях без звука, без слова. И рядом с притаившейся в его груди смертью будет он носить с собой по миру тоску по сыну, по его матери, по его родине. И снова десять лет только исписанная бумага станет единственным вещественным выражением их любви. «Мой милый, это сто пятнадцатое письмо к тебе...», «Назым, любимый мой, это девятьсот шестьдесят четвертое письмо мое...», «Любимый, пишу тебе тысяча пятьсот тридцать первое письмо...», «Назымушка, мой милый, это две тысячи триста двадцать пятое письмо... Забудь мои заботы, мои печали - меня не забывай...» Десять лет. Как другие узнают все породы деревьев, все виды рыб, все классы звезд, так он узнает все виды разлук. И эта последняя разлука с матерью его единственного сына будет страшнее

смерти...

Известие, что он решил начать голодовку, вызвало такой гнев, что власти оцепили бурсскую тюрьму двойным кордоном полиции. Он не зря полагался на совесть своей страны - тюремщики боялись, что его освободят силой. Тысячи телеграмм полетели в Анкару. Власти попробовали оказать давление на родных поэта, чтоб те уговорили его переменить свое решение. Но не возымели успеха.

И тогда сквозь полицейские кордоны пошли к нему в камеру газетчики.

...Как бы это сказать, ну, скажем так - странный народ наши газетчики. Я, мол, в отчаянии, в глубокой душевной депрессии... Моя жена рыдает у ворот тюрьмы в три ручья и прочее и прочее. Вот, мол, поэтому я и принял свое решение... Послушайте, сделайте милость, я ведь вас утешил, успокойтесь. Разве я не говорил: «Я не отчаялся!» Но никому до моих слов нет дела. Если я поступаю так, как должен поступить, то не с отчаяния и не с горя, не от уныния и душевной депрессии, а потому, что у меня нет другого способа восстановить справедливость, помочь властям приступить к делу, кроме как рискнуть своей жизнью. Чтобы хоть чуточку помочь этому делу, я готов принять смерть. Слава богу, я в своем уме и знаю, что делаю. Но, как я говорил, не смог растолковать этого даже адвокату. Почему-то никто не допускает, что гражданин Турции может, если нужно, рискнуть жизнью и умереть ради истины, ради правды, ради восстановления справедливости. А ведь сколько, сколько людей, умевших принять смерть за правду, за справедливость, дал и даст еще миру наш турецкий народ...

Срок ультиматума, который он поставил властям, истекал. Он вышел в коридор, разыскал повара Якуба. Обнял его за плечи:

- Говорят, ты здесь повар?

- Повар, ваша милость, - в тон ему ответил Якуб.

- Отлично. Настало твое время показать свое искусство. Завтра я начинаю голодовку. Приготовь мне все лучшее, что ты умеешь. Какие продукты прикажешь заказать в тюремной лавке? Что у тебя там в меню?

Якуб склонился в поклоне, словно официант в ресторане, и проговорил без единой запятой:

- Из первых - суп вермишелевый суп макаронный суп рисовый из тушений - фасоль в стручках бобы в стручках бамья баклажаны с мясом баранина с луком и овощами сладкий горошек из жарких - кабачки жареные баклажаны жареные ягненок курица из котлет -

люля с томатом и рисом из жаркого на решетке - отбивная печень шашлык бараньи яйца из салатов - горчичный русский помидорный яичный из сладких - кадынгёбеги шамбаба молочный кисель сютлеч гюллеч...

Назым остановил его:

- Кто все это может съесть?

- Ты, отец. Раз начинаешь голодовку, отведай всего сколько влезет и выдержишь не двадцать - сто один день...

Он расцеловал Якуба в обе щеки. Названия блюд напомнили ему детство. Все это он любил и хотел бы отведать. Только как есть блюда, о которых большинство арестантов и не слыхало, у них на глазах? Но ведь он будет есть последний раз в жизни...

В три часа утра 8 апреля они уселись с Ибрагимом друг против друга и приступили к трапезе. Отчего они выбрали такое время? Оттого ли, что днем было бы больше зрителей, или потому, что его подсказали им смутные воспоминания о рамазане, когда есть можно только ночью?.. Якуб превзошел самого себя. Ибрагим, чтобы разжечь аппетит учителя, старался вовсю - ел и нахваливал. Но кусок не лез Назыму в горло. Казалось, он стыдится, что позволил себе закатить этот пир. И когда взошло солнце, с облегчением отодвинул тарелку.

Голодовка началась.

Первый день прошел легко. Чтоб обмануть желудок, он пил воду и курил. Три раза в день.

На второй день вместе с голодом явился прокурор. Верно, телеграммы, отправленные накануне, властям и в газеты, вызвали отклик, раз он так настоятельно требовал прекратить голодовку.

Третий день был похуже. Голод вгрызался в кости. Явился адвокат. Странно, но он тоже убеждал его отказаться от своего решения.

На четвертый день приехала Мюневвер. Он лежал, вытянувшись на койке, похудевший и глядел на нее с такой нежностью, что она не сразу могла заговорить.

Мюневвер привезла массу новостей. И все добрые. В Анкаре три поэта - его двоюродный брат Октай Рифат, Орхан Вели, Мелих Джевдет - объявили трехдневную голодовку солидарности. Молодежь вышла на демонстрации. В США Поль Робсон обратился с воззванием к народу...

...В 1949 году, когда Назым узнал о попытке расистов линчевать народного певца Америки в Пикскилле, он написал:

Они нам не дают петь наши песни,
мой черный брат с жемчужными зубами,
орлинокрылый соловей.

Они нам не дают петь наши песни, боятся, Робсон.
Они боятся утренней зари,
боятся видеть, осязать и прикасаться...
Любить боятся, как любил Ферхад.
(У вас, наверное, тоже есть Ферхад. Как звать его?)
Они боятся семени, земли, воды текущей и воспоминаний.
Ведь на ладонь их никогда не опускалась,
как птица теплая, рука друзей, не жаждущих ни векселя, ни чека...
Они надежд боятся, да, надежд боятся, Робсон,
боятся, мой орлинокрылый соловей,
они боятся наших песен.

Теперь рука Робсона легла на его плечо: «Мы в Америке должны сделать все возможное, чтобы заставить турецкое правительство освободить Назыма Хикмета. Все прогрессивные силы американского народа должны объединиться для освобождения великого поэта. Наши писатели, художники, все, кто истинно любит культуру американского народа, должны поднять свой голос протеста. Назым услышит нас так же, как услышат нас и те, кто хочет заглушить этот голос. Мы можем спасти великого народного поэта для рабочего люда Турции, Америки, для всего мира, если будем действовать немедленно...»

По призыву деятелей культуры США вокруг турецкого консульства в Нью-Йорке, сменяя друг друга, круглые сутки ходили молодые люди с плакатами: «Спасите Назыма Хикмета!..»

Они не увидятся с Робсоном. Робсону не дадут заграничного паспорта, потом Назыма свалит инфаркт, затем заболеет Робсон. Но их имена снова прозвучат рядом в тот день, когда Всемирный Совет Мира назовет первых лауреатов Международной премии мира.

Скитаясь по свету из страны в страну, Назым Хикмет, как почтальон, будет «в сумке сердца приносить людям вести о земле, о родине, о дереве, о птице, о волке», о единстве человечества. Но, чтобы эта единая сущность стала понятной каждому, нужно каждый раз находить ту форму, в которую облекается эта сущность у каждого народа в каждую эпоху.

Назым Хикмет останется самим собой, но с каждым народом будет разговаривать на его поэтическом языке. Пожалуй, первым из поэтов Земли он будет так свободно обращаться к традициям всех знакомых ему литератур Азии и Европы, Африки и Америки,

чтобы разговаривать со всем миром.

В 1955 году Назым Хикмет напишет четыре стихотворения о жертвах, которые понес японский народ от атомного оружия. Эти стихи будут напечатаны в крупнейших газетах Японии. Чем-то неуловимо напоминающие японские народные песни - ута - с их прозрачной и мудрой печалью, они действительно станут песнями. И на Всемирном конгрессе мира в Хельсинки делегаты всех материков земли стоя будут слушать голос негритянского певца Америки Поля Робсона, поющего японские песни турецкого поэта:

Прошли над нами облака,
Забудь, родная, рыбака.
Гнилей гнилого яйца
Родится сын наш без отца.

Наш черный гроб, набитый горем,
Плывет по мертвым волнам моря.
Кругом мертво и нет надежды.
Эй, люди! Люди мои, где ж вы?..

...Мюневвер рассказала, что Жан-Поль Сартр, Луи Арагон и Пабло Пикассо от имени французской интеллигенции вручили требование освободить Назыма Хикмета турецкому послу в Париже.

Он знал их имена по книгам и рисункам, восхищался ими. Но он никогда не был в Париже...

...Он побывает в Париже. И не раз. Вместе с Арагоном будет читать стихи рабочим, дискутировать с Сартром, увидит последние работы Пикассо у него в мастерской. Он увидит этих людей в одной колонне с рабочим Парижем на демонстрации против антидемократических законов: «Слава богу, видал, слава богу, видал этот день в Париже, видал, слава богу. Тек Париж настоящий, великий Париж!..» Его стихи в переводе Мюневвер станут предвыборными листовками Французской компартии. И в них неуловимо, но ясно слышимо для французского уха прозвучит эхо гражданского пафоса Гюго, политической лирики Элюара.

Если вам не плевать на Францию,
если вы не хотите завтра,
таща на спине труп свободы,
За танком бежать, чтоб уже не вернуться домой,
не позволяйте им, не позволяйте трогать компартию!

...Мюневвер назвала много имен, о которых он прежде и не слыхал. Вот Пабло Неруда и Николас Гильен, поэты Латинской Америки, присоединились к французской интеллигенции. А он, к стыду своему, не читал ни одной их строки...

Когда Неруде вместе с Робсоном, Фучиком и Назымом присудят Международную премию мира, он возьмет слово, чтобы сказать не о себе - о Назыме: «Его поэзия могуча, как полноводная река, ее стальной поток мчится навстречу боям. Годы тюремного заключения привели лишь к тому, что поэтическое слово Назыма Хикмета достигло гигантских размеров. Его голос стал голосом вселенной. Я горжусь тем, что мои стихи стоят рядом с его стихами в этот решительный час борьбы за мир».

Они познакомятся в 1951 году на Берлинском фестивале молодежи. И Назым услышит стихи Пабло на его родном языке, из его собственных уст. На раскаленном от солнца асфальте в одном из берлинских дворов соберутся все делегаты Латинской Америки и Испании, студенты, рабочие, крестьяне. Глядя, как они слушают своего поэта - позабыв обо всем на свете, то сжимал кулаки, то улыбаясь, то удивляясь, а в иные моменты смахивая слезы со своих черных глаз, жгуче глядящих из-под огромных сомбреро, - он будет гордиться Нерудой не меньше, чем Пабло гордился им. Оба они писали сложно, но их понимали самые простые, неискушенные в поэзии люди. И не только на родине. Они будут выступать на заводах и в школах в Москве и в Праге. Пабло, хоть они будут жить по разные стороны океана, станет его близким другом. Они оба не отделяют горя и счастья своего народа от горя и счастья других народов. Оба с одинаковой силой говорят и о великих надеждах эпохи и о любовных страданиях человеческого сердца. Оба они воспринимают мир в его вещественной конкретности, с его запахами, объемами. Оба видят не розу вообще, а непременно белую или красную, именно ту самую розу, не море вообще, а Черное море или Атлантику...

Вместе с Николасом Гильеном, поэтом Кубы, Назым будет жить в азиатских отелях, в европейских отелях. Долгие годы они, изгнанники, большими глотками будут вместе пить тоску по родным городам. И повсюду рассказывать о своих народах. Но Гильен окажется счастливее его - он увидит свободную Гавану. И Назым приедет в Гавану Революции не как гость - как ветеран борьбы за свободу. Опьяненные счастьем, они будут вместе с Гильеном бродить по набережной Малекон и авенидам Ведадо, по столице самой молодой социалистической страны, путая женщин с фруктами, детский сад со свободой, ча-ча-ча с пачангой,

матерей с президентским дворцом. С каждым днем все мягче будут линии его ладоней, и, проходя по улицам Гаваны, все радостней он будет петь вместе с «милисиано»: «Сомос сосиатистос! Паланте! Палате!» - «Мы социалисты! Вперед. Вперед!»

Гильен дошел до своего города. Он не дойдет...

Родина, родина,
не осталось на мне даже шапки работы твоей,
ни ботинок, таскавших дороги твои;
твой последний пиджак из бурсской материи
износился давно на спине...

Ты теперь у меня только в этих морщинах на лбу,
в свежем шраме на сердце
да в моей седине.
Родина, родина...

В пятьдесят втором году в Китае он напишет стихотворное письмо солдату турецкой бригады в Корее Велиоглу Ахмеду, которого послали умирать и убивать за три океана. Кого? «Кого ты идешь убивать, Ахмед? Свою мечту, что стала явью на этой земле, ты идешь убивать. Мы, турки, - храбрецы. Если осталась в тебе хоть капелька храбрости, сдавайся в плен своим братьям, Ахмед!» Эти строки были напечатаны на листовках. Сброшенные на головы турецких мемедов, они оказались страшнее бомб. Турецкие солдаты - ими американцы прикрывали отступление - готовы, были стоять до конца: «Турки в плен не сдаются». Но, прочитав это письмо, многие из них сложили оружие.

Правительство Мендереса, пославшее шестнадцать тысяч солдат умирать за интересы США, объявило Назыма Хикмета изменником родины.

«Назым Хикмет остается изменником родины», -
Черным по белому написала газета в Анкаре. -
Он сказал: «Мы полуколония империализма американского».
Да, я изменник родины, если вы - патриоты,
Если родина - ваши поместья,
Если родина - ваши кассы и вклады,
Если родина - смерть от голода на обочинах,
Если родина - малярийный озноб,
Если родина - ваше право сосать из нас кровь на фабриках,

Если родина - лапы помещиков, дубинки полиции,
Если родина - американские бомбы и базы,
Да, я - изменник родины.
Напишите на трех столбцах трехаршинными буквами:
«Назым Хикмет остается изменником родины».

И эти слова услышит его народ. Для разговора с ним народная Венгрия предоставит Назыму Хикмету радио Будапешта.

Когда весть о том, что Назым Хикмет лишен турецкого гражданства, станет известна в Польше, родина его прадеда, повстанца Борженьского, предложит ему свое гражданство. Из рук президента Берута он получит свой единственный в жизни орден - высшую награду Польши. И он примет их, как знак интернациональной солидарности в борьбе за свободу...

Из Варшавы он напишет Мюневвер:

...Любимая, мать моего Мемеда!
Один из дедов, наших дедов,
польский эмигрант 48 года.
Может, поэтому вы так похожи, обе тонкобровы и красивы,
ты и эта женщина из Варшавы?
Может, потому у меня рыжие усы
и глаза у нашего сына такой северной голубизны?
Не потому ли эта равнина
так похожа на равнины нашей страны?..
Из Польши пришел он, дед нашего деда.
В глазах - мрак пораженья, волосы в крови.
Должно быть, бессонные ночи Ворженьского
похожи на бессонные ночи мои.
Может, так же, как я, каждым дыханьем
запах родины он вдыхал,
хоть знал, что там ждет тюрьма.
И мысль, что ее не увидит больше,
так же сводила его с ума...
Милая, где, когда сражалась свобода
и поляк не был в первых рядах?..

Он вспомнит всех, польских героев борьбы за свободу - волонтеров, павших в войне за освобождение американских негров, генерала Бема, сражавшегося в венгерской

революционной армии против царских войск, Ярослава Домбровского - генерала Парижской коммуны, Феликса Дзержинского, генерала Сверчевского-Вальтера, который дрался под Мадридом и под Москвой, героев борьбы за народную Польшу. «Теперь скажи мне, любимая, могу ли не гордиться, что наш предок по крови был поляк?»

И когда Мюневвер, обманув бдительность полиции, вырвется из Турции, Варшава станет второй родиной для нее и их сына Мемеда, как Москва стала второй родиной для него самого...

На пятый день голодовки приехала Джелиле-ханым, Долго смотрела утратившими свет глазами на его пожелтевшее, истончившееся лицо. Она не стала говорить ни о голодовке, ни о том, что делается за стенами тюрьмы. Не спуская глаз с его лица, не отнимая руку, которую он положил к себе на лоб, она рассказала, как прибирает свой дом, готовясь к его приезду: они с Мюневвер, конечно, будут жить у нее, хотя бы первое время?!.

Как он гордился своими женщинами! Матери делают человека человеком, жены делают мужчину мужчиной. Он их творенье. Всем, что он ямеет, он обязан им...

Ему уже было трудно говорить.

Чтоб не утомлять его, Джелиле-ханым собралась уходить. Он протянул ей листок со стихами:

На пятый день голодовки

Братья мои,
я с трудом подбираю слова,
чтобы высказать все, что хочу,
вы простите меня:
я слегка опьянен, и кружится моя голова -
не от водки, от голодовки.
Братья в Европе, в Америке, в Азии,
я сегодня далек от тюрьмы и от голода -
майской ночью лежу на лугу,
над моей головой ваших глаз ослепительно яркие звезды
и в ладони моей ваши руки, словно одна:
как рука моей матери,
как моей милой,
как жизни самой рука.
Братья мои,
знаю, вы никогда не бросали меня одного,
ни меня, ни мою страну, ни мой народ.
И за то, что вы любите нас так же, как я вас люблю,
спасибо, братья мои, я вас благодарю.

Братья мои,
не хочу умирать, но, если прядется,
все равно буду жить среди вас,
в стихах Арагона -
в той самой строке, что расскажет о будущих радостных днях, -
в белом голубе Пабло Пикассо,
в песнях Робсона и -
это важнее всего и прекрасней -
в победоносной улыбке марсельского докера.
Братья мои,
по правде сказать - я счастлив, как никогда.

Когда, проводив Джелиле-ханым, Ибрагим вернулся на майдан, его окружили арестанты.

- Отец пятый день голодает? Где это видано, чтоб так постились?

- Он начал голодную забастовку.

- Как говоришь, забастовку? А зачем?

- Чтоб добиться справедливости для всех нас.

- Разве голодовкой чего добьешься? Я вон сколько себя помню, голодаю, а что проку?

- Его голодовка не твоя. Голодная забастовка - это борьба. Если он добьется чего хочет, мы все получим свободу.

- Свободу? То есть выйдем из этой кутузки?

- Если добьется, выйдем.

- Ай да отец! Дай аллах ему долгих лет... Все пойдем по домам...

- А если не добьется, умрет?

- Если не добьется, умрет.

- Я остаюсь. К черту! Пусть бросает свой пост. Пусть живет...

- Тебе легко говорить - один год остался. Посидел бы в моей шкуре еще десять...

- Я за убийство пятнадцать лет получил. Теперь, чтобы выйти, отца убить? Не пойдет. Скажи, чтоб бросил свой пост. Он не должен умереть.

- Пусть живет... Мы все пойдем! Пусть не умирает!..

Вечером пятого дня, опасаясь бунта в бурсской тюрьме, власти увезли Назыма Хикмета в Стамбул, положили в тюремную больницу Джеррахпаша...

Я гляжу на пожелтевшую газетную фотографию, снятую 14

апреля 1950 года. Назым в распахнутом пальто, с непокрытой головой - в Стамбуле уже тепло - идет по больничному двору. На его исхудалом лице едва заметная улыбка. Он смотрит куда-то вверх - то ли ему машут рукой из окна, то ли глядит на весеннее блеклое небо. Чему он улыбается - знакомому лицу, своим мыслям или воздуху родного города?

На шаг позади по бокам следуют два охранника. На их лицах, стертых, как старые медяки, сознание значительности момента и собственной важности.

Это не простые охранники. Тот, что ближе всех к аппарату, глядит в него, - комиссар, известный в уголовном мире Стамбула под кличкой Беспалый. На одном из процессов над патриотами, выступая свидетелем обвинения, он показал под присягой, что является руководителем политической тайной полиции и служит в охранке с 1915 года. Начинал как филер султанской полиции - выслеживал вольнодумцев. В годы оккупации, когда Стамбул был поделен интервентами на комендатуры, поступил на службу в американский полицейский участок Галата-Каракёй, ловил и допрашивал кемалистов, помогавших национально-освободительному движению. Охранка помещалась тогда в том же здании Санаеарьявдана, что и в пятидесятых годах. Разница теперь состояла в том что пытали не в подвалах, как при интервентах, а на верхних этажах, и не кемалистов, а коммунистов.

Видный турецкий коммунист С. Устюнгель вспоминает: «Однажды начальник отдела по борьбе с коммунизмом по прозвищу – это Англичанин прозвище он получил при оккупантах за службу в английской контрразведке – устроил мне очную ставку с текстильщицей Зийнет.

- Знаешь его?

- Не знаю.

Англичанин пришел в бешенство. Обернулся к стоявшему рядом Беспалому:

- У потаскухи грудной ребенок. А ну покажи себя !

Охранники набросились на женщину, сорвали с нее одежду… Беспалый длинными булавками прокалывал ей грудь. Но губы работницы выговаривали только два слова: «Не знаю!»

Вот кому была доверена в тот апрельский день важная государственная миссия доставить в больницу Джеррахпаша национального поэта Турции.

Говорят , можно судить о человеке не только по его друзьям, но и о его врагам. Ни один Беспалый считал себя врагом Назыма Хикмета. Но они, как свойственно людям ничтожным, преувеличивают своё значение.

Выйдя на свободу, Назым Хикмет по обыкновению устремился в будущее. Он очень редко вспоминал тюрьму. Мне кажется, думая о надзирателях, которые плакали, слушая его стихи, он скорее испытывал жалость, чем презрение, а о таких, как Беспалый – брезгливость, но не гнев. Они были для него не людьми – орудиями. А стоит ли презирать топор или железные решетки? Казалось, все эти годы Назым сражался не с людьми, а с черными стихийными силами, и не из тюрьмы вышел, а возвратился после долгого и мучительного пути. Может ли путник гневаться на острые камни, на иглы растений или на диких животных, причинивших ему страдания?..

Назым Хикмет продолжал голодовку. Каждый день его осматривали врачи. С каждым днем таяли его силы. И с каждым днем все громче становились голоса протеста.

В Анкаре, в Кайсери, в Измире, в Адане на стенах домов, на фабриках и школах появлялись надписи: «Спасем Назыма Хикмета!», «Свобода Назыму Хикмету!» Это требование предъявляли депутатам всех партий во время их предвыборных выступлений.

Полиция принимала свои меры. «Против лиц, распространявших листовки, озаглавленные «Спасите Назыма Хикмета!», возбуждено судебное преследование, - писал официоз «Улус», - под стражу взяты двенадцать человек, в том числе семь девушек». Но что могла поделать полиция, если протестовал весь мир? Французские докеры на массовых митингах принимали петиции к своему правительству, призывая его настаивать перед турецкими властями на немедленном освобождении поэта. Американские писатели Майкл Голд, Бен Филд, Говард Фаст, Уильям Петерсон и другие направили тогдашнему государственному секретарю США Ачесону телеграмму с требованием использовать влияние США для освобождения турецкого поэта. Из страшного концлагеря на острове Макронисос долетел до Стамбула голос заключенного греческого поэта Лудемиса, который от имени своих товарищей, от имени всех патриотов Греции призывал освободить Назыма Хикмета.

Писатели Болгарии заявили: «Мы глубоко потрясены жестокостью турецких властей по отношению к народному поэту, который является гордостью турецкого народа и мировой прогрессивной общественности».

Телеграммами протеста были завалены канцелярии премьер-министра, министра внутренних дел, турецких посольств и консульств за границей. Собранные вместе, они составили бы

несколько томов великой книги человеческой солидарности, о которой так тосковал и за которую боролся Назым Хикмет.

...Писатели Болгарии... Он приедет в их страну через год, в 1951-м, прямо с Берлинского фестиваля. Поэт, не написавший ни одной строки, кроме как по-турецки, и лишенный на родине возможности говорить со своим народом, он впервые получит здесь эту возможность.

В Болгарии живет свыше полумиллиона турок. Спекулируя на их национальных чувствах, правительство Мендереса пойдет на новое национальное предательство. В отсталой, слаборазвитой Турции сотни тысяч рабочих рук не могут найти себе применения, вскоре начнется массовая эмиграция турецких безработных в Западную Германию. Анкара же будет призывать болгарских турок эмигрировать в Турцию.

Поверив пропаганде, тысячи турецких крестьян в Болгарии продали имущество, дома, скот, получили паспорта. Но турецкая граница закрылась. Лишь после многомесячных мытарств часть их была принята в Турции и размещена в лагерях под открытым небом...

Глядя на празднично одетых крестьян, съехавшихся в болгарский город Русе, чтобы услышать его голос, он представит себе те дни, когда готовился к смерти в больнице Джеррахпаша, а эти самые люди вышли на эту же площадь, чтобы требовать его освобождения, и всем своим существом почувствует, что должен помочь сейчас им, помочь отличить ложь от правды, как они помогли ему устоять в те дни. Он так и скажет им. Но он не привык разговаривать с людьми с трибун и балконов. Войдя в толпу, он поведет людей в соседний парк, рассадит на траве вокруг себя, как обычно сидят на сходках люди его народа: старики впереди, молодежь поодаль. И начнет разговор с тысячами людей, словно говорит с каждым из них.

Крестьяне повсюду обычно тугодумы и упрямцы. Но турецкий крестьянин упрямец вдвойне. Найдутся упрямцы и здесь. Он вызовет их в круг, поставит рядом с собой и будет говорить с каждым из них, словно говорит со всеми сразу.

И упрямцы сдадутся. Станут здесь же рвать паспорта. А иные вызовутся сопровождать его в поездке по деревням, чтобы помочь убедить земляков.

Здесь, в Русе, он встретится с одним из своих героев, с Бетховеном Хасаном из «Симфонии Москвы». Вместе с ним он слушал симфонию Шостаковича в бурсской тюрьме. Своим прозвищем - Бетховен - Хасан обязан увлечению симфонической музыкой. Он не знал нот, не играл ни на одном инструменте. Шестнадцатилетним учеником наборщика из Стамбула,

наглядевшись гангстерских фильмов, ограбил магазин, чтобы попасть на олимпиаду. И попал в тюрьму.

- Сердце мое - симфоний склад,
горло - оркестр! - говорил он.
В камере вместо концертного зала давал концерты он.
- Учитель, - сказал он, - я тоже хочу симфонию сочинить.
Новую, под названием «Их не победить!».
Послушай-ка, вот начало!..
Стал напевать Бетховен Хасан
и вдруг остановился.
В черных глазах блеснула печаль обиженного ребенка и ненависти огонь...
- Иль не стало вдохновенья?
- Нет, полон я по горло, но...
(Бетховен плакал.)
- Учитель, у меня нет права писать об этом... Я - вор!..
- Неверно. Воры - паразиты. А ты наборщик молодой и честный композитор.

Назым не ошибся в нем. Выйдя из тюрьмы, Бетховен Хасан не нашел работы. Но не стал вором. Тайком перешел болгарскую границу, поступил в Русе на завод, работает, учится музыке...

В Болгарии встретится Назым Хикмет еще с одним своим героем: Бедреддином. Он проедет по тем же дорогам Делиормана, по которым пятьсот лет назад скакали кони вождя повстанцев. И на этих дорогах почувствует, что обязан помочь воплотиться мечте Бедреддина: «Всем сообща поля пахать, всем сообща срывать плоды с ветвей и есть инжир медовый в общем доме...» Он остановит машину, выйдет на дорогу к делиорманским крестьянам. И вместе с ними под вечер войдет в прокопченную кофейню деревни Беловец. По обычаю народа поцелует руки старикам, напомнит им о Бедреддине. Пойдет с ними из дома в дом. И к середине ночи в деревне будет организован кооператив. Это повторится во многих деревнях. В Добрудже в деревне Гуслар кооператив назовут его именем. В Родопах горную деревню Чифтлик крестьяне переименуют в деревню «Назым Хикмет». И на первые гонорары за свои книги, которые начнут выходить во всем мире, он купит для них советский грузовик.

Его поездка превратится в народный праздник. Его будут встречать песнями - он запоет вместе с ними, в его честь станут соревноваться борцы - пехлеваны, девушки поставят его в центр хоровода - он будет плясать вместе с ними. Крестьянские матери

будут протягивать ему своих детей, названных его именем, как протягивали Ферхаду своих детей матери легендарного Арзена.

В эти дни турецкие газеты сообщат: «Назым Хикмет, красный поэт, убит разгневанными турецкими крестьянами в Болгарии». Поторопившись, они выдадут желаемое за истинное.

На одной из встреч кто-то действительно перережет провод микрофона. И Назым опять шагнет в толпу и поведет ее на луг. И народ сам будет охранять своего поэта... Нет, недаром боялись его влияния на массы те, кто готовился эти массы предать.

И в Софии, сидя в парке под старым каштаном, он сам с удивлением подумает о той силе, которую обрело за эти годы его слово и которую он впервые реально ощутил именно здесь, в Болгарии.

Под этим старым каштаном его в письме попросит посидеть Мюневвер: она родилась в Софии. Сохранилась фотография: годовалый ребенок сидит с нянькой на скамье под каштаном в парке «Царя Бориса». «Сходи туда, сядь под самым старым каштаном. И забудь обо всем, даже о нашей разлуке забудь».

Я в Софию приехал весенним днем, моя сладкая.
Запахом лип дышит город, где ты родилась.
Я по мару брожу без тебя.
Что поделать? Видать, не судьба...
Ты себе и представить не можешь, как встречали меня земляки.
Город, где ты родилась, для меня теперь братский дом.
Но и в доме брата, и в нем не забудешь о доме родном.
Хуже смерти, милая, быть эмигрантом...
Здесь деревья все те же стоят, но умерли старые скамьи.
Парк Бориса стал парком Свободы.
О тебе одной я думал под старым каштаном,
о тебе одной, то есть о Мемеде,
о тебе одной, о Мемеде, то есть о нашей стране.

На двенадцатый день голодовки Мюневвер пришла к нему с известием, что большинство депутатов Демократической партии обязалось голосовать за всеобщую амнистию, если они будут избраны. А судя по всеобщей ненависти к правящей Народно-республиканской партии, они, если не случится «чуда», должны на выборах в мае победить.

Мюневвер в этот раз была не одна. Вместе с нею пришла Фатьма Ялчи, верный товарищ, одна из двух женщин, осужденных вместе с Назымом военно-морским трибуналом на судне «Эркин»

в 1938 году и отправленная вместе с ним и Кемалем Тахиром после приговора в тюрьму города Чанкыры.

Вспоминает Фатьма Ялчи

Назым, вытянувшись во весь рост, лежал на кровати. Увидев нас, приподнялся. Мюневвер подложила ему под спину подушки. Он всегда при встрече обнимал меня. В этот раз мы впервые не обнялись - он был очень слаб, нельзя было его утомлять. Лицо у него было желтое. Исхудавшее. Только курчавые рыжие волосы остались прежними да синие, полные жизни глаза. Мы не виделись после Чанкыры. С той поры прошло десять лет. Похудел ли он раньше или во время голодовки, я не знала... Вместо обычного громкого смеха - слабая улыбка.

- Как дела, Назым?

- Доктора говорят: изо рта у меня пахнет ацетоном. Признак, что день разлуки близок...

Я молчу. Молчит Мюневвер. Сердце у меня обливается кровью. Я не нахожу слов, которые укрепили бы его мужество. Пытаюсь заменить слова взглядом. Я восхищаюсь Мюневвер. Быть его кузиной, стать его женой и смотреть, как он погибает на твоих глазах. Это нелегко... Не показывать своих мучений, вовремя поддержать его силы словом и делом. Это нелегко...

За стенами больницы прогрессивные интеллигенты и молодежь продолжают борьбу за амнистию. На улицах продают газету «Назым Хикмет». На Галатском мосту его мать Джелиле-ханым взывает: «Не забывайте Назыма Хикмета! Мой сын умирает, спасите его!» И протягивает к толпе газету.

Я хочу ему все это рассказать. Но в горле у меня ком. Голос мой может дрогнуть. Я могу расстроить его, ослабить его силу... Я жду. Пытаюсь думать о другом. И когда чувствую, что могу совладать со своим голосом, говорю:

- Твоя мама здорово борется, Назым!

Он радостно оживляется. Не потому, что она борется за его освобождение, а потому, что он гордится своей матерью.

Я не говорю, что делает Джелиле-ханым. Боюсь взволновать его.

- А ты как? - спрашивает он.

- Сам знаешь, отсидела десять лет, вышла. Уже два года в миру...

Больше мы не разговариваем. Нужно беречь его силы, Я не говорю ему: «Амнистия обязательно выйдет, Назым». Сама знаю, что он ответит: «Разве я начал голодовку, решив, что будет амнистия? Если я готов принять смерть, то для того, чтоб освободить наших товарищей!» Никто не вправе преуменьшать

его героизма...

«Я восхищаюсь Мюневвер»... Из трех тысяч ее писем, полученных Назымом Хикметом за десять лет разлуки, родилось одно стихотворное «Письмо из Стамбула». Прочтите его, и вы поймете, отчего каждый, кто удостоился чести знать эту удивительную женщину, не может ею не восхищаться. Одна история ее бегства из Турции: обманув полицию, она бежала в чем была с двумя детьми на яхте, принадлежавшей итальянскому поклоннику поэзии Назыма, яхта потерпела крушение у берегов Лесбоса; без денег и без паспорта Мюневвер оказалась с детьми в фешенебельном отеле Афин и изображала миллионершу, - одна эта история могла бы стать темой героической повести.

Из стихотворных писем Назыма Хикмета к Мюневвер, написанных за годы, что он бродил по миру, пока она жила и растила сына под круглосуточным надзором полиции, когда-нибудь будет составлена книга не менее поразительная, чем книга его лирических писем из тюрьмы, книга, в которой нераздельны любовь и тоска по родине, радость открытия мира и сознание, что открытие это пришло слишком поздно, ожидание смерти й восхищение перед жизнью, книга о мужестве и позоре нашего времени.

Пока есть время, милая,
пока Париж не сожжен, не разрушен,
пока есть время, милая,
пока сердце мое на ветке своей,
в одну из этих майских ночей
я должен прижать тебя к стене набережной Вольтера
и в губы тебя целовать,
и потом, повернувшись лицом и Нотр-Дам,
мы должны смотреть на его окно-цветок,
и ты должна прижаться ко мне,
почувствовав страх, удивленье и радость,
и плакать беззвучно,
и звезды должны моросить, мешаясь с мелким дождем.
Пока есть время, милая,
пока Париж не сожжен, не разрушен,
пока есть время, милая,
пока сердце мое на ветке своей...

Снова десять лет только в стихах мог он разделить свою любовь с любимой, только на бумаге... Но ему уже не тридцать пять, а пятьдесят, и большее уже позади, а меньшее впереди. И

там, позади, была не жизнь, а тюрьма - ожидание жизни. И теперь снова ожидание. Чего?..

Снежной рощей иду я ночью,
и березы дремлют вокруг.
На душе тоскливо, тоскливо.
Дай мне руку, где же ты, друг?

Что дальше: родина, юность
или свет этих дальних звезд?
Вон окно одно теплое манит,
желтея среди берез...

В семихолмом городе дальнем
я простился с милой моей.
Не стыдно бояться смерти,
не стыдно думать о ней...

...Он не умрет в стамбульской больнице Джаррахнаша. Но дыхание смерти, которое уловили там доктора, он будет слышать с тех пор непрестанно. В 1952 году четыре месяца с разорванным сердцем он будет лежать на спине, ожидая смерти.

В московской больнице на улице Калинина родятся строки «Последнего письма к Мемеду».

Между нами стоят палачи.
И к тому же
злую шутку сыграло со мной
это проклятое сердце опять.
Не придется, видно, сын мой, Мемед,
не придется тебя повидать...
Мама твоя мягка, точно шелк, и, точно шелк, крепка.
Мама твоя и в бабушках будет красивой,
как в тот день, что я встретил ее впервые
у Золотого Рога в семнадцать лег.
Мама твоя...
Светлым утром расстались мы с ней,
чтобы встретиться вновь.
Но не довелось...
Не боюсь я смерти, Мемед.
Только вот за работой порой
дрогнет сердце:
нелегкая вещь одиночество,
если дни твои сочтены.

Доктора запретят ему писать. Но стихи вопреки запрещению будут шлифоваться и жить в памяти. Московская «Литературная газета» поместит его «Разговор с доктором», который запретил ему вино и табак, потребовал, чтобы он дал сердцу полный покой и не тревожил его ни радостью, ни гневом, иначе оно лопнет, как ручная граната.

Точка: ни вина, ни водки,
даже когда соберутся гости,
даже на праздники, в новогоднюю ночь,
в день рождения Кости...
Но, милый мой доктор,
вот, например, могу ли не радоваться... когда во Франции
в этом году в апреле на выборах победили наши?..
Но как не гневаться, когда вспоминаю,
что бьется моя родная земля
под ногами кучки негодяев?
Могу ли, мой кареглазый доктор, не тосковать
при мысли, что не увижу Мемеда,
не увижу больше его мать?
Оставьте, доктор, ведь это - сердце.
Слышите, как оно бьется?!
И если от радости или от гнева
разорвется -
пусть разорвется.

Десятки писем придут в газету на его имя. От солдат, студентов, рабочих. «Он обязан сохранить свое сердце, и если нельзя иначе, то ценой полугодового полного «выключения» из жизни. Слышите, Назым Хикмет! Вы должны сберечь свое сердце, оно нужно людям, нужно Вашей родной Турции, оно слишком дорого... Надо выйти победителем из поединка с болезнью».

Любовь читателей поддержит его волю в московской больнице, как она поддержала его в больнице Джеррахпаша. Но письмо это написал молодой человек. В двадцать возможно невозможное в пятьдесят, в двадцать большее еще впереди.

Укрощенная и в этот раз его волей, смерть совьется клубком, затаится в его груди, то и дело подымая голову и слушая воздух: не настал ли ее час?

Я привыкаю к старости, к этой самой трудной работе -

к стуку в двери в последний раз,
к беспрерывному расставанию.
Часы, вы течете, течете, течете...
в моем мире вкус сигареты,
которую курят с утра натощак.
Смерть раньше себя прислала ко мне одиночество...

В Гаване и в Москве, в Париже, в Праге, в поезде и в самолете, в машине, разговаривая с друзьями, читая стихи, он будет замирать на мгновенье, прижав ладонь к груди: «Нет, не сейчас!» И продолжать говорить, идти, думать. Каждый день, каждую ночь, каждое утро он будет шить вместе с нею, рядом с нею.

В этом году в начале осени на юге
я натираюсь морем, солнцем и песком,
я натираюсь деревом и яблоками, как медом.
Ночами небо пахнет, как посев,
и опускается на пыльную и теплую дорогу.
Я натираюсь звездами.
Я привыкаю к морю, милая, и к солнцу,
и к яблоку, и к звездам, и к песку,
все больше привыкаю.
Смешавшись с морем, с солнцем, с яблоками,
со звездами, с песком,
я должен уходить.

И однажды он поймет, что ждать больше бесполезно, ибо жить ему осталось считанные месяцы, что вся жизнь прошла в ожидании.

Он перестанет ждать. Перестанет ждать Мюневвер, ибо не увидит ее больше. Перестанет ждать смерти - она рядом.

Он снова начнет курить, станет по праздникам пить вино, будет ложиться за полночь, когда захочет, а не когда велят врачи. «Я снял с себя идею смерти».

И он снова полюбит. Неважно, что женщина, которую он полюбит, будет много моложе его и потому многое в нем ей может быть непонятно - она будет рядом, живая, во плоти. Он не может отдать небытию то, что нельзя воплотить в поэзии, передать в письмах. Он не может больше ждать любви.

Я люблю тебя, как люблю есть хлеб, обмакнувши в соль,
как проснуться от жажды утром рано и пить воду прямо

из крана,
как с волнением, радостью, ожиданием
раскрывать посылку, неизвестно откуда, неизвестно с чем,
как впервые лететь в самолете над просторами океана,
как в Стамбуле в сумерки ощущать в себе странную тревогу,
я люблю тебя, как слова: «Жив еще, слава богу!»

И когда он решит, что не увидит больше ни Мемеда, ни Мюневвер, когда он перестанет ждать, Мюневвер приедет в Варшаву.

Они встретятся в одном из отелей. Он расскажет ей обо всем.

В его жизни были женщины, которые поступили бы иначе. Быть может, постарались его вернуть - ради сына. Быть может, хоть слово упрека да сорвалось бы у них с языка...

Мюневвер сказала:

- Что же, будь счастлив, Назым!

Он постарается быть счастливым и будет им - бродя по улицам Гаваны, слушая голос Робсона, поющий его песни на Ассамблее Мира в Хельсинки, глядя на демонстрантов Парижа. Но однажды ночью в поезде Москва - Берлин он вдруг почувствует, что живет в этом поезде долгие годы, словно вышел в путешествие без возврата. И задохнется от печали.

На пароме через Дунай, на африканском берегу Атлантики, на приеме у президента Насера, среди феллахов в арабской деревне сами собой будут складываться строки его последнего стихотворения: «Как вы снесете меня с третьего этажа? В лифт не влезет гроб, а лестницы узкие?»

Возвращаясь из Каира в Москву, он пролетит над Турцией, но даже с воздуха не увидит ее - она будет закрыта облаками. И, прочитав отражение своей боли в глазах летящих с ним русских поэтов, скажет: «Когда настанет мой час, прошу, накройте меня планетой!»

Опьяненный молодостью, он будет спешить. Дожить недожитое, увидеть невиденное, долюбить недолюбленное.

И он напишет:

Мой стол, моя машинка и бумага,
моя одежда - все в крови.
И мостовые городов, где я бывал,
и стены комнаты - в крови.
Я грудь раскрыл, мы поедаем мое сердце вместе с некой

самкой.
Пиши мне письма, шли мне телеграммы, звони по телефону,
скажи мне: еду, еду, еду!
Смерть, образумь меня!

В Таллине на новогодней елке, окруженной готическими шпилями и фабричными трубами, он увидит в красном стеклянном шарике «солому волос, ресниц синеву». Но когда останется один, то поймет, что сам вложил их в этот шарик стеклянный, развесил на все новогодние елки, на все балконы и окна, на все ожиданья.

И когда погаснут елочные огни, снова зажгутся над его головой крупные-крупные, яркие-яркие звезды Босфора.

Он познает чудо повторения. Но и неповторимость повторения.

Ранним утром 3 июня 1963 года он проснется в своей московской квартире. Как обычно, пойдет к двери за газетами, вынет их из ящика.

Тут его и настигнет смерть.

Открываем двери, проходим в двери, закрываем двери.
И в конце путешествия ни города, ни гавани.
Поезд сходит с рельс, корабль тонет, самолет разбивается.
Карта, нарисованная на льду.
Если б спросили: «Пойдешь еще раз?»
Сказал бы: «Пойду!»

Он принадлежал к тем немногим поэтам, которые не писали стихов, - поэзия была его жизнью. Он рассказал ее сам от начала до конца, до своих собственных похорон.

Она вместила в себя столько других жизней, столько событий, такую громаду времени и пространства, что по ней будущие поколения могут судить о всей нашей эпохе, ее важнейших общественных и идейных движениях, выдающихся людях и людях самых неприметных, целых классах, народах и континентах той эпохи, когда в поту и в крови рождалось сознание единства человеческого рода. Борьбе за это единство он посвятил свою жизнь.

Центральный Комитет Французской компартии в специальном заявлении писал: «Умолк великий голос Назыма Хикмета. Вместе со всеми защитниками мира и свободы

посмертные почести поэту воздают коммунисты всех стран».

Сознанием утраты, понесенной миром, самая его смерть объединила, как объединила и будет объединять его поэзия, сотни тысяч людей во всех концах земли: писателей Кубы и Румынии, Советского Союза и Пакистана, Франции и Ливана, Греции и Чехословакии с политическими деятелями ГДР Вьетнама и Италии; крестьянами Болгарии; рабочих Кореи с музыкантами Японии и актерами Англии; студентов США с повстанцами Боливии. И друг Назыма Пабло Неруда выразит чувства всех этих разных людей в «Осеннем венке Назыму», присланном с другого берега Атлантики.

Что делать нам без гордости твоей, без нежности твоей суровой?
Где взгляд найти, подобный твоему, чтоб в нем огонь с водой смешались?
Тот взгляд, зовущий к правде, полный скорби и радости неустрашимой?
……..
Мой брат, солдат, как одиноко без тебя на свете,
без твоего лица, как в золоте цветущая черешня,
без дружбы нашей, что была мне хлебом,
что утоляла жажду, словно влага, и силу придавала крови?
Мы встретились, когда ты вырвался из тюрем…
Я видел на руках твоих следы расправы.
В твоих глазах искал я стрелы злобы.
Но ты принес сияющее сердце, в нем было много ран и много света.
Что делать мне теперь? Как мир себе представить
без тех цветов, что ты повсюду сеял,
как быть в бою без твоего примера,
без мудрости твоей народной и высшего достоинства поэта?
Спасибо, что ты был таким! Спасибо за огонь,
что песнями своими ты зажег навечно.

Говорят, подлинная жизнь великих поэтов начинается после смерти. Это обидно, но почти всегда верно. Подобно свету светил, великая поэзия часто доходит до отдаленных миров, когда светила уже нет на свете.

Судьба поэзии Назыма Хикмета так же необычна, как его собственная судьба. Его стихи при жизни будут печататься в

тридцати с лишним странах на сорока языках Земли. И двадцать восемь лет ни одна его книга не выйдет в Турции.

27 мая 1960 года армия, опираясь на народное движение, свергнет профашистское правительство Мендереса, объявившее Назыма Хикмета изменником родины. Мендерес, его заместитель Агаоглу - тот самый, что грозил Мюневвер, - при всеобщем ликовании будут преданы суду военного трибунала за измену родине, приговорены к смерти. Будет принята новая, более демократическая конституция.

Но пройдет еще четыре года, прежде чем, прорвав цензурные препоны, поэзия Назыма Хикмета, звучавшая на сорока языках, вернется на родину. В 1965-1966 годах за двадцать четыре месяца в Турции выйдет свыше двадцати его книг. И новым поколениям его народа откроется во всем величии сделанное им.

Но его самого уже не будет в живых, Он умрет не в ссылке и не на чужбине, а «в стране своей мечты, в том белом городе, где прожил свои счастливейшие дни», но умрет вдали от родной речи и родной земли, в тоске по родине и по народу...

Назым продолжал голодовку. Товарищи требовали, чтобы он прервал ее: пока не соберется новый меджлис, некому принять закон об амнистии, а до выборов оставалось еще три недели. Продолжать голодовку означало просто-напросто покончить с собой. На это он теперь уже не имел права. Столько людей во всем мире вместе с ним боролись за амнистию, которая выведет на свободу сотни его товарищей. И они были близки к победе - депутаты всех партий обещали амнистию в случае победы. Его смерть была бы ударом по всеобщим надеждам.

Но он решил держаться до конца. «Самым трудным, - вспоминал он потом, - была не голодовка, а отказ от принятого решения, когда сил уже почти не было».

На восемнадцатый день он заявил, что прерывает голодовку до сформирования нового правительства. Но если и оно не даст амнистии - начнет все сначала.

На восемнадцатый день голодовки Мюневвер принесла ему корзинку земляники. Оставила ее у постели... Какой запах! Свежести, леса, лета... Какой цвет - яркий, солнечный!.. Мюневвер знала, что он любил землянику больше всех плодов на земле.

Любуясь ягодами, он положил на язык одну. Другую, третью... Доктора предупреждали, чтобы он начинал есть понемногу, по крошке.

Он съел всю корзинку, наверное с килограмм земляники. И вопреки ожиданиям врачей - не умер. Ожил.

16 мая 1950 года состоялись выборы. К власти пришла

Демократическая партия - всеобщая амнистия была в ее предвыборной программе. Но понадобилось больше месяца борьбы за амнистию, прежде чем она стала реальностью.

Через двенадцать лет пять месяцев и шестнадцать дней после той новогодней ночи, когда его на минуточку попросили пожаловать в полицию, Назым Хикмет вышел из тюрьмы на волю. В этот июньский день из тюрем Чанкыры и Бурсы, Синопа и Диарбакыра, из-за железных тюремных ворот всех тюрем страны вышли тысячи заключенных и среди них Кемаль Тахир, Ибрагим Балабан, его ученики и друзья, его товарищи и единомышленники...

Над Ускюдаром, тем самым Ускюдаром, по которому он восьмилетним ребенком шел вместе с дедом смотреть «Карагёз», где он впервые поцеловал девушку, сложил свое первое стихотворение, над Ускюдаром, которого он не видел столько лет, опустилась ночь.

В тюрьме он столько раз представлял себе, как это будет, но все оказалось не так. Он должен был снова привыкать к свободе, к немыслимой, невообразимой и полузабытой простоте ее многообразия, - привыкать к постели, к комнате, к тротуарам, к руке любимой женщины, к небу над головой.

Как часто бывает в Стамбуле, вдруг погасло электричество. Он взял Мюневвер за руку, они вышли на улицу. Впервые за двенадцать с половиной лет вместо потолка над его головой были звезды. Не отпуская ее руки, он направился к Босфору, чувствуя, что вместе с ними в темноте идут сотни узников, и те, что вышли сегодня из тюрьмы, и те, что не дождались свободы.

Миновав мечеть Айазма, они молча спустились по откосу к Босфору.

Остановитесь, читатель, если вам доведется побывать в Стамбуле, у этой неприметной Ускюдарской мечети, спуститесь молча по откосу, по которому, держа за руку Мюневвер, шел той ночью Назым Хикмет!..

Подойдя к воде, они уселись среди обкатанных морем колод. Неподалеку мигал маячок Девичьей башни, той Девичьей башни, на траверсе которой он, девятнадцатилетний, покидая Стамбул, чтоб присоединиться к повстанцам, прятался на палубе среди кип хлопка от вражеских патрулей.

Как всегда, шли и шли по Босфору суда.

Он окунул ладонь в воду, - двенадцать лет он мечтал об этой минуте. Крепко держа за руку Мюневвер, он растянулся на еще теплой гальке и, слушая, как набегает на берег волна, долго глядел на звезды, крупные-крупные, яркие-яркие.

Основные даты жизни и творчества Назыма Хикмета

1902, 20 января - В городе Салоники в семье султанского чиновника Хикмета-бея родился сын Назым.

1914, 29 октября - Османская империя вступила в первую мировую войну.

1916 - Назым Хикмет поступает в военно-морское училище. Осень. Напечатано первое стихотворение Назыма Хикмета «Кипарисовая роща».

1918, 13 октября - Подписание перемирия между державами Антанты и Османской империей на борту британского корабля в порту Мудрое на острове Лемнос. Турция сдалась на милость победителей.

1919, 21 января - Начало национально-освободительной войны в Анатолии.

Конец лета - Назым Хикмет отчислен из флота за участие в бунте на учебном корабле «Хамидие».

Осень - Стихи Назыма Хикмета печатаются в сборниках Дж. Сахира. «Первая книга», «Вторая книга»...

1920, 16 марта - Оккупация Стамбула. Высадка союзнического десанта.

23 апреля - Открытие в Анкаре под председательством Мустафы Кемаля Великого национального собрания Турции - меджлиса.

Осень - Стихи Назыма Хикмета о национально-освободительном движении напечатаны в газете «Алемдар».

1921, 1 января - Назым Хикмет на пароходе «Новый мир» тайно покидает Стамбул, чтобы принять участие в национально-освободительной войне.

3 января - Н. Хикмет приезжает в Инеболу.

10 января - Первая победа турок над греками при Иненю.

Конец января - Назым Хикмет пешком уходит в Анкару.

28 января - в Трабзоне убиты и сброшены в море 15 коммунистов во главе с Мустафой Субхи.

Начало марта - Назым Хикмет уходит из Анкары в Болу.

16 марта - Заключение в Москве договора о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.

Март -август - Назым Хикмет учительствует в городе Болу.

13 -17 июля - Греческое наступление на Анкару. Пали города Афьон, Кютахья, Эскишехир.

23 августа - 13 сентября - Решающее сражение между

национально-освободительной армией и интервентами на реке Сакарья.

Конец августа - Назым Хикмет уезжает из Болу в Трабзон.

2 сентября - Назым Хикмет нелегально приезжает в Батум.

1921, конец - 1922, начало - Назым Хикмет сотрудничает в изданиях Загранбюро Компартии Турции в Батуме.

1922, июль - Назым Хикмет приезжает в Москву.

1922 -1924 - Учится в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

1923, 29 октября - Провозглашение Турции республикой. Избрание первым президентом Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

1924, осень - Нелегальное возвращение Н. Хикмета в Турцию. Поэт сотрудничает в полулегальных изданиях Турецкой компартии «Орак - Чекич» («Серп и молот»), «Айдынлык» («Свет»).

1925, февраль - апрель - Восстание курдских племен в восточной Анатолии. Компартия переходит на нелегальное положение. Назым Хикмет заочно осужден на десять лет тюрьмы.

Поэт организует в Измире подпольную типографию.

Осень - Нелегально возвращается в Советский Союз.

1926, октябрь - Стихи Назыма Хикмета в переводе Э. Багрицкого и Н. Дементьева опубликованы в журнале «Красная новь» № 10.

1926 -1928 - Работает переводчиком в КУТВе. Организует театральную артель МЕТЛА. Участвует в ПРОМДе.

1927, лето - Поездка в Азербайджан.

1928 - В Баку выходит первая книга Н. Хикмета «Песня пьющих солнце».

Нелегальное возвращение в Турцию. Заключение в тюрьме города Хопа.

1928 -1930 - Поэт работает корректором и техническим секретарем в журнале «Ресимли Ай».

1929 - В издательстве «Ахмед Халид» выходит сборник «835 строк».

Опубликована поэма «Джиоконда и Си-яу».

1930 - Вместе с поэтом В. Наилем выпускает книгу «1 + 1 = Один». Выходит книга стихов «Вот и третья!».

1931 - Выходит книга стихов «Город, потерявший голос».

1932 - Опубликована книга стихов «Телеграмма, пришедшая ночью». Постановка Эртугрулом Мухсином в стамбульском театре «Дар-уль-бедаи» пьес Н. Хикмета «Череп» и «Дом мертвеца». Выходит роман «Почему Бенерджи покончил с собой?».

1933 - Первое заключение в бурсской тюрьме.

1934 - Постановка пьесы «Забытый человек» в «Дар-уль-

бедаи».

1935 - Опубликованы поэма «Письма к Таранта Бабу» и книга сатирических стихов «Портреты».

1936 - Выходят из печати «Дестан о шейхе Бедреддине, сыне кадия города Симавне» и брошюры «Германский фашизм и расовая теория», «О советской демократии».

1937 - Поэт работает над киносценариями. Организует Комитет помощи республиканской Испании.

Декабрь - Арест.

1938, 29 марта - Военный трибунал Анкарского военного училища приговаривает Назыма Хикмета к 15 годам тюрьмы.

28 мая - Военный кассационный суд утверждает приговор.

Июль - Назыма Хикмета перевозят из стамбульской тюрьмы на судно «Эркин».

29 августа - Военно-морской трибунал осуждает Назыма Хикмета еще на 20 лет тюремного заключения.

10 ноября - Смерть Мустафы Кемаля Ататюрка.

1939 - Назым Хикмет отбывает заключение в стамбульской тюрьме.

21 февраля - Признание Турцией правительства Франко.

12 -14 апреля - Пребывание Геббельса в Стамбуле.

1940, февраль - Назыма Хикмета вместе с Кемалем Тахиром переводят в тюрьму города Чанкыры.

Ноябрь - Назыма Хикмета переводят в тюрьму города Бурса.

1941 - Назым Хикмет начинает работу над «Человеческой панорамой».

18 июня - Заключение в Анкаре договора о дружбе и ненападении между Турцией и гитлеровской Германией.

22 июня - Нападение Германии на Советский Союз.

1943 - Написана поэма «Симфония Москвы».

1945, 23 февраля - Объявление Турцией войны Германии и Японии.

8 мая - Окончание второй мировой войны в Европе.

1946 - Газеты «Гюн» и «Игын» печатают отрывки из стихов поэта под псевдонимом Нуреддин Эшфак.

1948 - Назым Хикмет пишет пьесы «Легенда о любви» и «Иосиф, продавший своих братьев».

1949 - В Париже создан Комитет в защиту Назыма Хикмета.

11 ноября - Адвокат Себюк начинает публикацию серии статей «Дело Назыма Хикмета».

В Бурсу приезжает Мюневвер Андач.

1950, 8 апреля - Назым Хикмет начинает голодовку.

13 апреля - Поэта перевозят в стамбульскую больницу Джеррахпаша.

25 апреля - Назым Хикмет прекращает голодовку.

16 мая - Выборы в меджлис. К власти приходит правительство Мендереса. Июнь - Назым Хикмет выходит из тюрьмы. Назыму Хикмету вместе с Робсоном, Фучиком и Нерудой присуждена Международная премия мира; он избирается членом Бюро Всемирного Совета Мира.

1951 - У Мюневвер Андач и Назыма Хикмега рождается сын Мемед.

Середина июня - Назым Хикмет покидает Турцию.

29 июня - Назым Хикмет прилетает в Москву.

Август - Назым Хикмет едет в Берлин на Фестиваль молодежи.

В Праге Н. Хикмету вручают Премию мира.

Осень - Поездка в Болгарию.

1952, осень - Поездка в Китай. Правительство Мендереса лишает поэта турецкого гражданства.

1952, осень - 1953, весна - Назым Хикмет тяжело болен.

1954 - Назым Хикмет едет в Польшу и Венгрию. В Москве выходит сборник его пьес.

1955 - Назым Хикмет участвует в работах Всемирной Ассамблеи мира в Хельсинки.

Завершена работа над пьесой «А был ли Иван Иванович?».

1957 - Назым Хикмет едет в Чехословакию. Выходит двухтомник избранных произведений поэта на русском языке.

1958 - Назым Хикмет во Франции и в Италии.

1960, 27 мая - Свергнуто правительство Мендереса в Турции.

Осень - В Варшаву приезжает Мюневвер с детьми.

1961 - Назым Хикмет летит на Кубу. Пишет поэму-репортаж «Гавана». Закончена поэма «Удивительное путешествие: солома волос, ресниц синева».

1962 - В Москве выходит сборник избранных стихов поэта «40 лет» и второй сборник его пьес. Закончен роман «Жизнь - прекрасная штука, браток» («Романтика»). Мировая общественность отмечает шестидесятилетие Н. Хикмета.

1963 - Назым Хикмет летит в Танганьику.

3 нюня - Смерть Назыма Хикмета.

5 июня - Похороны Назыма Хикмета на Новодевичьем кладбище в Москве.

1965 - После двадцативосьмилетнего перерыва произведения Назыма Хикмета снова начинают выходить в Турции.

Краткая библиография

Произведения Назыма Хикмета на русском языке

Стихи. Пер. Э. Багрицкого, Н. Дементьева, В. Бугаевского. М., «Федерация», 1932.

Стихи. М., Гослитиздат, 1950.

Избранные стихи. М., «Правда», 1950.

Избранное. М., ИЛ, 1951.

Рассказ о Турции. Пьеса. М., ИЛ, 1952.

Избранное. М., ИЛ, 1953.

Пьесы. М., «Искусство», 1954.

Стихи. М., «Правда», 1955.

Чудак. Пьеса. М., «Искусство», 1955.

Стихи и поэмы. М., «Молодая гвардия», 1957.

Избранные сочинения в двух томах. Т. I. Стихи и поэмы. Т. II. Пьесы. М., Гослитиздат, 1957.

60 стихотворений. М., ИЛ, 1958.

Новые стихи. М., «Советский писатель», 1961.

Влюбленное облако. Сказки. М., «Восточная литература», 1962.

Человеческая панорама. М., ИЛ, 1962.

Сорок лет. Избранные стихи, 1921 - 1961. М., ГИХЛ, 1962.

Пьесы. М., «Искусство», 1962.

Московское лето. Стихи. М., «Правда», 1963.

Романтика («Жизнь - прекрасная штука, браток»). Роман. «Роман-газета». М., 1963.

Избранная лирика. М., «Молодая гвардия», 1967.

О Назыме Хикмете

На русском языке

Восточный альманах № 4, посвященный творчеству Назыма Хикмета. Изд. «МИВ», М., 1951.

Михайлов М.С, В.В. Маяковский и Назым Хикмет. «Труды Моск. института востоковедения», вып. № 6, 1951.

Гордлевский В.А., Слово о Назыме Хикмете. «Краткие сообщения Института востоковедения», II. М., 1952.

Кямилев Х., Назым Хикмет - певец мира и свободы. Стенограмма лекции. М., «Знание», 1952.

Бабаев А., Назым Хикмет. М., Гослитиздат, 1957.

Владимирова З., Театр Назыма Хикмета, «Театр», 1957, № 1.

Фиш Р., Назым Хикмет. Очерк жизни и творчества. М., «Советский писатель», 1960.

Фиш Р., «Человеческая панорама» Назыма Хикмета. «Вопросы литературы», 1959, №3.

Шток И., Рассказы о драматургах. М., «Искусство», 1967.

На турецком языке

Blaga Dimitrova Nâzim Hikmet Bulgaristanda. Sofya. 1955.

Vâlâ Nureddin, Bu dünyadan Nâzim geçti. Istanbul, 1965.

Orhan Kemal, Nâzim Hikmet`le üç buçuk yil. Istanbul, 1965

Ibrahim Balaban, Iz. Ankara, 1965

A.Kadir, 1938 Harp okulu olayi ve Nâzim Hikmet. Istambul, 1966

«Yeni dergi» № 29, 1967, Istanbul

Besim Akimsar, Nâzim Hikmet ve baskalari. Izmir, 1965

Стихи в переводах: Павла Антокольского, Эдуарда Багрицкого, Николая Дементьева, Владимира Беленького, Николая Глазкова, Павла Железнова, Семена Кирсанова, Владимира Луговского, Музы Павловой, Никиты Разговорова, Овадия Савича, Давида Самойлова, Ильи Сельвинского, Константина Симонова, Бориса Слуцкого, Ярослава Смелякова, Радия Фиша, Ильи Френкеля.

notes

Примечания

1

Мутасаррыф - начальник округа.

2

Кяхья - управитель.

3

Нюмюне-ментеби - Образцовая школа. Так назывался лицей на азиатской стороне Босфора.

4

Улемы - ученые-богословы.

5

Миралай - полковник султанской армии.

6

Юзбаши - капитан.

Везират - министерство в султанской Турции.

8

Устад - маэстро.

9

Хедже - силлабический народный турецкий стих.

10

Аруз - система метрического арабо-персидского стихосложения.

11

Зиамет - вассвльный земельный удел.

12

Ходжа - вероучитель; обращение к лицам духовного звания.

13

Аби - от "агабей", старший брат.

14

Баба - отец.